

**И. П. ПАВЛОВ**  
**ПЕРВЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ РОССИИ**

---

**2.**

*Павлов без ретуши. Мемуары  
С.В. Павловой, А.Ф. Павлова, М.К.Петровой*



Истории Нобелевского движения  
как социального феномена XX века

Александр Ноздрачев

**И. П. Павлов – первый  
нобелевский лауреат России.  
Том 2. Павлов без ретуши**

«ИП Князев»

2004

**Ноздрачев А. Д.**

И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши / А. Д. Ноздрачев — «ИП Князев», 2004 — (Истории Нобелевского движения как социального феномена XX века)

ISBN 5-86050-205-2

Как известно, наиболее полные биографии И. П. Павлова были написаны к 100-летию со дня его рождения. Это было время, главным в котором в силу существовавших тогда условий, было стремление представить Ивана Петровича самобытной, непогрешимой, абсолютно правильной и даже законопослушной личностью, своеобразным эталоном, сформировавшимся исключительно на русской почве. Теперь многое видится иначе. В настоящем издании приведены полные, без каких-либо купюр воспоминания самых близких И.П. Павлову людей – его жены С.В. Павловой, неопубликованные мемуары двоюродного племянника А. Ф. Павлова, прожившего в семье Павловых четыре года, и ближайшей сотрудницы Павлова М.К. Петровой. Издание снабжено обширными комментариями и иллюстрировано значительным числом фотографий, многие из которых публикуются впервые. Для широкого круга читателей, интересующихся мемуарной литературой и историей физиологии и медицины. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

ISBN 5-86050-205-2

© Ноздрачев А. Д., 2004

© ИП Князев, 2004

## Содержание

Предисловие	10
Серафима Васильевна Павлова	18
Студенческие годы (1877–1880)	19
Петербург	19
Крестный Павел Петрович (адмирал П. П. Семенюта)	22
Студенческая жизнь	26
Студенческие нравы в кружке	31
Опять дома	36
Второй курс	38
Компания братьев Павловых	41
У Елены Алексеевны	49
Воспоминания Ивана Петровича 16	52
Детство Ивана Петровича	57
Университетская жизнь Ивана Петровича	62
Более близкое знакомство	71
Письма Ивана Петровича 27	76
Третий курс	98
Обыск	101
На святках	102
Литературный вечер	107
Гончаров	109
Тургенев	111
Мусоргский	112
Достоевский	114
Мое призвание	117
Предложение	121
Иван Петрович на моей родине	126
В деревне	129
Из писем Ивана Петровича к невесте 52	133
Свидание в Петербурге	167
Снова в школе	169
Из писем Ивана Петровича к невесте	170
Свадьба	178
Замужняя жизнь	182
Вдвоем	182
Первый год	184
Ребенок	188
У Сергея Петровича Боткина	192
В Бреславле и Лейпциге	194
По дороге домой	205
Возвращение из-за границы	208
У министра Делянова 98	213
Профессура в академии	214
У свекра Петра Дмитриевича	218
Устройство жизни	220
Швейцар Василий	231

Марьюшка и Даша	233
Конец ознакомительного фрагмента.	237

**И.П. Павлов – первый Нобелевский  
лауреат России. Том 2. Павлов без  
ретуши (воспоминания С. В. Павловой,  
А. Ф. Павлова, М. К. Петровой)**  
*Издание подготовили: А. Д. Ноздрачев,  
Е. Л. Поляков, З. А. Космачевская,  
Л. И. Громова, К. Н. Зеленин*

*100-летию  
присуждения Нобелевской премии  
Ивану Петровичу Павлову  
ПОСВЯЩАЕТСЯ*

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ ИМ. И.П. ПАВЛОВА  
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА И.П. ПАВЛОВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АРХИВА РАН

Серия изданий по истории Нобелевского движения, как социального феномена XX века

*Издание осуществлено при финансовой поддержке Издательского Дома «Нобелевские лекции»*



Иван Петрович Павлов

**I.P. Pavlov – the First Nobel Prize Winner in Russia. V. 2. Pavlov without Retouching (Reminiscences of S.V. Pavlova, A.F. Pavlov, M.K. Petrova) / Comments by A.D. Nozdrachev, E.L. Poliakov, E.A. Kosmachevskaya, L.I. Gromova, K.N. Zelenin. St.Petersburg, «Humanistica», 2004. – 816 pp.**

It's well known, that the most complete biographies of I. P. Pavlov were written in honour of the 100<sup>th</sup> anniversary of his birth (1949). Realities of that historical period required that biographies to describe Pavlov as a unique, sinless, correct and even obeying law person, as a standard formed exclusively on the Russian background. Today some things look different. This edition presents uncensored reminiscences of his most familiar persons – his wife S.V. Pavlova, unpublished memories of his second nephew A.F. Pavlov who was living in Pavlov's family for four years, and memoirs of his close collaborator M.K. Petrova. Many of detailed comments and the first time published photographs are included.

For a wide range of readers interested in memories and history of physiology and medicine.

*Ответственный за выпуск профессор А. И. Мелу а*

© А.Д. Ноздрачев, Е.Л. Поляков, Э.А. Космачевская, Л.И. Громова, К.Н. Зеленин, 2004

© Изд-во «Гуманистика», 2004

## Предисловие

Название этой книги, как и ее направленность, не явились случайным капризом авторов, они возникли после долгих колебаний, раздумий, взвешиваний. Книгу в первую очередь следует рассматривать как результат стремления показать, каким был в реальной жизни академик Иван Петрович Павлов, отступив от официального портрета нашего великого соотечественника, созданного в отнюдь не лучший для объективного суждения период. Такое стремление совпало с тем временем, когда в наших руках оказались подлинные, не подвергавшиеся какому-либо вмешательству редакторов-цензоров, хранившиеся многие годы в архивах и даже специальных архивах, рукописи воспоминаний самых близких Ивану Петровичу людей: жены – Серафимы Васильевны, двоюродного племянника – Александра Федоровича Павлова и ученицы, коллеги, сподвижника в делах научных – Марии Капитоновны Петровой.

Особенность этих мемуаров состоит в том, что они отражают личные восприятия и впечатления, очень мало или практически совсем не отдаленные от описываемых событий, что представляет для истории почти такую же значимость, как и официальные документы. Конечно, следует непременно иметь в виду и учитывать субъективность оценки, а также эмоциональную окрашенность многих жизненных моментов и ситуаций, что более всего ощущается при прочтении воспоминаний М. К. Петровой.

Вместе с тем воспоминания, как ни один официальный документ, содержат и ряд своеобразных черт, неповторимых подробностей, относящихся ко многим фактам и событиям. Они создают многогранный образ гениального физиолога, искателя истины, страстного исследователя, прямого и принципиального во всех своих делах и поступках, простого, сердечного и внимательного человека, обладавшего к тому же неукротимым темпераментом и страстностью в научном поиске и увлечениях.

Уместно сказать, что еще при жизни Ивана Петровича на страницах газет и журналов, в книгах, различных отечественных и зарубежных изданиях многие пытались дать анализ его творчества. Особенно серьезно подошли к этому сотрудники Института экспериментальной медицины (ПЭМ), выпустившие к 75-летию Ивана Петровича специальный сборник, в котором освещался непосредственно стиль работы юбиляра, приводились воспоминания коллег о работе с ним.

Поток публикаций нарастал и достиг своего апогея к 1949 году, когда в нашей стране и за рубежом широко отмечалось 100-летие со дня рождения Павлова. К личным воспоминаниям добавились произведения, освещающие историю основных этапов развития павловского учения, его значение для физиологии, медицины, психологии и многих других теоретических и практических дисциплин.

В процессе подготовки к юбилею, еще в 1947 году, специальным распоряжением Президиума АН СССР была создана Комиссия под председательством академика Л. А. Орбели, в задачу которой входило сосредоточение, учет, систематизация материалов, касающихся жизни и деятельности Павлова. В силу ряда объективных причин работа Комиссии постепенно заглохла, и сбор воспоминаний возобновился по инициативе академика К. М. Быкова лишь в 1956–1957 годах. Происходило это уже не в ПЭМ, а в Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.

Однако и этот организационный всплеск тоже оказался не очень долгим. Приведение в порядок накопленного годами богатейшего материала о жизни и творчестве Ивана Петровича активизировалось вновь лишь при создании в 1964 году академиком В. Н. Черниговским самостоятельной структуры – Отделения физиологии АН СССР. Реальным толчком возобновления интереса к воспоминаниям и материалам о Павлове в этот раз послужила кончина его

дочери Веры Ивановны и связанная с этим передача в Архив Академии наук хранившихся у нее печатных, а также рукописных материалов и документов, связанных с жизнью отца.

Позже для возобновления деятельности по сбору и обработке документального наследия Павлова Президиумом Академии наук была создана новая авторитетная Комиссия во главе с В. Н. Черниговским, бывшим тогда академиком-секретарем Отделения физиологии АН СССР. Комиссия вскоре приступила к подготовке издания опубликованных и хранящихся в разных архивах неопубликованных воспоминаний об Иване Петровиче. Помимо того, часть воспоминаний была написана здравствовавшими тогда учениками и соратниками Павлова (П. К. Анохиным, Д. А. Бирюковым, В. И. Воячком, Г. А. Васильевым, А. О. Долиным, Г. П. Конради, Корнелией Кеннон, Е. С. Павловой). Итогом этой кропотливой работы, проводившейся непосредственно Н. М. Гуреевой, Е. С. Кулябко и В. Л. Меркуловым, явилось издание большой монографии «И. И. Павлов в воспоминаниях современников» (Л., 1967. – 384 с.).

Но вернемся к настоящему изданию. Первыми из публикуемых в нем материалов по справедливости поставлены воспоминания жены Ивана Петровича Серафимы Васильевны Павловой (урожд. Карчевской). Родилась она в Керчи 20 марта 1859 года в семье военного врача Василия Авдеевича Карчевского, служившего на Черноморском флоте. Отец умер рано (по неточным данным в 1865 году, в возрасте приблизительно 55 лет). Мать – Серафима Андреевна Карчевская (урожд. Космина) – происходила из древнего дворянского рода, окончила институт и работала преподавателем в гимназии.

В семье Карчевских было пятеро детей: Евгения, Раиса, Таисия (Ася), Серафима (дома ее в отличие от матери звали Саррой) и Сергей. После смерти отца семья была вынуждена переехать из Керчи в Бердянск, где матери предложили место начальницы гимназии. Старшие сестры уже имели к тому времени высшее образование и так же как мать стали учителями. Все они, в том числе и младшая Серафима, давали частные уроки.

Окончив гимназию с золотой медалью, Серафима Карчевская в 1877 году уехала в Петербург и поступила на Женские педагогические курсы, по окончании которых в 1880 году получила диплом педагога-математика. В мае 1881 года она вышла замуж за И. П. Павлова, с которым прожила более 50 лет. В семье родились пятеро детей: Владимир (1882–1883), Владимир (1884–1954), Вера (1890–1964), Виктор (1892–1919), Всеволод (1893–1935).

Свои воспоминания Серафима Васильевна Павлова начала писать весной 1919 года, чтобы хоть как-то отвлечься от горьких переживаний в связи с потерей любимого сына Виктора, скончавшегося в январе того же года от сыпного тифа. Иван Петрович одобрял это ее занятие, и она не раз читала вслух ему свои заметки. Серафима Васильевна и после смерти мужа продолжала писать мемуары, читала их в августе 1936 года художнику М. В. Нестерову, отдыхавшему в доме Павловых в Колтушах, и закончила свои воспоминания, по-видимому, не позднее 1938 года (точной даты не обнаружено). В мае 1942 года в одном из писем к Нестерову Серафима Васильевна, как вспоминает сам Михаил Васильевич, просила «разузнать, не найдется ли в Москве желающих издать ее «Записки» – воспоминания, охватывающие более пятидесяти лет с того времени, когда она была на Бестужевских курсах<sup>1</sup>, а Иван Петрович – студентом Медико-хирургической академии, затем их жениховство и долгую, интересную последующую жизнь их вместе...».

Впервые воспоминания С. В. Павловой были опубликованы в 1946 году в журнале «Новый мир» (№ 3, С. 97—144) в обработке профессора В. С. Галкина, одного из учеников И. П. Павлова. Эта единственная до сих пор публикация была далеко не полной (1/3 текста не была опубликована), с соответствующими тому времени цензурными изъятиями и без каких бы то ни было примечаний. В приведенном в нашей книге варианте авторский текст воспроизведен без купюр, кроме того, он дополнен подробными комментариями и иллюстрациями.

---

<sup>1</sup> М. В. Нестеров ошибается. С. В. Павлова окончила Женские педагогические курсы. – (прим. сост.)

Первая часть воспоминаний (132 стр.) Серафимы Васильевны содержит подробности о ее детских годах, проведенных в родительском доме. Они не имеют прямого отношения к совместной жизни с И. П. Павловым и поэтому не были включены ни в первую, ни в настоящую публикации.

Даже если судить лишь по мемуарам самой Серафимы Васильевны, можно составить мнение, что жена Ивана Петровича, несомненно, была далеко неординарным человеком. Она принадлежала к числу лучших представителей того поколения петербургских курсисток, перед которыми был вполне определенный набор будущих дорог: уйти в революцию (этот путь она отвергла с самого начала), посвятить себя науке (тяги к этому она не ощущала) или пойти в народ (она была близка к этому, полагая не без определенных оснований, что ее призвание – путь сельской учительницы). Выбор жизненной стези Серафимы Васильевны во многом определили встречи с Достоевским, описание которых принадлежит к числу лучших страниц ее воспоминаний (оно, несомненно, не будет обойдено вниманием специалистов, изучающих творчество и личность гениального писателя, ибо привносит дополнительные штрихи в его многогранный и сложный портрет). Эти встречи привели ее к идее служения человечеству через призму православной религиозной идеи. Серафима Васильевна преобразовала эту общую идею в конкретную практическую форму. Она чувствовала, как никто другой, что любящий ее Иван Петрович Павлов обладает всеми задатками истинного гения с выраженными качествами пассионария. В итоге служение человечеству приняло для нее конкретную форму – посвятить себя обеспечению расцвета этой личности для пользы людей.

Таким образом, Серафима Васильевна полностью отдала свою жизнь, незаурядные способности и интеллект служению высоким идеалам своего избранника и видела свою участь в поддержании того, что судьба предназначала выполнить ее великому мужу. Она сознательно пожертвовала личными интересами во имя семьи. К этому следует добавить, что Павлов был не прост, а порой и труден в повседневной жизни. Постоянно сконцентрированный на мыслях о научной работе, он мало вникал в бытовые мелочи повседневной жизни. Тем больше славы его жене!

Для понимания характера Серафимы Васильевны важно отметить, что она сразу же так организовала семейную жизнь, что Иван Петрович мог целиком отдаться научной работе.

Один из его близких учеников и сотрудников, хорошо знавший жизнь семьи Павловых в конце XIX – начале XX века, Б. П. Бабкин (1877–1950), вспоминал слова Серафимы Васильевны о том, что она потребовала от будущего мужа строгого выполнения трех вещей: никогда и ни в какой форме не принимать алкоголь, никогда не играть в карты и встречаться с друзьями только по субботам, а посещать театры или концерты лишь по воскресеньям. Мы знаем, что Павлов строго следовал этим правилам всю жизнь, если не считать карточной игры, которая была организована так, что успешно способствовала его творческой деятельности, против чего жена не имела ни малейших возражений.

Скончалась С. В. Павлова 31 марта 1947 года в Ленинграде в возрасте 88 лет. Похоронена она на Литераторских мостках Волкова кладбища рядом с могилой мужа.

Еще одни мемуары, вошедшие в настоящее издание, принадлежат Александру Федоровичу Павлову – сыну старшего двоюродного брата Ивана Петровича, Федора Ивановича Павлова. Родился Александр Федорович в 70-е годы (около 1874 года) XIX столетия. С 1887 по 1893 год учился в Рязанской духовной семинарии, затем с 1893 по 1897 год – в Московской духовной академии. По ее окончании стал работать в канцелярии Синода в Петербурге и с этого момента вплоть до женитьбы в 1901 году, жил в семье И. П. Павлова. Его супружеская жизнь продолжалась недолго, в 1910 году брак распался. Единственный сын Владимир Александрович стал полковником, инженером артиллерийских войск. В 1899 году по совету И. П. Павлова Александр Федорович перешел на работу в Отдел по отчуждению имущества для нужд

транспорта канцелярии Министерства путей сообщения. После Октябрьской революции 1917 года и ликвидации Министерства путей сообщения работал в Народном комиссариате путей сообщения, проживая с 1918 года в Москве. Скончался А. Ф. Павлов в 1956 году.

Мемуары Александра Федоровича касаются преимущественно периода его жизни в семье Павловых (1897–1901), а также коротких встреч с Иваном Петровичем до того в Рязани и в последующие годы в Ленинграде и Москве. Воспоминания написаны с большим теплом, любовью и юмором, проникнуты глубоким уважением к своему дяде – выдающемуся ученому и замечательному человеку.

Полный текст рукописи Александра Федоровича под названием «Воспоминания об академике Иване Петровиче Павлове» хранится в Музее-усадьбе И. П. Павлова в Рязани (основной фонд, документ 103/3369), машинописная копия – в Мемориальном музее-квартире академика И. П. Павлова в Санкт-Петербурге. Рукопись никогда прежде не публиковалась, хотя использовалась многими авторами как источник сведений при написании книг об Иване Петровиче Павлове, и выдержки из ее текста не раз цитировались в различных изданиях.

Настоящая публикация впервые дает возможность читателям познакомиться с полным объемом написанных Александром Федоровичем мемуаров.

Наконец, третьи из приводимых в книге воспоминаний принадлежат Марии Капитоновне Петровой – женщине необыкновенной судьбы, проведенной рядом с Иваном Петровичем без малого четверть века при ежедневном общении, проведении экспериментов, поисках истины в создании учения о высшей нервной деятельности.

Мария Капитоновна родилась 25 марта 1874 года в Тифлисе в семье военного священника. Среднее образование получила сначала в Тифлисской, а потом в Санкт-Петербургской гимназиях. В 1901 году она поступила в Женский медицинский институт в Петербурге, который окончила в 1908 году со степенью лекаря с отличием. Затем работала у профессора Г. А. Смирнова в госпитальной терапевтической клинике института, где в 1911 году сдала докторантский экзамен.

Одновременно с 1910 года она состояла на службе в городской Петропавловской больнице, в том же году стала членом Общества русских врачей в Санкт-Петербурге.

С января 1912 года М. К. Петрова стала работать у И. П. Павлова в физиологической лаборатории Военно-медицинской академии. В 1914 году защитила диссертацию на степень доктора медицины. Тогда же перешла в ПЭМ, всецело посвятив свою жизнь научным исследованиям в области физиологии под руководством Ивана Петровича.

В 1935 году она была избрана заведующей кафедрой физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности Ленинградского института для усовершенствования врачей (ГИДУВ), оставаясь на этом посту до 1941 года.

В 1936 году, после смерти Павлова, исследовательская деятельность Марии Капитоновны сосредоточилась, по предложению Л. А. Орбели, в Физиологическом институте АН СССР, где она и проработала до конца своих дней.

Умерла М. К. Петрова 14 мая 1948 года, похоронена, как и И. П. Павлов, на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Еще при жизни Ивана Петровича у Марии Капитоновны зародилась мысль оставить о нем и его окружении подробные воспоминания.

Толчком к тому послужила книга А. М. Евлахова о Л. Н. Толстом. «Ее я прочитала в Колтушах вместе с Иваном Петровичем, – писала позже сама Мария Капитоновна, – и она поразила меня своим контрастом между обоими гениальными людьми – Л. Н. Толстым и И. П. Павловым. Л. Н. Толстой был гениальный художник, в юности мечтавший о славе, не любивший Шекспира и даже враждебно к нему относившийся, мало уделявший внимания своей семье. Иван Петрович Павлов, гениальный мыслитель (абсолютно не художник), о личной славе нико-

гда не мечтал, он хотел только своими трудами ученого способствовать благу человека, благу горячо любимой родины. Шекспир же был его любимым писателем. Он был очень внимателен и заботлив к своей семье. Мне тогда уже хотелось написать всю правду об этом удивительном человеке, страстно преданном своему делу, больше всего в жизни любившем свою науку, свою физиологию» (*Петрова М. К. Из воспоминаний // И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967. – С. 176*).

И вот теперь, взяв в руки настоящую книгу, читатель может подробно познакомиться с уникальнейшими материалами, которых не коснулась рука цензора, оригинальным текстом воспоминаний без каких бы то ни было купюр. Эти материалы свидетельствуют о том, какой Мария Капитоновна видела обстановку, в которой проходили многие известные события научной физиологической жизни, каким предстал в этой ситуации Иван Петрович, о его восприятии, реакциях, поведении в разных условиях и в разные периоды жизни, об отношении к людям, привычках, оценках происходящих событий.

Уместно обратиться к истории рукописи, о которой идет речь, рукописи, которая полностью нигде, никогда, никем не публиковалась да и фактически долгое время была просто недоступной, даже профессионалам. Рукопись свою М. К. Петрова назвала «Воспоминания об академике И. П. Павлове (моя исповедь)». «Воспоминания» были начаты спустя четыре месяца после кончины И. П. Павлова, в июле 1936 года, и закончены в сентябре 1945 года уже после войны, пережив вместе с Марией Капитоновной все тяготы 900-дневной ленинградской блокады. За год до смерти, в 1947 году, Мария Капитоновна передала семь толстых рукописных тетрадей вместе с машинописной копией в рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде на посмертное хранение.

Вполне понятно, что такая рукопись не могла не привлечь внимания властей предрезающих, тем более что касалась она многих сторон жизни Павлова, о которых положено было знать только «узкому кругу ограниченных людей». Одним из них оказался и В. М. Андрианов, с 1949 года первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, в 1950—53 годах – обкома партии. Разумеется, пакет Марии Капитоновны вскоре попал в горком ВКП (б). В документе под грифом «секретно» от 1 декабря 1949 года, адресованном секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову, Андрианов сообщал о наличии пакета и испрашивал указаний о дальнейшей судьбе рукописи. При этом он не преминул добавить, что Петрова «свыше 25 лет была в интимных отношениях с Павловым».

Далее письмо Андрианова поступило еще к одному секретарю ЦК – М. А. Сулову, ведавшему идеологией. Последний направил рукопись на экспертизу в отдел науки ЦК, где «эксперты» Ю. А. Жданов и В. С. Кружков в записке от 15 апреля 1950 года, адресованной одновременно обоим секретарям ЦК – и Маленкову, и Сулову, не сочли возможным обнародовать материалы «Воспоминаний». Дословно это сформулировано так: «Учитывая, что в воспоминаниях М. К. Петровой много места уделено ее интимным отношениям с академиком Павловым, не считали бы целесообразным их публиковать. Просим Ваших указаний...» [Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) Ф. 17. Оп. 132. Ед. хр. 172. Л. 5–6.]. Указания последовали незамедлительно. Уже в ноябре 1950 года, согласно резолюции Сулова, рукопись была направлена в Центральный партийный архив (ныне РЦХИДНИ) в отдел пропаганды и агитации, где и хранилась под грифом «секретно».

В 1990-х годах, когда стали доступными многие, в том числе и секретные, партийные материалы интерес историков науки к «Воспоминаниям» М. К. Петровой вновь пробудился и вскоре принес несколько новых публикаций. Первой из них оказалась статья Н. А. Григорьян в «Вестнике Российской академии наук» (1995. – Т. 65. – № 11. – С. 1916–1023) и ее же монография «Иван Петрович Павлов. 1849–1936. Ученый. Гражданин. Гуманист. К 150-летию со дня рождения» (М., 1999. —312 с.), тогда же с фрагментом материалов М. К. Петровой в журнале «Природа» (1999. – № 8. – С. 59–71) выступила еще одна москвичка Н. В.

Успенская. Между тем многое из того, чего больше всего боялись партийные функционеры, и здесь также ушло в отточие.

И прежде всего оказалась совершенно нетронутой освещением та тяжелая атмосфера, которая царилла во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ) после смерти Павлова: борьба за руководство школой, лидерство в развитии павловских идей, направление дальнейшего движения павловской мысли и т. д. Все это ярко, с конкретными примерами и персонами, подробно описано в «Воспоминаниях» Петровой. После смерти Павлова Мария Капитоновна продолжала работу у его преемника – Л. А. Орбели и оказалась, таким образом, не только в самом центре круговорота «разборок» сотрудников – претендентов в борьбе за лидерство в продолжении «дела Павлова», но еще и под их ударами.

Заметим, кстати, что во многом именно та атмосфера и ее основные фигуранты и привели отечественную физиологию к печальной памяти так называемой «Павловской» сессии 1950 года, отбросившей, подобно лысенковской ВАСХНИЛовской сессии 1948 года, нашу науку на многие десятилетия назад. В рукописи можно без особых поисков подробно познакомиться не только с главными «героями» этого позорного события, но и с подручными, выполнявшими черновую работу.

Н. В. Успенская в очерке «Поздняя любовь. Пролог к исповеди М. К. Петровой» («Природа», 1999) пишет следующее: «Рассказывая о творчестве Павлова, физиолог Л. И. Чилингарян провела впечатляющую параллель. Она напонила рассказ очевидца, будто Пастернак как-то сказал, что советская власть насаждала Маяковского, как когда-то Николай I – картошку. Нечто похожее после знаменитой так называемой «павловской» сессии произошло и с Павловым. Даже хорошее, если его навязывают насильно, может вызывать отторжение. Хрестоматийный образ очень правильного Ивана Петровича, «друга советской власти», мысли и работы которого не подлежат никакой коррекции, стал приобретать плакатные очертания.

Теперь многое видится иначе. Известны дерзкие выпады Павлова против правителей, которым он не спускал ничего, как бы ни «окучивал» старика Бухарин, как бы ни «заботилась» о нем власть, строя напоказ отличные лаборатории, субсидируя заграничные командировки и т. п., Павлов оставался в оппозиции. Но многослойная лакировка, которой подвергался его портрет, размывается не сразу...». Воспоминания Марии Капитоновны как нельзя лучше убивают эти фальшивые политические наслоения и очеловечивают застывшее изображение Ивана Петровича.

Нельзя пройти мимо большого раздела жизни послепавловского ПЭМ и его лабораторий во время Отечественной войны и, особенно, жутких дней блокады, когда, несмотря ни на что, Мария Капитоновна продолжала вести научную работу. Некоторые из этих блокадных дней даже отмечены датами: «Уже 1 апреля [1942], а я все еще жива...». Конечно, выжить без надежды было невозможно. И здесь, в этой части воспоминаний, как, впрочем, и на протяжении всей рукописи, Мария Капитоновна рефреном проводит идею о том, что именно отчетливо выраженный «рефлекс цели», правильность избранного пути, беззаветное служение своему делу являются той реальной основой, которая составляет и определяет поведение личности, позволяет ей выжить в самых невероятных условиях.

Хотя происходила Мария Капитоновна из семьи священнослужителя, и муж ее, в свою очередь, также имел духовный сан, сама она, как пишет в «Воспоминаниях», в Бога не верила. И тем не менее в те тяжкие годы войны, как и многим гражданам Советского Союза, ей пришлось уверовать в отца всех времен и народов Сталина и постоянно обращаться к нему свои многочисленные молитвы. Особенно тогда, когда Отечественная война близилась к концу, и все с трепетом ждали великого дня Победы. Сейчас это для молодого поколения становится непонятным, но что было, то было. История не подлежит исправлению.

Что же касается уже упоминавшегося выше мнения сотрудников отдела науки ЦК Жданова и Кружкова, полагавших, что в рукописи воспоминаний М. К. Петровой много места

уделено ее интимным отношениям с Павловым, то возникшая на склоне лет привязанность академика к своей умелой, увлеченной помощнице, обладавшей не только привлекательной внешностью, но и талантом экспериментатора, вполне естественна и заслуживает уважительного отношения. Возникшая на склоне лет поздняя любовь – явление в истории хорошо известное. Обоюдная симпатия и привязанность Ивана Петровича и Марии Капитоновны не составляли никакого секрета для близких и окружающих. Да и сами они не делали из этого никакой тайны.

В начальной части рукописи «Воспоминаний» Мария Капитоновна говорит: «Когда я решила писать свои мемуары (по просьбе многих), где главным действующим лицом должен быть Иван Петрович, я сообщила ему об этом, сказав, что буду писать о нем как о человеке все, что знаю об его личной жизни, и буду писать всю правду о нас обоих, только правду. На это мое заявление с его стороны не последовало никакой отрицательной реакции, никакого даже малейшего неудовольствия, а как будто даже наоборот, удовлетворение. Этот человек, всегда правдивый, не боялся правды о себе. Спустя некоторое время, подумав, он сказал как бы вскользь, что вообще не склонен сознательно кому-либо причинять боль и просил меня, чтобы написанные мною воспоминания сделались бы общим достоянием лишь после смерти его жены, на что я ему прибавила: и моей (так как записки эти выйдут в свет только после моей смерти и будут переданы в двух экземплярах в надежные руки, чтобы по тем или иным причинам не были искажены кем-либо).

«Заодно опишите и себя, – сказал он, – вы были отличная мать и воспитательница и так хорошо совмещали материнство с любимым, важным научным делом. Ваша жизнь, ваша материнская любовь и страстная, исключительная преданность науке должны служить примером для других».

Но осуществить свое решение, правдиво описать нашу совместную как личную, так и научную жизнь удалось мне лишь после его смерти».

Познакомившись с напечатанной в настоящем издании рукописью, читатель несомненно почувствует, что страницы воспоминаний Марии Капитоновны, как, впрочем, и Серафимы Васильевны, и Александра Федоровича постоянно отражают истинные чувства и живую жизнь непосредственных участников событий. К тому же мемуары жены и племянника И. П. Павлова дополнены нами достаточно подробными комментариями, уточняющими некоторые отдельные детали описываемых событий и дающими более полное представление о действующих лицах, упомянутых в тексте.

К воспоминаниям М. К. Петровой мы решили ограничиться только примечаниями, включающими расшифровку аббревиатур фамилий и краткую характеристику описываемых ею персонажей.

Все мемуары богато иллюстрированы, большая часть фотографий предоставлена Мемориальным музеем-квартирой И. П. Павлова в Санкт-Петербурге, некоторые из них публикуются впервые.

Приводимые воспоминания дают широкую картину жизни Петербурга— Петрограда – Ленинграда на протяжении семидесяти лет: с конца 70-х годов XIX века до середины 40-х годов XX века.

Записки Серафимы Васильевны в основном посвящены жизни Петербурга конца XIX – начала XX века, а воспоминания Александра Федоровича служат дополнением к ним. Павлов и его невеста (а затем жена) вместе со всем культурным Петербургом переживали такие заметные события в жизни города, как смерть Достоевского, убийство Александра II, нашумевшую выставку картины Куинджи «Ночь на Днепре», избрание Менделеева в Академию наук.... Перед читателем проходят Гончаров, Мусоргский, Достоевский, Тургенев и другие выдающиеся люди того времени. Но в целом мемуары Серафимы Васильевны вместе с записками Александра Федоровича в большей мере посвящены личной, семейной жизни Павловых.

Напротив, воспоминания Марии Капитоновны в основном характеризуют деятельность Павлова в его рабочей обстановке, в лаборатории в ходе экспериментов, в общении с сотрудниками, коллегами и учениками. Они по преимуществу охватывают совсем другой исторический период, чем записки Серафимы Васильевны, а именно эпоху Петрограда с Первой мировой войной, революцией и событиями Гражданской войны, а затем ленинградский период, включая и драматические события после смерти Павлова, связанные с тягостным временем репрессий, и далее трагическое и героическое время блокады Ленинграда.

Таким образом, публикуемые мемуары несомненно дополняют друг друга и дают живой портрет гениального ученого в разные периоды его жизни и в разных обстоятельствах.

Составители издания и комментаторы его материалов полагают, что публикация приведенных здесь малоизвестных ранее сведений явится своеобразным памятником нашему великому соотечественнику И. П. Павлову – первому российскому лауреату Нобелевской премии.

А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков, Э. А. Космачевская, Л. И. Громова, К. Н. Зеленин

## **Серафима Васильевна Павлова Из воспоминаний**

Текст печатается по машинописному варианту рукописи С.В. Павловой, хранящемуся в Мемориальном музее-квартире И. П. Павлова в Санкт-Петербурге (Научно-вспомогательный фонд, № 1).

Рукопись состоит из трех частей: «Детство и юность», «Студенческие годы (1877–1880)», «Замужняя жизнь (1881–1936)», включает 453 страницы машинописного текста и имеет оглавление. Первая часть воспоминаний (123 стр.) содержит подробности детских лет жизни Серафимы Васильевны, проведенных в родительском доме, не имеет непосредственного отношения к И. П. Павлову и поэтому не включена в настоящую публикацию. Авторский текст второй и третьей частей «Воспоминаний» сохранен полностью, внесены лишь некоторые исправления пунктуации в соответствии с современными правилами.

Основной текст данной главы набран гарнитурой Times, ранее не публиковавшиеся фрагменты текста «Воспоминаний» набраны гарнитурой Helen-Cond (у которой буквы более узкие, без засечек). Воспоминания, письма к невесте и автобиография Ивана Петровича набраны курсивом.

## Студенческие годы (1877–1880)

*Самым прекрасным счастьем мыслящего человека является достижение достижимого и спокойное преклонение перед недостижимым*

### Петербург

Молодой девушкой, много работавшей, но никогда не покидавшей родной семьи, приехала я на курсы в Петербург. Надо сказать, что, зарабатывая на свою жизнь с 12 лет, я была самостоятельной. Поездка в столицу одной и без всяких средств меня несколько не страшила. Имела я всегда уроки у себя в провинции с постоянно успешными результатами, почему бы мне не иметь их и на курсах? Так думая, я поехала.

Приезд в Петербург не ознаменовался для меня особенно сильными впечатлениями. Во-первых, я видала массу фотографий этого города и слыхала много рассказов о нем от учениц. Во-вторых, приехала в осеннюю погоду. Небо было цвета помоев. Все виделось сквозь серую грязную сетку, лица были непозволительно угрюмы и озабочены. Не встречалось ни одного! лица со спокойной радостной улыбкой, к чему мы так привыкли на юге. Поразила меня только красавица Нева.



Сарра Карчевская. 1877 г.

Может быть, этому угрюмому впечатлению способствовало еще также мое полное безденежье.

Платить в гостинице мне было трудно, и я очень обрадовалась, когда одна из моих одноклассниц, имевшая большую комнату на Сергиевской, приехала и тотчас же перевезла меня к себе. С ней я прожила до тех пор, пока не нашла себе сожительницу – молодую девочку лет 16–17, только что окончившую симферопольскую гимназию, с которой мы дружно и весело прожили весь первый год.

Денежные дела я устроила просто – заложила золотую медаль и шубу. Квартиру же мы искали с приключениями.

Устроились мы сначала в Столярном переулке у одной вдовы с обедом за очень дешевую цену. Оказалось же, что хозяйка кормила нас курами с червяками, отмывая кур в уксусе.

Каждый раз, когда мы возвращались с лекций (у нас лекции были от 5 до 9 часов вечера), встречал нас пьяный городской с гармошкой и приговаривал:

– Чтой-то барышни каждый вечер тут ходите, и каждый вечер только смущаете?

От таких «смущений» мы перебрались на другую квартиру. В поисках нового пристанища попали мы к одной очень благообразной и чистенькой старушке, предложившей нам светлую и уютную комнату со всеми удобствами и даже с кисейными занавесками на окнах. Мы были очарованы. Отдавала она нам эту комнату за 13 рублей в месяц. Прежде чем дать задаток, я спросила, нельзя ли дверь в другую комнату, которая была заперта, заставить платным шкафом. Хозяйка на это возразила:

– Никак невозможно: эта дверь ведет в комнату других жильцов.

– Что же, – воскликнули мы, – наша комната будет проходная?

– Да, через вас будут ходить только два приказчика, люди они молодые, благородные, хорошо одетые, а кровати ваши я завешу простынкой и для этого протяну через комнату веревочку.

Мы расхохотались и сказали, что никак не можем согласиться. Уступала она нам комнату за 10 рублей с самоваром утром и вечером и соблазняла выгодным знакомством с приказчиками.

– Вот и мне они принесут то платочек, то чулочки, а для вас, молодых, наверно, еще больше постараются.

Понятно, что мы со смехом отказались от такого приятного и выгодного соседства.

У меня были рваные чулки, у моей сожительницы – рваные сапожки, мы обе соблазняли друг друга и весело смеялись, словом, мы все же отлично прожили первый год нашего проживания в столице.

Постепенно жизнь наладилась, хотя я и опоздала к началу занятий, но встретила весьма доброжелательное отношение со стороны начальства, благодаря золотой медали, с которой окончила гимназию. Я была принята на педагогические курсы<sup>1</sup>.

Беда была в одном: я не могла найти уроков. С большим трудом получила, наконец, урок далеко от моей квартиры. Нужно было ежедневно заниматься за 15 рублей в месяц. Вот на эти деньги я и прожила целый год, так как родные мои, не желавшие моего пребывания среди передовой молодежи, не помогали мне. Был у меня в Петербурге крестный. Но от него я ничего не принимала.

За учебу я заплатила, заложив шубу. Зато проходила целую зиму в драповой кофточке и без галош (мои украли в театре), а зима в тот год была лютая. Билеты в театр – самые дешевые – покупала на деньги от продажи букинистам моих наградных книг. Конечно, за них получала я немного. Шесть рублей платила за комнату, пятьдесят копеек прислуге. Оставалось восемь рублей на баню, прачку и еду. Что же? Я не только не похудела, но даже не побледнела.

## **Крестный Павел Петрович (адмирал П. П. Семенюта)**

Мать моя очень недоброжелательно и даже со страхом смотрела на мою затею – поездку в Петербург, так же, как и все нежно любившие меня сестры и их мужья<sup>2</sup>. Желая, чтобы я имела близкого человека на чужбине, мать просила меня зайти к моему крестному отцу, товарищу покойного папы по службе в Черноморском флоте.

В день отъезда не оказалось моего метрического свидетельства, и мать решительно объявила, что вышлет его на имя Павла Петровича – моего крестного. Я была страшно недовольна. Однако билет был взят, ждать было некогда, и я поехала.

Впоследствии глубока была моя благодарность предусмотрительной матери за знакомство с таким редким, умным и добрым человеком. Он, действительно, стал мне близким, как отец родной. С ним я делила и горе, и радость в течение всех трех лет моего учения.

В один из свободных дней отправилась я впервые к Павлу Петровичу. Была принята им, как родная и получила приглашение обедать по субботам.



Серафима Андреевна Карчевская мать С. В. Павловой. На обороте фотографии подпись: «Моей милой, дорогой Сарре от горячо любящей ее матери. 8 сентября»

В этот день у доброго холостяка собирались дети его друзей. Были это все мальчики, обучавшиеся в разных закрытых заведениях: лицеисты, правоведы, моряки и кадеты. Из девиц я была одна. Крестный требовал от своих мальчиков хороших манер, всегда честного отчета

о протекшей неделе и рыцарского отношения к женщине. Понятно поэтому, что они благоговейно внимали моим речам и выполняли все мои желания и просьбы: брали билеты в театр (конечно, на мои деньги), доставали книги, переписывали мои заметки. Некоторые пробовали как-то дарить мне цветы и конфеты, но я, не желая обидеть тех, кто не мог ничего купить, наотрез отказалась принимать какие бы то ни было дары.



Павел Петрович Семенюта крестный отец С. В. Павловой

Мой крестный отец был председателем военно-морского суда. Он был большим приятелем покойного отца, часто бывал у нас в доме и вместе с другими офицерами Черноморского флота ухаживал за моей матерью.



Василий Авдссвич Карчевский отец С. В. Павловой

Припоминаю наш первый разговор в Петербурге. В самых теплых и дружеских выражениях высказал он свое мнение о моем покойном отце. Говорил, что отец за безграничную доброту и веселый нрав был общим любимцем всех, служивших в Черноморском флоте. Уютный домик моих родителей вообще охотно посещался. Там часто бывал незабвенный учитель Черноморского флота знаменитый адмирал Лазарев<sup>3</sup>. Бывали и остальные члены этой прославившей себя компании, как, например, Нахимов<sup>4</sup>. Он всегда ходил в эполетах, в картузе, при кортике и с книгой, заткнутой за пояс на читаемой странице. Наряжался он так постоянно, даже во время войны, чтобы по ошибке не убили кого другого вместо него.

Говорил крестный и про маму:

– Должен сказать, что мы все были влюблены в вашу мать и ухаживали за ней. За многими ухаживал я в своей жизни, но мало кого из них вспоминаю я с таким удовольствием, как вашу мать. Она как живая стоит перед глазами. Голова убрана редкостными косами. Розовое барежевое платье с открытой шеей и короткими рукавами, а на шее бриллиантовый крестик на узенькой черной бархатной ленточке с концами до самого подола. Это было тогда в большой моде и называлось «следуйте за мной». Вот мы и следовали за нашей прекрасной докторшей!

После знакомства со мной крестный проезжал как-то через Ростов-на-Дону. Во время остановки поезда, у моей сестры и у отца моей приятельницы Киечки – Авдотьи Михайловны Прокопович, он прославлял мое благоразумие в лестных для меня и сильных выражениях, и рекомендовал отцу отпустить Авдотью Михайловну под моим попечением на курсы.

## **Студенческая жизнь**

Моя жизнь с компаньонкой по комнате протекала очень дружно, несмотря на несходство наших характеров. Правда, обе были чрезвычайно веселого нрава и хохотали по каждому пустяку, но, кроме того, обе были прилежны и настойчивы, много и дружно работали по предметам своего курса. Время же отдыха проводили весело и горячо спорили обо всем прочитанном и переживаемом. Вскоре после того, как мы стали жить вместе, у нас начинала собираться молодежь. Многие были нам даже незнакомы, и большинство из них я больше в жизни не встречала.



Сарра Карчевская. 1871 г.

Раз один студент-медик сказал мне:

– Мы много беседовали о вас, Карчевская, и решили, что вы должны поступить на медицинские курсы, а не заниматься отсталой педагогикой.

– Кто же это решил, – сказала я, смеясь, – знаете, я никому не позволю решать мои личные дела!

– Я ждал подобного ответа, судя по вашей характеристике, сделанной вашими одноклассниками. И это особенно заставляет меня настаивать на перемене вашего плана.

Целый вечер прошел в переливании из пустого в порожнее на эту тему. Ушел он ни с чем, обиженный своим поражением.

Вот однажды заспорили мы с подружкой для удовольствия спорить, как правильнее говорить: вкус или скус, вострый или острый и т. д. Спор был очень оживленный, я побеждала, доказывая, что надо говорить «вострый» и, по нашему выражению, загнала свою противницу в клетку.

Как раз во время этого спора пришли к нам в гости четыре знакомых студента. Я замахала на них руками:

– Садитесь и молчите, вы увидите, как я ее снова загоню в клетку.

Моя противница усиленно просила прекратить наше словопрение. Я не согласилась и в конце концов заставила ее признать, что следует говорить «скус», а не «вкус».

Такие споры бывали у нас очень часто. Запутываясь в своих объяснениях, приходилось подчас признавать, что следует писать «характер», а не «характер» и т. п. Этим мы развлекали иной раз друг друга, ввиду отсутствия иных увеселений.



Мсье Лео, английский консул

Посещал нас, между прочим, еще один студент-путеец, мой знакомый по гимназии. Он был простоват и забавлял нас немудреными анекдотами, вроде следующих: «Почему говорят досвиДАНИЯ, а не досвиАНГЛИЯ» и т. п. Когда он приходил, мы не отворяли ему дверь до

тех пор, пока на наш вопрос: «Кто там», он не отвечал «Это же я», тогда дверь со смехом отворялась, и целый вечер проходил в веселой болтовне, конечно, если у нас не было спешных и неотложных занятий.

\* \* \*

Была у моей компаньонки знакомая консерваторка. Консерваторка эта приехала в Петербург лет 19–20. Заходила она вначале к нам частенько, была недурненькая, хорошо одевалась. Вот однажды она сказала:

– Приехала я сюда, чтобы сделать карьеру. Я безумно люблю красивую жизнь: блестящие туалеты, роскошную обстановку, выезды, приемы. А мой дядя, правильнее сказать мой отец, ксендз, дает мне только 50 рублей в месяц, да подарки в праздники. С этим далеко не уедешь!

Мы ужаснулись:

– Да вы богачка!

– Сколько же имеете вы? Я считаю, напротив, богатыми вас: вы всегда веселы, всегда хохочете!

– Да разве веселье приходит только с богатством, мы веселимся своей молодостью, наша работа нам по душе. Богатство и все, о чем вы мечтаете, я могла получить, не уезжая из своего города, да вот не пожелала и нисколько об этом не жалею.

– Я не могу вас понять. Если у меня нет красивого туалета, я совершенно печальна и никуда не могу показаться.

– Да перестаньте вы думать о таких пустяках, и вам будет также весело, как и нам, хотя у нас нет туалетов, кроме одного поношенного черного платья!

– Никогда не поверю, вы кокетничаете вашей простотой.

Когда же мы открыли ей свои сундучки (у нас не было даже шкафа), то повергли ее в недоумение. После этого разговора она начала ходить к нам реже и реже и, наконец, совсем перестала.

\* \* \*

Не все мы веселились, бывало нам и грустно.

Наступили Рождественские праздники и первые, которые я проводила вне дома. Курсы закрылись на две недели. Сидим мы и с печальными минами перебираем, какие теперь дома вкусные вещи.

Вдруг приходит горничная и передает мне повестку на посылку в 6 фунтов. Стараемся отгадать, что это. Сожительница уверяет, что это рождественские платья, а я же выражаю надежду, что мне высылают из дома теплые чулки и т. п.

Только на другой день могли мы получить посылку. На почту отправились вместе. Когда я увидела, что отправитель мсье Лео<sup>5</sup>, то сразу решила, что это конфеты. Чуть не бегом вернулась домой, и, о радость, конфеты, да еще какие, шоколадные, засахаренные фрукты, одним словом, самые мои любимые.

Сожительница вскричала:

– Ну, не милашка ли ваш Ле, я бы его расцеловала.

Я присоединилась к ее мнению.

Долго мы с ней хохотали, уплетая чудесный подарок, и обсуждали благодарственный ответ за внимание и подношение.

## Студенческие нравы в кружке

Благодаря подругам по гимназии, я вскоре попала в передовой кружок. С жадностью слушала я горячие речи о народном благе, о необходимости поднятия народного образования и непременно наряду с этим о борьбе с правительством. Приглядывалась я, прислушивалась, но сама не бралась говорить среди руководителей.

Много говорилось о нашем равноправии. Это мне не нравилось после рыцарского почтения ко мне в молодой компании у крестного. Не нравилось мне это еще и потому, что почти все мужчины установили весьма грубые отношения к нам, молодым девочкам.

Так, например, одна медичка называлась у нас «всеобщей». Когда я попросила одного из членов кружка – Орловского – объяснить мне, что это значит, то он сказал, чтобы я спросила курсистку – нашу красавицу Дроздову, бывшую уже на втором курсе. Дроздова объяснила:

– Какая ты наивная, Южанка (так звали меня в кружке, где у всех были прозвища), она просто переходит от одного мужа к другому!

Это меня страшно возмутило, и я отстранилась от этой медички, весьма миленькой девицы.

Вскоре один из руководителей – Волгин – препротивный, толстый, уже плешивый, с маленькими глазками, толстыми губами, с гнилыми зубами, вздумал во время разговора обнять меня! Со всего размаху я закатила ему пощечину и воскликнула:

– Помни – языком болтай, а рукам волю не давай!

Он начал говорить о том, что я о себе много воображаю, что Вера с моего курса стала без всяких фокусов его гражданской женой, что он найдет себе получше меня.

Много я навидалась, как пользовались нашей неопытностью и нашим желанием быть передовыми и вполне равноправными с мужчинами.

На меня все это повлияло так, что я стала проповедовать женское с в е р х п р а в и е.

Мое отношение к членам кружка доставило мне если не дружбу, то расположение Дроздовой, чем я была весьма довольна. Вот однажды Дроздова спрашивает меня:

– Вы живете одна?

– Нет, с подругой.

– Так приходите ко мне, мне надо поговорить с вами по личному делу.

– Хорошо, приду.

Пошла я к Дроздовой.

– Я полюбила вас, и вы мне нравитесь, особенно ваша проповедь сверхправия.

– Спасибо, это мне лестно.

– Будете говорить мне правду.

– Обещаю.

– Вы очень интересуетесь Орловским?

– Как и многими другими, не больше. Я с ним весело болтаю.

– И только – только?

– Решительно только.

– И сердце ваше не затронуто?

– О, нисколько!

– Вы знаете, за вас он избил Волгина.

– Слышала. Да этого негодяя за многих надо было избить.

Надо сказать, что в кружке был молодой Орловский, только что окончивший Институт путей сообщения. Он был недурен: блондин, с ясными ласковыми голубыми глазами, кудрявый, румяный, всегда с хорошей улыбкой, всегда веселый, остроумный. Мы с ним много болтали и частенько хохотали до слез, так как я была веселого нрава и большая болтушка. Кроме

этой болтовни и одного его стихотворения, поднесенного мне и осмеянного мною ко всеобщей потехе, между нами ничего не было. [Он как-то пришел за мной в Казанский собор, туда я заходила по дороге с курсов (они были на Гороховой улице рядом с училищем глухонемых) и поверяла нашей заступнице свои радости и горести. Вот он и написал по этому поводу стихи, я думала, что своими стихами он желает высмеять мою религиозность, и жестоко отчитала его.]

Но, продолжая наш разговор с Дроздовой:

– Вас поразили мои допросы?

– Признаться, да.

– Так знайте, я всей душой люблю его, люблю давно, еще в Гимназии я полюбила его и ради него поехала сюда, хотя могла ехать за границу: у меня есть средства. Оставьте мне его, не увлекайте, если вы его не любите! Только по-моему нельзя знать его и не любить. Никогда я бы не посещала кружок, если бы не он. Вот я и подумала, что и вы тоже ради него ходите на эти бестолковые разговоры, где пользуются нами как даровыми кусками! Разве не жалко рыженькую девчонку, которая гордится, что такая дрянь, как Вышерский, пользуется ее безграничной любовью и радуется, что она его гражданская жена. А «всеобщая»? Я дрожала за вас, когда вы появились в этой компании, юная, милая и веселая. Мне понравилось, что вы приглядывались, не болтали высокомерно с чужих слов и хорошо отождели Волгина. Вы не пропадете! Теперь я боюсь за юную Уфу, привел ее земляк, а сам перестал ходить, будем вместе беречь ее.

Крепко пожала мне руку красавица и поблагодарила за откровенность. После этого я стала по возможности избегать веселого Орловского. Он же не отставал от меня и подносил мне чудные стихотворения как свои произведения. Оказалось, что все это стихотворения Тютчева. Мой поклонник переписывал стихи крупного поэта, надеясь на мое невежество и зная мою любовь к поэзии.

\* \* \*

Жизнь шла своим чередом. Учились. Сдавали экзамены. Весной катались в свободное время на лодках, слушали в кружке лекции приятелей Желябова<sup>6</sup>, мечтали послушать его самого, хотя бы посмотреть на ученого Кибальчича<sup>7</sup>.

Кончились экзамены. Я собиралась ехать домой к себе. Многие же кружковцы поехали в какую-то деревню за Волгой для работы, вернее, для пропаганды среди народа. Провожали в эту поездку Верочку с Вышерским и еще кого-то. Мы были поражены, увидев детку Уфу с Волгиным. Остановившись около нас, как бы хвастаясь своим успехом, Волгин проговорил:

– Завтра в пять часов на Финляндском вокзале, поедем за город обедать!

Мы с Дроздовой сделали вид, что не обратили никакого внимания на его слова и только молча переглянулись. Выходя с вокзала, мы подхватили Уфу и спросили:

– Где ваша тетя?

Уфа жила у властной и состоятельной тетки под строгим присмотром.

– Заболела и уехала в Друскеники. Вот сдам последний экзамен у Страннолюбского<sup>8</sup> и поеду к ней. А пока что живу с экономкой и наконец-то наслаждаюсь свободой. Экзамен только через два дня, я к нему готова и завтра обедаю с Волгиным за городом, – с гордостью добавила нам милая наивная девочка.

– Завтра утром вы держите экзамен, а в 3 часа едете к тетке – властно сказала Дроздова. – Вас проэкзаменует Страннолюбский со вторым курсом. Я берусь это устроить, а Южанка возьмет вам билет и предупредит об отъезде вашу экономку.

– А как же обед с Волгиным? – плачевно сказала девочка.

– С этим негодяем вам стыдно ехать одной, это очень неприлично.

Девочка покорилась, выдержала экзамен и в 3 часа уехала, Волгин был взбешен и поклялся, что на будущий год Уфа будет его гражданской женой.

– Этот негодяй, сказала Дроздова, – наверно, узнал, что Уфа со средствами, и желает выгодно жениться. Ведь он только и думает о своей утробе, сам он бездельник и выезжает на проповедях, ловя на громкие фразы молодых несведущих людей. Вы поверьте, он только говорит о гражданском браке, а сам мечтает о законном, чтобы получить состояние жены. Но я этого не допущу! Хоть и не люблю я таких важных барынь, как тетка Уфы, поеду к ней и расскажу всю правду.

\* \* \*

Я должна была последний раз обедать у крестного, чтобы проститься со всем его пансионом. Иду домой отдыхать. Навстречу Орловский, предлагает не терять на редкость чудный день и поехать в Таврический сад:

– Там погуляем, поболтаем. Ведь вы завтра уже уезжаете домой. А я так надеялся провести с вами лето на Волге.

– Да ведь с вами поедет Дроздова.

– Я только для вас записался в компанию.

Гуляли мы, весело болтали, сели на траву и закусили пирожками с мясом, а потом чудными конфетами.

Стала я собираться домой, чтобы не опоздать к обеду. Тогда он решился, наконец, и сказал:

– Приглашая вас сюда, я хотел откровенно, без помехи поговорить с вами. Я люблю вас, люблю так сильно, так крепко, что мечтаю служить подножьем ваших ножек. Он схватил и поцеловал мой грязный пыльный сапог.

– Вы высмеяли мое первое стихотворение, но если бы вы видели, как после вашего ухода я бросился на ваше место и целовал следы ваши! Я горячо и пламенно молился вашей царице небесной и обещал быть верующим, если вы меня полюбите. Я знаю, что ничем не заслужил вашей любви, но верьте мне, никто и никогда не будет любить вас так, как я. Вы думаете, что я пустой болтун, я серьезный работник, я отлично кончил курс, я хорошо знаю три языка. Я получаю из своего имения в год тысячу рублей, но могу свободно иметь 3 тысячи из дому, а сколько я смогу заработать для вас! Может, вы желаете богатой жизни? Вы говорите, что мечтаете путешествовать? Клянусь, исполнять вашу волю будет мое счастье.

– А Дроздова? – сказала я.

– Дроздову я люблю, как сестру. Знаю, что она красивее вас! Может быть даже умнее, и любит меня всей душой. Но мне не надо никого, кроме вас. Я вижу по вашему лицу, – говорил он сквозь слезы, – что вы не любите меня, но дайте мне хотя бы надежду, дайте обещание поближе узнать меня и только тогда дать решительный ответ. Посмотрите, что за день, что за радость кругом, а вы не хотите порадовать меня надеждой!

И он запел своим чудным голосом:

*Не говори ни «да», ни «нет»,  
Будь равнодушна, как бывало,  
И на решительный ответ  
Накинь густое покрывало.*

– Хорошо, – сказала я, жалея его всей душой, так как никакой нежности к нему не чувствовала.

– Тогда закрепим наш договор поцелуем, одним единственным поцелуем!

– Ну вот, это не годится. Это походит на ухаживание Волгина, – сказала я, смеясь.

– Что делать! Удовольствуюсь поцелуем вашей дорогой маленькой ручки. Завтра буду вас провожать.



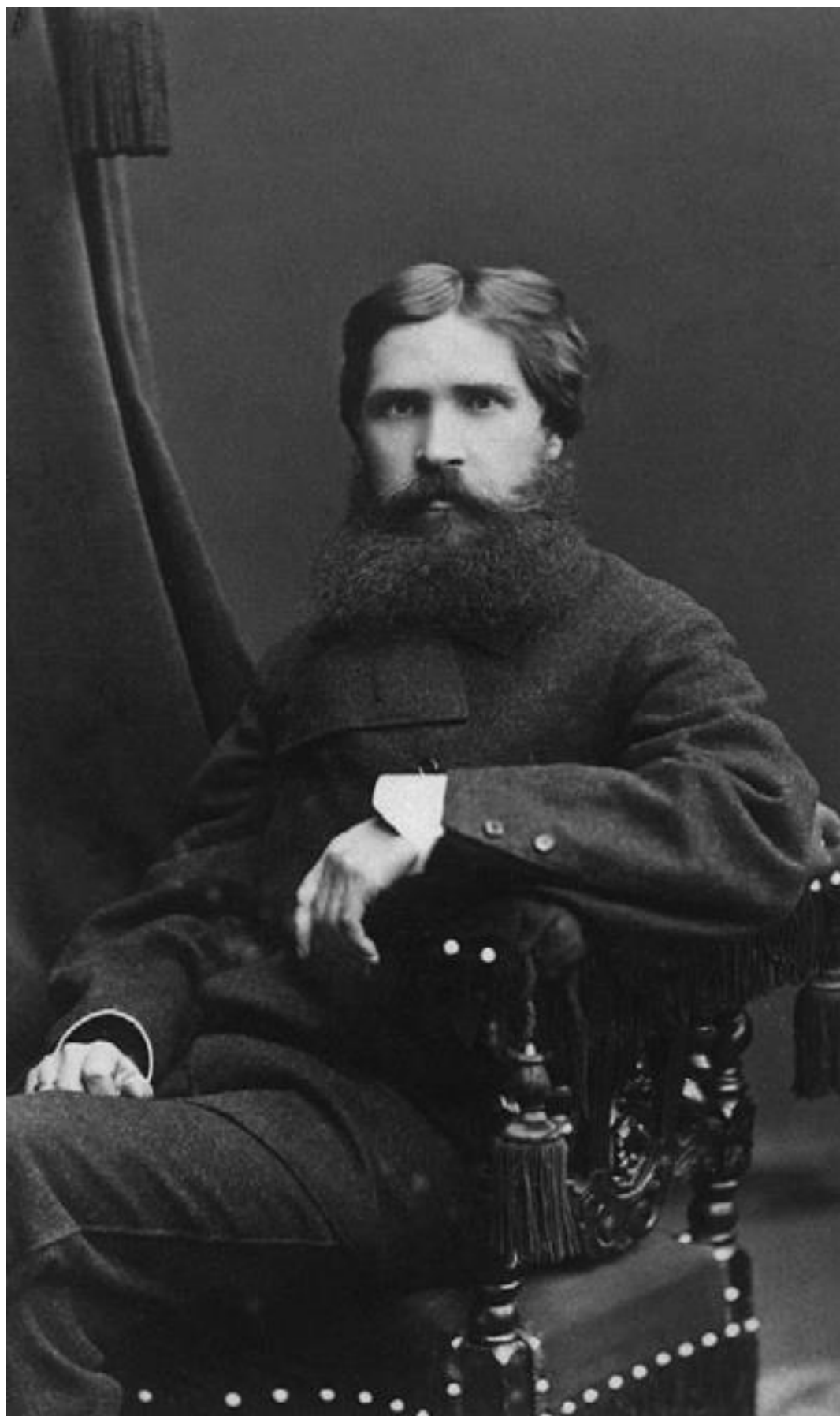
Раиса Васильевна Карчевская (в замужестве Хмельницкая) – сестра С. В. Павловой

Простилась я с птенцами моего крестного и с ним самим. Дома уложила свой скудный багаж. Устала, а заснуть никак не могла. Жаль мне было, бесконечно жаль веселого и сердечного Орловского.

Утром мы простились со многими навсегда. Я поехала домой к моим нежно любимым сестрам, матери и брату.

### **Опять дома**

Вся семья была очень рада моему приезду. Мы превесело провели время за первым обедом. Все были довольны и каждый по-своему стремился меня побаловать.



Евстигней Никифорович Хмельницкий – муж Раисы Васильевны

Вот после обеда уселись мы с любимой сестрой Раечкой на диванчике в детской, она обняла меня и сказала:

– Ты все время писала веселые письма? Ну а как было на деле?

– Что же сказать, по правде было холодно и голодно!

– А ты все смеялась?

– Да, смеялась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но, Рая, верь мне, что после того, как я взяла на себя труд бывать на всех экзаменах нашей гимназии (при Педагогических курсах была гимназия для многих практических занятий) и записать все любимые вопросы экзаменаторов, я уверена, что на будущий год буду жить хорошо и иметь много уроков.

Вскоре по приезде я отправилась к своему любимому учителю. Боже мой, боже мой, какую перемену я в нем нашла! Обрюзгшее лицо и вместо приятного нежного баритона – какие-то хриплые звуки.

Обрадовался он мне сильно. Схватил за обе руки и приблизил:

– Хотел бы спеть, но не могу, а только скажу вам – и он прочел лермонтовский «Утес».

– Что же, тучка, спалила свои крылышки?

– Тяжело пережила тучка последнее слово, слышанное ею от вас: поздно. А теперь от чистого сердца она должна сказать со своей стороны: поздно! – и упали слезы на мои руки...

Поговорили о моих занятиях, о том, что интересовало молодое поколение, в конце концов он сказал:

– Может, на будущий год и это меня не будет интересовать. Чтобы не расплакаться, я быстро простилась и ушла.

## Второй курс

На второй год приехала я в Петербург вместе со своим старым и горячо любимым другом – моей ненаглядной Киечкой, с которой я и прожила до окончания курсов. К моему сожалению, она поступила на только что открывшиеся Бестужевские курсы<sup>9</sup>, а я не захотела изменять моей педагогике. Это не мешало нам жить душа в душу, как мы прожили два года в Гимназии.

Народу стало к нам ходить пропасть. Мои комнатки сильно пострадали против первого года. Зато было необычайно весело.



Евдокия Михайловна Прокопович (Киечка) – подруга С. В. Павловой

Посещала нас компания технологов, с которыми мы познакомились в вагоне, когда ехали с Киечкой из Ростова-на-Дону, ехать нам было тогда так весело, что нашим весельем наслаждалась вся публика. Сдвинув вещи и потеснившись, нам доставили возможность танцевать в вагоне.

Технологов было 7–8 человек, жили они недалеко от Технологического института. Жили дружно, настоящей коммуной. Вот однажды Кия говорит мне:

– Ты знаешь, что мне дорого твое счастье. Головченко просил меня быть его ходатаем перед тобой. Я нахожу, что он умен, добр и очень покорен тебе, видя в этом свое счастье.

Я сказала, что согласна и полагаюсь на нее, зная, как она желает моего счастья.

С женихом я заговорила прямо:

– Есть у вас средства содержать семью?

– Нет. Я живу на свою стипендию, а потом, я должен за стипендию отслужить там, куда меня отправят.

– Хорошо, – сказала я, – у меня тоже нет ни гроша. В прошлом году я голодала. Теперь решила жить по-человечески и буду чрезвычайно много работать. Значит надо немного подождать, пока я устрою свои дела. Я человек верующий и без благословения церкви не пойду замуж. Вашему верию или неверию мешать никогда не буду. Вот вы говорите о поцелуях. Но я буду целоваться только со своим мужем. Один поцелуй получите вы от меня в залог будущего.

На таких условиях стала я невестой. Продолжалось дело недолго. Он заболел скоротечной чахоткой, лег в больницу и меньше чем через месяц скончался.

Так и закончилась моя жизнь как невесты.

\* \* \*

Из своего кружка я увидела Дроздову, и осенью мы отправились с ней к тетке Уфы, важной барыне. Она приняла нас весьма холодно. Выслушала подробный рассказ и гордо заявила:

– Это подтверждает мое мнение о теперешней молодежи. Мне очень приятно, что вы являетесь исключением. Опасаться вам нечего: моя племянница больше не будет учиться, так как выходит замуж через месяц, потом с мужем они едут в Италию, а оттуда к нему на родину. Еще раз благодарю вас и буду довольна видеть у себя: это отвлечет вас от разных увлечений и приключений.

Больше мы никогда ее не видели, а с Уфой простились на курсах, куда она зашла перед своим отъездом. Раз она написала из Италии о своем счастье. Мы же ей как-то не собрались ответить, тем знакомство с ней и кончилось.

Еще читала я письма Верочки, которая была так счастлива весной при отъезде за Волгу. Писала Вера, что, когда она забеременела, то при первых признаках беременности супруг стал к ней относиться грубо, когда же родился ребенок, он заявил, что не давал обязательства содержать детский приют и что ей стыдно сидеть у него на шее! Бедная наивная девушка была убита горем, любя всей душой своего грубого идола. Долго мы ей помогали в складчину.

Дроздова вскоре уехала за границу. Она зашла ко мне перед своим отъездом и сказала:

– Это наше последнее свидание. Я исполняю обещание, данное покойному Орловскому.

– Как покойному?

– Вы загнали его в деревню, в эту дыру, где он изводил меня разговорами о вас, о ваших, якобы, совершенствах. Умер он, любясь вашей фотографией, и я по обещанию положила ее ему на грудь. Боже, как я ненавижу вас. Что это с вашей стороны – непростительное кокетство или равнодушие?

– Верьте, верьте, полное равнодушие. И я не умею играть любовью.

– Так помните его слова, он поручил мне вам сказать: многие ее будут любить, у нее какой-то магнит, но никто и никогда не будет ее любить так сильно и беззаветно, как я.

Дроздова подала мне руку и ушла. О ней я больше ничего не знаю.

Тяжело мне было пережить эту печальную историю, в которой я была совсем не виновата.

Мне пришлось увидеть несколько таких грустных историй. Вспоминаю одного знакомого студента, искавшего свидания со мной только ради того, чтобы говорить о любви к той молодой консерваторке, о которой я уже рассказывала, он любил ее горячо еще со школьной скамьи. Он был красив, умен, но она увлеклась другим и относилась к нему, как я к покойному Орловскому, он же к ней относился, как Дроздова к Орловскому.

Узнав, что его идеал уехал с богачом, он решил умереть и отдал свою жизнь на политическое убийство, хотя сам ненавидел политику и никогда ею не занимался.

Что это? Почему иногда достойные люди не могут найти себе взаимности и погибают? Как часто встречаются такие супружества: жена красавица, умная, любящая, а муж бегаёт за каждой юбкой и совершенно не ценит свое сокровище. С другой стороны: умный, любящий, дельный муж, не знающий другого желания, как баловать свою жену, находя в этом свое счастье, а та изменяет ему с каждым пошляком. Почему?

## **Компания братьев Павловых**

Посещал нас часто брат Киечки, красивый весельчак, студент-медик. Как-то он заявил:

– Ну, Дунечка, я приведу к тебе не жениха, а конфетку.

Мы занимали очень большую, но полутемную комнату на углу Гороховой и Загородного проспекта. Наши кровати стояли в задней части комнаты за выступом и шкафом. Передняя часть представляла очень хорошо меблированную столовую и кабинет. Квартира была покойная, так как жила в ней только старуха-хозяйка с пожилыми дочерьми-служашими, да мы.



Федор Михайлович и Евдокия Михайловна Прокоповичи

Страдала я в это время малярией. Во время припадка я всегда гуляла до полного утомления, а после ложилась спать, закутавшись своей шубой.

Вот один раз во время такого сна разбудил меня сильный хохот, за столом сидела большая компания, а Киечка угощала всех чаем. Поразил меня чей-то смех, совершенно детский, закатистый. Я подумала, что только чистая душа может так смеяться.

Это смеялся Иван Петрович Павлов.

Познакомиться с новыми людьми мне не захотелось. Все вскоре ушли.



Иван и Дмитрий Павловы. Конец 1870-х гг.

С тех пор постоянными нашими гостями стала компания братьев Павловых. Кроме них туда входили: Е. Е. Вагнер<sup>10</sup> – потом профессор химии в Варшаве, И. М. Чельцов<sup>11</sup> – впоследствии преподаватель химии в морском училище в Кронштадте, Иорданский – преподаватель физики там же, студент-медик Стольников<sup>12</sup>, доктора Холмовский<sup>13</sup>, Гончаров, Сапсович, ветеринар М., технолог Т. и Терский – земляк Павлова.

Всюду эта компания нас сопровождала в театр, в концерты, на танцевальные вечера в «Дешевку» («Дешевкой» у нас сокращенно называлось «Общество дешевых квартир», помещавшееся в Ротах, кажется, в Тарасовом переулке) и пр.

Каждый член компании имел свои особенности. И. П. Павлов говорил о возвышенных теориях человеческой жизни. Выходило умно, красиво, справедливо и невольно увлекало всех. Был он, однако, очень застенчив и любил наслаждаться речами своего брата химика Дмитрия Петровича, очень остроумного человека, который очаровывал своими шутками и прибаутками.

Будучи в Германии и не зная немецкого языка, он болтал в немецких компаниях так живо и весело, что его каждый раз с триумфом провожали домой.



### Егор Егорович Вагнер

Неистовый Егорка Вагнер решительно и твердо решал все жизненные вопросы и покорял своей твердой волей. Чельцов производил сильное впечатление своим увлечением философским учением Платона, Иорданский от высочайших мыслей до величайших подробностей все укладывал в цифры и этим очень заинтересовывал. Ветеринар М. увлекал страстным поклонением театром, и сам был даровитым артистом. Сапсович производил впечатление своей красотой, кротостью и нежностью. Гончаров менее среди них успевал, так как увлекался революционным направлением. Стольников все помалкивал, внимательно прислушивался к разговорам и, казалось, своим видом говорил:

– Ну-ка, ну-ка, каких еще глупостей я наслушаюсь здесь!

Т. был скромный, хорошо воспитанный мальчик, к сожалению сильно отдававшийся рюмке, так что требовал к себе внимательного и заботливого отношения.



Фрагмент фотографии Рязанского землячества в Санкт-Петербурге. 1870 г. Слева направо: И. М. Чельцов, неизвестный, И. П. Павлов, Н. Н. Быстров

Очень потешил нас однажды Чельцов, рассказав такое свое приключение. Увлечшись учением Толстого, он вступил в студенческую коммуну, хотя обидно ему было, что заработанные им деньги уходили на общую выпивку, но с этим, как и со многим, он мирился. Но, когда дело дошло до коммунального носового платка, он не мог этого переварить и вернулся в квартиру братьев Павловых, соглашаясь спать даже под диваном.

Он хорошо знал греческий язык и ознакомил нас с произведениями Платона, превознося красоту его слога. При нашем полном незнании греческого языка, приходилось верить ему на слово. Учение же Платона о государстве, построенное на добродетели, где решительно все было общее, и жены и дети! до того нас возмутило, что мы с Кичкой не захотели слушать продолжение этого учения. Мы обе сказали, что никогда не согласились бы иметь нескольких мужей и не знать своих детей.

\* \* \*

Примерно в это время я чуть было не рассталась с нашей милой компанией, получив печальное письмо от старшей сестры, она писала, что им приходится продавать свое небольшое имение. Особенно [это было] тяжело для ее мужа, так как в этом имении он родился, вырос и собирался умереть. Но трехлетние неурожайи окончательно его разорили.



Старшая сестра Серафимы Васильевны – Евгения Васильевна Сикорская

С этим письмом в кармане, как всегда, бросилась я к своему крестному:  
– Помогите выручить мне сестру и зятя из их печального положения.  
– Что же, самое большое, что я могу сделать для вас, это устроить вам место начальницы  
Гимназии во Владивостоке. Подъемных вы получите две тысячи с лишком.



### Николай Викентьевич Сикорский муж Евгении Васильевны

Вернувшись домой, я тотчас же написала [сестре, что собираюсь] ехать во Владивосток, а 2 тыс. выслать на устройство их дел. Я не умела ценить деньги и мне казалось, что это громадная сумма. Каково же было мое огорчение, когда зять ответил, что две тысячи для них капля в море, чтобы я не портила свою карьеру и продолжала спокойно учиться.

Все мои родные набросились с упреком на крестного, на что он возразил:

– Если бы я не был уверен, что она дорогой выйдет замуж, я бы никогда этого не устраивал.

Об этом родные написали мне, тотчас пришла я к крестному, весьма воинственно настроенная, и говорю:

– Как вам не стыдно! Разве я уж такой отброс, что для выхода замуж должна пускаться в авантюру?

Крестный сконфузился и заявил, что во Владивосток едут два его приятеля один лучше другого, и он желал бы, чтобы за одного из них я вышла замуж.

## У Елены Алексеевны

Увы, наше благополучие скоро кончилось! Наша хозяйка поехала к своей сестре да там и скончалась. Дочери ее не захотели держать квартиру и разъехались в разные стороны. Нам предстояло искать квартиру.



Сенная площадь

Вдруг, о радость! Однокурсница Киечки предложила нам комнату в квартире своей матери, где жила и сама. Мы немедленно переехали.

Хотя место было неказистое (Горсткин переулок около Сенной), но зато комната очаровательная: большая, светлая, чистая, хорошо меблированная. А главное – хозяйка была необыкновенно приятная и хорошая дама. Словом, попали мы необычайно удачно.



Лина Лоренц. На обороте фотографии надпись: «Лина Лоренц (жила с С.В. у Кропоткиной-Кравчены)». Публикуется впервые

Хозяйка наша, Елена Алексеевна, была родная сестра известного анархиста Кропоткина<sup>14</sup>. Она была умна, образована, остроумна, весела, отличная музыкантша, а самое главное, весьма и весьма добра. Мы прожили у нее до окончания моего курса как под крылом у родной матери. Теперь мы были всегда сыты, так как пользовались у нее широким кредитом.

Бывало, во время экзаменов она вставала в 2–3 часа ночи, приготавливала нам кофе, заставляла передохнуть от занятий, весело болтала с нами, а потом развлекала музыкой. Добрейшая

Елена Алексеевна очень полюбила меня за веселый нрав и болтливость и посвятила мне даже одно стихотворение. Много я вытерпела издевательств от своих сожительниц за это посвящение.

Хочу несколькими словами вспомнить дорогую Лину Лоренц, учившуюся на медицинских курсах и проживавшую также у Елены Алексеевны. Она весьма много занималась и не принимала участия в нашем веселом образе жизни. Зато она всегда была готова ко всяким дружеским услугам и очень заботливо относилась к моим финансовым трудностям. В критические моменты, во время перерывов в уроках, два раза она меня выручила, доставив, хотя небольшой, но весьма существенный заработок. Всегда вспоминаю ее услугу с великой благодарностью.

У милейшей Елены Алексеевны встречались мы с ее старым знакомым, известным адвокатом, который сделался нашим постоянным посетителем. Он только что вернулся из Италии и интересовал нас своими красивыми рассказами о путешествии. И в эту квартиру нашла дорогу компания братьев Павловых. Иван Петрович, еще не будучи знаком с нами, услышал обо мне от студента Стольников, большого своего приятеля. Когда Стольников сообщил ему о моих приключениях с Волгиным, Иван Петрович промолвил:

– Верно, богатая, важная девица, которая свысока относится к нам, разночинцам.

Стольников познакомился со мной и, порядочно поговорив, вынес обо мне совсем другое впечатление:

– Это провинциалка, пахнет голодом, и никому неизвестная. В Волгине возмутило ее отсутствие уважения к женщине. Мое впечатление – «птичка невеличка, а ноготок остер».

С такой рекомендацией я и познакомилась с Иваном Петровичем. Обратил же он на меня внимание по следующему поводу.

В Петербург приехал знаменитый итальянский артист Росси<sup>15</sup>. Он выступал в шекспировских пьесах. Мой крестный абонировался на два кресла второго ряда для себя и для своей жены. Он женился на своей старой привязанности – немолодой девушке. Но жене пришлось уехать к больной матери, и крестный предложил мне ее место в театре с тем условием, чтобы в день спектакля я приходила к нему обедать и заранее рассказывала содержание предстоящей пьесы. Таким образом, он все понимал бы, хотя Росси говорил все по-итальянски.

Восторгу моему не было предела! Я видела героев Шекспира, знакомых мне с детства, в самом художественном исполнении.

Может быть, мои рассказы, полные энтузиазма, и обратили на меня внимание Ивана Петровича, который сам был большим почитателем Шекспира, и почитание это сохранил до конца своих дней.

Постепенно мы ближе познакомились друг с другом. Много говорили о вопросах, волновавших молодежь нашего времени. Его спокойное и трезвое отношение невольно меня обижало и не нравилось. Но так как это были исключительные речи среди нашей молодежи, то я невольно останавливала на нем внимание.

Все реже и реже стала посещать я кружки, где продолжали толочь воду в ступе. И в кружках стали ко мне относиться холодно, так как я выбрала дорогу не революционную, а эволюционную, то-есть, по словам Менделеева, заявила себя «постепеновкой».

Соединяло меня также с Иваном Петровичем наше общее отвращение к алкоголю. Ему очень нравилось, что когда я выигрывала всевозможные пари, то проигравшие должны были мне уплачивать воздержанием от выпивки.

Начала я интересоваться его жизнью, его биографией. Много постепенно он мне рассказывал. Самые же ранние свои впечатления он записал. Вот эта запись.

## Воспоминания Ивана Петровича <sup>16</sup>

*Когда я что-нибудь из моей жизни рассказывал, то частенько слышалось: «Как было бы хорошо, если бы вы это когда-нибудь в свободную минуту записали». Теперь это свободное время оказалось. Не попробовать ли в самом деле? К тому же мы переживаем такое особенное состояние: может быть, пересмотр прошлого чему-нибудь научит, что-нибудь подскажет, а главное, может быть, подаст какую-нибудь надежду. Буду сначала писать просто, что только вспомнится, что только уцелело в памяти, начиная с самого раннего детства.*

*По рассказам знаю, что я родился в доме бабушки по матери. Но странное дело – я как будто помню мой первый визит в тот дом, где прошло затем все мое детство до юношества включительно. Странность заключается в том, что этот визит сделал я на руках у няни, то есть был, вероятно, годовалым или около того, ребенком. А может быть, я и ошибаюсь, определяя так мой тогдашний возраст. Отец, живший ранее у тестя, купил себе старенький дом и его перед нашим переездом в него отремонтировали. В нем чинили, между прочим, и пол. Может быть, из предосторожности меня и более старшего няня взяла на руки. Но что я был на руках, я помню очень живо, как и чинившийся пол. За то, что я начал себя помнить очень рано, говорит и другой факт. Когда мимо этого дома проносили на кладбище одного из моих дядей по матери, меня опять на руках вынесли проститься с ним, и это воспоминание у меня тоже остается очень живым.*

*Затем расскажу, что знаю частью по сведениям от других, частью о тех элементах, из которых, скажем так, должно было сложиться мое существо.*



Варвара Ивановна Павлова (в девичестве Успенская) – мать И. П. Павлова. 1889 г.

*Отец моей матери, Варвары Ивановны, был священником в городе Рязани при церкви Николы Долгошей (по форме церкви). Он умер, не знаю отчего и сколько лет, вероятно, однако, в значительно пожилом возрасте. На его место, женившись на моей матери, как это было в обычае духовенства того времени, и поступил мой отец.*

*Об этом моем деду я слышал, что он был какой-то странный. Что подразумевалось под этой характеристикой, определенно сказать не могу. Помнилось при этом, что он за всю*

свою жизнь не получил самой маленькой награды (набедренник<sup>2</sup>, скуфья<sup>3</sup> и т. д.). Значит, надо понимать, – не ладил с начальством. А кроме того, был крут и тяжел в семье. Указывалось в связи с этим на то, что он одну свою дочь, мою мать, оставил даже безграмотной, что не мешало, однако, быть ей умной женщиной. Очень жалею, что ничего не знаю ближе и о физическом здоровье этого моего деда. Вообще семья его была с каким-то физическим изъяном. Бабушку помню как седую старушку, лежащую в постели с постоянным кашлем. Она скоро умерла.

Семья деда состояла в мое время из двух сыновей и двух дочерей. Оба эти мои дяди по науке почему-то далеко не пошли. Вероятно, не переехали, как говорится, даже в семинарию, так как один был мелким канцелярским чиновником, а другой пономарем в соборе (имел хороший голос). Оба холостыми умерли рано, от легочной болезни (туберкулез легких, надо думать). Были, по рассказам, очень худыми, истощенными. Обе дочери – Марья и Варвара (моя мать) были вообще здоровы, но умерли от рака после шестидесяти лет.

О тетке Марье Ивановне я должен вспомнить здесь особенно тепло. Она была замужем за дворянином и имела от него двух дочерей – Надежду и Анну. Сколько я себя помню, она жила одна в отцовском доме, оставленная мужем. Как это произошло, я или ни от кого ничего об этом не слышал, или же позабыл. Средства ее были очень скудны; вероятно, только небольшая плата от постояльцев в оставленном

---

<sup>2</sup> *Набедренник* — часть церковного облачения священника в виде парчового прямоугольника, носимого сбоку ниже пояса.

<sup>3</sup> *Скуфья* — остроконечная бархатная черная или фиолетовая мягкая шапочка у православного священника (*прим. сост.*).



Петр Дмитриевич Павлов – отец И. П. Павлова. 1893 г.

*Родословная Ивана Петровича Павлова ей после смерти братьев старом разваливающимся доме. Конечно, никакой прислуги. Пришлось делать все самой. У нее была корова, и я видел часто, как она целыми днями пасла ее на окраине города. Она имела, вероятно, некоторое образование. Где она его получила – не знаю.*

*Это был редкий положительный тип. Жалоб на судьбу мне не приходилось никогда слышать от нее. Всегда спокойная, но и всегда с достоинством, готовая постоянно помогать*

другим. Заболел ли кто у нас в семье, она тут как тут, применяет разные домашние средства и сидит около больного, развлекая его рассказами. Случится ли горе какое – она первая утешительница. Произойдет семейная сцена – она уговаривает и примиряет. Последнее меня и сейчас особенно трогает. Уже в поздние годы, когда у нас с отцом часто выходили горячие споры, доходившие с моей стороны до резкости и кончавшиеся порядочными размолвками, тетка ходит от одного к другому, объясняет, извиняет, до тех пор, пока не достигнет восстановления порванных отношений.

*Пусть эти немногие строки будут благодарной отплатой за ее добрые старания.*

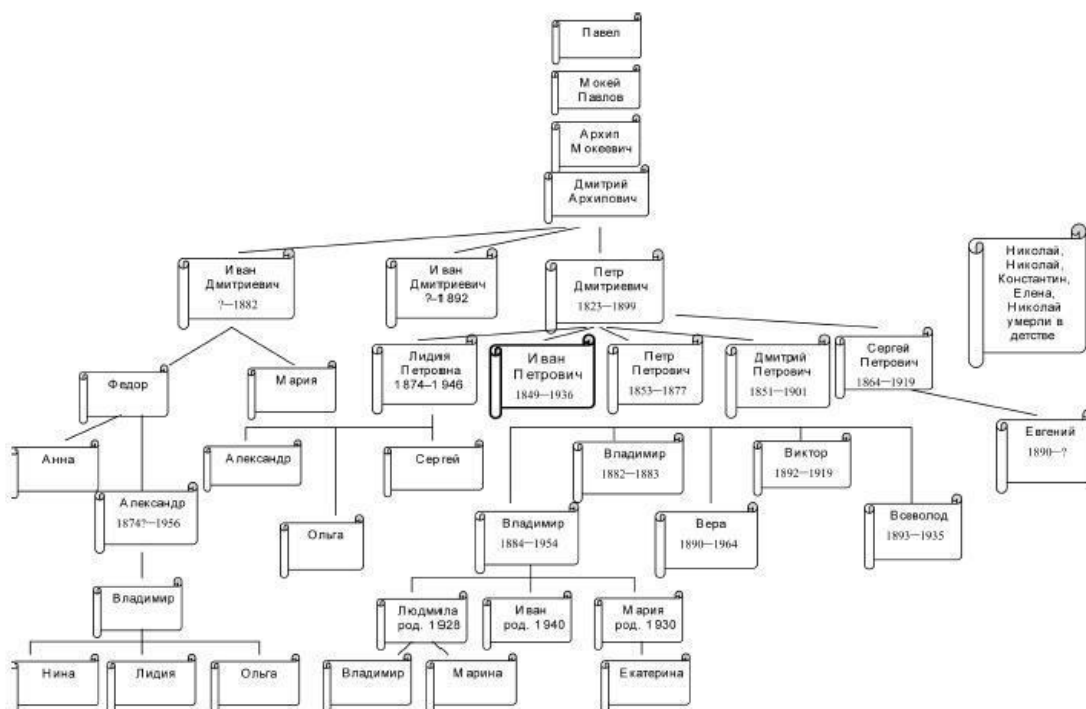
Семья отца, наоборот, была крепкая, богатая, железного здоровья. Этот мой дед был деревенский пономарь, как и ряд его предков, тоже все низшие члены церковного причта, т. е. все дьячки да пономари: Дмитрий (дед), Архип, Макей, Павел, откуда и произошла наша немудреная фамилия. Мой отец хорошо помнил свою генеалогию и передал ее мне.

По рассказам, этот мой дед был очень умный и дельный человек. Это можно видеть и в том факте, что он провел трех своих сыновей через семинарию. Кажется, их трое только и было: Иван, Иван и Петр (мой отец).

Старший был настоящий богатырь. Про него мой отец рассказывал, что в кулачных боях рязанских молодцов против окрестных крестьян он был главарем бойцов с городской стороны. Хорошим здоровьем владел и остальные братья – другой дядя Иван и мой отец.

Но нормальная жизнь моих дядей довольно скоро оборвалась, благодаря их беспорядочности. Оба сделали сельскими священниками по окончании семинарии, но скоро подверглись духовным карам (монашество, расстрижение и т. п.) за пристрастие к алкоголю. Старший, проделавший этот стаж, скоро заболел и умер от легочной болезни, вероятно, последствия кулачных боев. Более подробных сведений о жизни этого дяди у меня не имеется. Второй дядя долго жил и оставил о себе во мне яркую память. Он начал свою самостоятельную жизнь в качестве священника благоприятно. Как говорят, был любим причтом, устроил отличное хозяйство и народил много детей. Но все более и более проявляющаяся хаотичность в нем все опрокинула, он тоже прошел через вышеуказанный стаж, превращен был в пономаря и, наконец, был выброшен совсем из духовного звания. Алкоголь, конечно, играл в этом роль, но едва ли все только им и определялось.

Это был глубочайший комик, к нему жизнь была обращена исключительно смешной стороной. Для его смеха, поистине дьявольского, не было исключения, он смеялся, потешался над несчастьями собственной семьи, над смертью, над богом, и это бывший священник 30–40-х годов XIX столетия!?



Родословная Ивана Петровича Павлова

*Разбросавши семью, он жил иногда неделями и месяцами в нашей семье, как бы под надзором моего отца, тогда, до поры до времени, воздерживался от выпивки и мирно занимался по дому, например, перекрытием крыши или в саду. Никогда ни малейшего сожаления о всем происшедшем с ним и бесконечные рассказы, сопровождавшиеся хихиканьем об его шутовских проделках. Приведу несколько примеров.*

*Он – пономарь, идет на колокольню звонить к середине обедни. В церкви покойник. Он видит на паперти крышку от гроба и сейчас же потешная мысль – спрятать эту крышку, что и приводится в исполнение. Другой пример: в темную ночь в деревне к длинной до земли веревке от колокола на колокольне он привязывает теленка. Происходит тревога – не пожар ли или что другое ужасное, страшное, но в темноте никто не может разобрать, в чем дело, а он наслаждается. И многое, многое в этом же роде.*

*Это предлагалось нам, детям, потому что взрослые, конечно, относились ко всему отрицательно. Прodelки, конечно, часто, особенно в более поздние годы, не обходились даром. Из-за них он подвергался сильным побоям, а в пьяном виде ему приходилось и мерзнуть, и мокнуть на холоде. И все же испытания его организм переносил без следа. Только после 70 лет он начал прихварывать и умер около 75 лет.*

*Из детских годов помнится немного. Читал учился у соседки-горбуны, занимавшейся обучением детей грамоте...*

## Детство Ивана Петровича

Эти воспоминания я могу дополнить тем, что узнала постепенно от него самого.

14 сентября старого стиля 1849 года у молодого священника очень бедного прихода города Рязани родился сын, названный Иваном, в честь дедушки со стороны матери. Личные воспоминания Ивана Петровича говорят нам о том, что первые впечатления внешнего мира он воспринял очень рано, на втором году жизни. Затем никаких воспоминаний из раннего детства у него не сохранилось. (Думаю, что это вполне правильно. В еще мало сознательной умствен-

ной деятельности сохранились особенно резкие впечатления, освещенные солнечным лучом, так было в моем собственном детстве: два ярких происшествия врезались в детскую память, а затем на долгое время сознание точно заснуло до полного проявления умственной жизни). Дальше он помнит себя к 6–7 годам.

Он был здоровый веселый мальчик, проводил время в играх с младшими братьями. Охотно помогал матери, мыл чайную посуду, умывал меньших братишек, а отцу помогал в его садовых работах. Почти 8 лет он научился читать и писать, но не обнаружил склонности к этим занятиям. 8-ми лет Ваня упал с высокого помоста, на котором он раскладывал на зиму яблоки. Упал он на каменный пол. Ушиб оказался с очень серьезными последствиями. Мальчик стал худеть, бледнеть, плохо спал и совсем потерял аппетит. Что собственно повредил он при падении, осталось никому неизвестным, так как доктору его не показывали, а лечили домашними средствами: парили в бане, растирали муравьиным спиртом, поили кирпичным чаем. Но мальчик не поправлялся и до того ослабел, что братья прозвали его лутошкой<sup>4</sup>, к счастью, приехал к ним в гости его крестный – игумен подгородского Троицкого монастыря. Увидя своего крестника в таком жалком состоянии, он взял его гостить к себе в монастырь, где и продержал его год с лишком.



Дом в Рязани, где родился И. П. Павлов теперь Мемориальный музей-усадьба

Умный старик прежде всего стал усиленно питать крестника яйцами, молоком, курами, а перед обедом давал ему слабого вина. По утрам занимался с ним гимнастикой. Летом заставлял его плавать и ездить верхом, и играть в городки, а зимой разгребать снег и кататься на коньках. Кроме того, мальчик всегда помогал ему в его работах в большом монастырском саду и огороде, причем выполнял все так же внимательно и аккуратно, как его руководитель.

---

<sup>4</sup> *Лутошка* — липка, с которой снята кора, содрано лыко, она сохнет и вся чернеет (из словаря В. Даля).



Семья Павловых. Сидят слева направо: Иван Петрович Павлов с младшим братом Колей, отец Петр Дмитриевич, мать Варвара Ивановна. Стоят слева направо: Петр Петрович, Дмитриий Петрович, Сергей 1870-е гг

Велико было нравственное влияние этого старика на детскую душу. Мальчик видал, что крестный жил на хлебе и воде и позволял себе побаловаться чайком с медом только во время недомогания. Подобную же нетребовательность лично для себя крестник сохранил до конца жизни.

Просыпаясь ночью, мальчик видел старика или молящимся, или сидящим за письменной работой. И долгое время уверял он своих родителей, что крестный никогда не спит. Отсюда пошла привычка Ивана Петровича отдавать все свое время научной работе.

Не слышал мальчик в монастыре ни грубого слова, ни окрика, его любимый крестный был ласковый и внимательный ко всем. Если же приходилось делать кому-либо из монахов внушение, то проводилось это мягко, но внушительно. Старик был очень снисходителен, но в отношении правдивости бесконечно строг со всеми вообще, а с крестником особенно: мальчик должен был не только говорить правду, но даже думать и чувствовать правдиво.

От мальчика не требовалось ежедневного посещения церкви. Он ходил и оставался там сколько хотел. Образованный старик своими рассказами и чтением с любознательным ребенком пробудил в нем любовь к книге и умственным занятиям.

Первой книгой, которую Ваня получил в подарок, были басни Крылова, почти всю книгу знал он на память и любовь к Крылову сохранил до конца жизни. (Басни Крылова всегда

лежали на его письменном столе. Иногда, прерывая свои научные занятия, он читал одну из басен и говорил мне:

– Послушай, как кратко, ясно, но притом сильно выражается этот старик!)

Начав читать, Ваня надоедал всем рассказами о прочитанном. Вот однажды, когда у крестного была спешная работа, мальчик особенно надоедал ему своими разговорами о «Квартетте», крестный дал ему тетрадь и карандаш и сказал:

– Ты расскажи все этой тетрадке. Теперь я занят, а завтра прочту все, что ты напишешь.

С этих пор Ваня полюбил письменно выражать свои мысли.

Тут видишь перед собой практическую школу, в которой главными житейскими науками были: умение отдавать всего себя делу, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Этими правилами и пользовался Иван Петрович всю свою жизнь.

Обращая усиленное внимание на физическое развитие своего питомца, крестный заметил, что мальчик бросал палки при игре в городки всегда левой рукой, и часто заменял правую руку левой при разных мелких работах. Это придало ему мысль развить такую природную способность в мальчике, и он стал заставлять его упражнять левую руку наравне с правой. Результатом упражнений явилась способность Ивана Петровича оперировать левой рукой, (что было весьма удобно при сложных операциях), но и писать равно правильно и красиво обеими руками.

По возвращении Вани домой, крестный не оставлял его своими заботами, он поставил в саду гимнастику для крестника и убедил его отца строго следить за ежедневными упражнениями ребенка. Сам выписал для всех детей книги, продолжая читать сочинения своего любимца, часто беседовал с ним. Тут надо отметить еще один совет отца, который Иван Петрович не забывал до конца своей жизни – читать хорошую книгу два раза.

Благодаря таким высоким влияниям, мальчик мало научился погружаться в чисто житейские интересы семьи и в постоянные денежные заботы. Он вышел человеком не от мира сего. Настоящим бессеребренником. Таким он оставался до самой смерти. Тяжко пережил он кончину своего крестного.

11 лет Ваня поступил в Рязанское духовное училище, а затем в духовную семинарию. В это время он был в компании своих одноклассников, так как отец его брал к себе пансионерами детей деревенских священников, которые учились вместе с Иваном Петровичем. В этом общежитии с одноклассниками образовалась крепкая дружба, продолжавшаяся всю жизнь.

Иван Петрович был одним из лучших учеников. Выдвинулся он благодаря своей начитанности, хорошему изложению мысли, критическому отношению к прочитанному.



И. П. Павлов – семинарист

В прошлое время не требовалось одинаковых успехов по всем предметам школы. Несмотря на то, что Иван Петрович был слаб в математике, а два его приятеля плохо писали

сочинение, но отлично шли по математике, все они считались лучшими учениками. Это и подтвердилось успехами в дальнейшей их жизни.

Громадное влияние на умственное развитие Ивана Петровича оказал Писарев своими пламенными статьями. Молодежь простаивала целыми часами на улице, под дождем, под снегом, чтобы получить вновь поступивший журнал.

Еще одно благоприятное влияние во время учения в Семинарии оказал на Ивана Петровича священник Феофилакт Антонович Орлов<sup>17</sup>, преподаватель древних языков. Это был человек высокого склада, приходя в гости, он никогда ничего не ел и не пил, говоря: «Я пришел к вам не за пищей телесной, а за пищей духовной» (этому я была личной свидетельницей уже в замужней жизни).

## Университетская жизнь Ивана Петровича

Когда было разрешено семинаристам поступать в университет, Иван Петрович с двумя братьями и с товарищами оставили семинарию и переехали в Петербургский университет<sup>18</sup>. После короткого пребывания на юридическом факультете они перешли на естественный факультет.



С.-Петербург.  
Университетская набережная.

St-Petersbourg.  
Quai de l'Université.

### Университетская набережная

Это, однако, оказалось не для всех подходящим делом. Один из товарищей, очень умный, прилежный и способный человек, никак не мог освоиться с новыми предметами обучения. Он впал в такое сильное нервное расстройство, что товарищи испугались за его умственное состояние и отправили его немедленно домой. После летнего отдыха его уговорили поступить вновь на юридический факультет, где он блестяще и закончил свое образование.



Санкт-Петербургский университет

Благодаря своим способностям и трудолюбию, все три брата Павловых на первом курсе получали стипендию и не обременяли расходами родителей, имеющих большую семью.

Иван Петрович стал специально заниматься физиологией под руководством высокоталантливого профессора Циона. Дмитрий Петрович<sup>19</sup> вначале работал у знаменитого Бутлерова, а затем перешел к еще более знаменитому Менделееву.

Младший же брат Петр Петрович<sup>20</sup> работал у выдающегося зоолога Богданова<sup>21</sup>. Как видно, с первых же годов университетского образования три брата Павловых проявили высокие умственные способности, которые и были оценены по достоинству.

Пребывание Ивана Петровича в университете затянулось на год для окончания его работы о нервах, заведующих деятельностью поджелудочной железы. Он кончил университет в 1875 г.



Илья Фаддеевич Цион, профессор Санкт-Петербургского университета

В это время профессор Сеченов из Военно-медицинской академии переехал в Одессу. На его место был назначен профессор Цион, который пригласил Ивана Петровича быть у него ассистентом, так как знал его работы по университету. Согласившись принять место ассистента у Циона, Иван Петрович поступил одновременно на третий курс Военно-медицинской академии. Однако работать в академии ассистентом Ивану Петровичу не пришлось. В связи с приходом Циона начались волнения среди студентов академии. Об этих волнениях рассказывал нам Дмитрий Петрович.

Профессор Цион был человек весьма талантливый и серьезно относился к своим обязанностям. Слава о нем, как о строгом экзаменаторе, взволновала студентов, и на первый его экзамен собрался весь курс целиком. Начался экзамен.

Пяти студентам Цион поставил неудовлетворительно. Тогда взволнованный курс наскоро выбрал депутата к профессору, подошел депутат и сказал:

– Вы, господин профессор, видно не знаете наших порядков. У нас есть или хорошо знающий, или знающий посредственно, а совершенно не знающих у нас нет.

Все это было сказано внушительно под громкие одобрения всей массы студентов. Цион встал, изящно поклонился и поблагодарил за разъяснение настоящего положения дел. Все, кто экзаменовался, получили удовлетворительно. Студенты ликовали, а особенно депутат, они считали, что занозистый профессор укрошен.

На следующий день пришла экзаменоваться только группа в сорок человек, и, увы, все сорок были срезаны профессором. Студенты торжествовали свою вчерашнюю победу, играя в соседнем трактире на биллиарде, вдруг ввалились туда все сорок срезавшихся студентов и стали упрекать за отсутствие поддержки. На курсе вновь поднялись беспорядки. Непривыкший к подобным неприятностям, Цион уехал в Париж.

Иван Петрович никогда не говорил об этом инциденте. Он считал выступление студентов несправедливым и был очень доволен, что я высказывалась за Циона и осуждала невежд, желающих получить докторский диплом за игру на биллиарде.

Вместо Циона на кафедре физиологии в Военно-медицинскую академию был назначен, только что вернувшийся из-за границы, профессор Тарханов – молодой ученый, мягкий человек. Он предложил Ивану Петровичу остаться у него ассистентом, тот отказался, возмущенный несправедливым поступком с Ционом; отказался, несмотря на то, что остался без всякого заработка. Дело, однако, вскоре поправилось, профессор Ветеринарного института Устимович пригласил Ивана Петровича к себе ассистентом. Здесь без всякого руководства Иван Петрович сделал несколько самостоятельных и ценных работ, [которые профессор] только портил своим вмешательством. Из своего ассистентского жалования Иван Петрович сделал скромные сбережения. Из них он заранее отложил часть на уроки немецкого языка, а на остальные деньги летом 1877 г. во время каникул поехал за границу в Бреславль поработать в лаборатории Гайденгайна<sup>22</sup>.



Рудольф Гейденгайн

Приехал он в Бреславль. С первых же шагов начались приключения. Иван Петрович приехал на один вокзал, а багаж, сам не сознавая этого, отправил на другой. Вот бегает он по платформе, волнуется, показывает всем свою багажную квитанцию, спрашивает, объясняет, но никто не может его понять. Он в полном отчаянии и уже подумывает, не ехать ли назад. Вдруг к нему подходит носильщик Станислав Долинский, берет у него квитанцию, хлопает его по плечу и дружески говорит:

– Карашо делаю.

Иван Петрович продолжает волноваться и говорит о том, что приехал к профессору Гейденгайну. Тогда носильщик повторяет еще раз:

– Карашо, и ведет Ивана Петровича на квартиру Гайденгайна, затем он успокаивающе продолжает

– Через час вещи тут, – и уходит.

Остался Иван Петрович в незнакомой квартире среди людей, его непонимающих, и в довершении без квитанции на багаж. Набрался он порядочно страху, пока не вернулся носильщик с вещами. Обрадованный Иван Петрович на радостях отправился с ним в пивную, где хорошо угостил его.

На другой день Иван Петрович пошел в лабораторию. Здесь вызвало дружный смех одно его появление. Дело в том, что он был одет в летнюю бумажную пару ярко-желтого цвета. Иван Петрович был любителем только ярких цветов. Обычно все вещи покупал для него брат, но на этот раз брат был в отсутствии. Пришлось покупать одежду самостоятельно. Он и выбрал ее согласно своему вкусу. (При нашем вторичном приезде в Бреславль, спустя семь лет, вся лаборатория вспоминала об этом необычайном наряде, и сам профессор сказал: «Опять прилетела к нам русская канарейка»).

Иван Петрович очень сожалел, что не мог найти носильщика, выручившего его в первый раз.

Сам Иван Петрович не любил вспоминать об успехе своего туалета, тем более что эта пара оказалась весьма и весьма непрактичной. Она быстро мялась и пачкалась, а после стирки потеряла свой яркий цвет, так радовавший хозяина.

Хотя первое время Ивана Петровича не жаловали, но вскоре как сам профессор, так и остальные сотрудники привыкли к его своеобразной речи и не могли не оценить его обширные научные познания. Во вторичный свой приезд Иван Петрович был встречен в лаборатории любезно и дружески.



Карл Людвиг. 1874 г.

На фотографии дарственная надпись на немецком языке: «1874-снято. Уважаемому другу Павлову на память. Людвиг.»

Ассистентом у профессора Устимовича Иван Петрович пробыл до окончания Военно-медицинской академии. И здесь он опоздал опять на год, окончив в 1879 г., вместо 1878 г.

При окончании, в числе избранных врачей, Иван Петрович был отправлен на два года для усовершенствования при академии. По окончании этих двух лет за свое сочинение об иннервации сердца он получил золотую медаль и был командирован на два года за границу, где работал вновь в Бреславле у Гайденгайна и в Лейпциге у Людвига<sup>23</sup>.

Собственно, я могу лишь весьма мало рассказать об университетской жизни Ивана Петровича, так как сам он терпеть не мог говорить о себе, и то немногое, что мне известно, я почерпнула от его приятелей. Во все время нашего знакомства никогда и никто не говорил нам о научных заслугах Ивана Петровича. Ни я, ни Кия ничего не знали ни о том, что он за свои работы получил золотые медали в университете и в академии, ни об его оставлении при академии, ни о возможности получить заграничную командировку. Иван Петрович не хотел иметь в наших глазах преимущество перед своими приятелями. Сам он сообщил мне все это, только будучи моим женихом.

Приятели у Ивана Петровича было человек шесть-семь. Они иногда делились между собой книгами и обсуждали все прочитанное и происходящее в жизни. Из них Иван Петрович был самый начитанный, но и самый горячий спорщик, причем был очень находчив, что называется, не лазил за словом в карман. Обладая блестящей памятью, он мог цитировать на память целые страницы из статей Писарева, из любимых его книг «Физиология обыденной жизни» и из «Самодетельности».

Его приятели всегда поражались, что он не знал устали ни от каких умственных занятий. У него была необычайно широкая фантазия, увлекавшая его на построение новых теорий и взглядов на разные научные вопросы. Но ничто не мешало ему через некоторое время каяться перед приятелями в случае несостоятельности этих теорий или выводов. За подобную чисто-сердечную самокритику и за публичное покаяние все его очень любили и ценили.

С братом своим, который был годом моложе его, он жил чрезвычайно дружно. Эта дружба продолжалась до самой кончины брата. Дмитрий Петрович – ассистент Менделеева, а впоследствии профессор химии Сельскохозяйственного института в Александрии – был человеком более спокойным и уравновешенным. Спорить он не любил, но высоко ставил и ценил ум старшего брата и наслаждался научными беседами с ним. Взамен этого, Иван Петрович всегда наслаждался веселым остроумием Дмитрия. Оба они горько сожалели о преждевременной утрате третьего брата – талантливого зоолога. Нужно сказать, что целое поколение в их семье вымерло. Уцелели только двое последних – брат и сестра. Первый был моложе Ивана Петровича на 15 лет, а вторая на 25 лет.



Дмитрий Петрович Павлов

Из университетской жизни Ивана Петровича нельзя не рассказать о следующем «эксперименте». Решил он на самом себе проверить и испытать явления «опьянения». Купил – не помню хорошо – бутылку или полбутылки рома, сел у себя в комнате перед зеркалом, с одной стороны положил тетрадь и карандаш, а с другой поставил бутылку рома и стакан. Очень уж его интересовало, какие такие ощущения привлекают людей к выпивке.

Начал он пить, следя за выражением своего лица в зеркале и в то же время прислушиваясь к ощущениям, чтобы ничего не пропустить и все занести в тетрадь. Но удалось записать ему только о том, что глаза у него посоловели. Затем больше он ничего не помнил, записей никаких не сделал, а очнулся уже, лежа на полу. Голова трещала, во рту был пренеприятнейший вкус, и испытывал он такое тяжелое, угнетенное состояние, которого в жизни до этого никогда не испытывал и которое впоследствии никогда не повторялось. Вот тебе и радости пьянства! Стоит ли из-за таких неприятных ощущений портить свое здоровье и терять драгоценное время жизни?

После этого «опыта» Иван Петрович ни разу в жизни не был пьян, да и вообще никогда не употреблял алкоголя. Вот с каких лет пробудился и обнаружился в нем экспериментатор, желавший все понять, все уяснить себе только убедительным и вполне отчетливым опытом.

## Более близкое знакомство

Особенно близко сошлась я с компанией братьев Павловых весной. Все обитатели нашей квартиры разъехались, а мне пришлось остаться одной ради моей больной сестры, лежавшей в акушерской клинике на Надеждинской улице. Муж ее привез, устроил в клинике и уехал немедленно по делам своей службы, предоставив мне посещать сестру до поправления ее здоровья настолько, чтобы она могла переехать на дачу к его родным.

С концом учебного года кончились и мои уроки. Денег оставалось только на дорогу, и пришлось менять комнату (я снимала ее в Стремянной) и прожить в Петербурге еще почти три недели. Надо было носить гостинцы больной сестре, питаться самой, да еще ежедневно угощать завтраками компанию Павловых, которые придумали провожать всех своих знакомых на Николаевском вокзале, а оттуда заходить ко мне пить кофе и болтать до того времени, когда мне надо было идти в больницу. Понятно, финансы мои трещали.

В это же время одна моя однокурсница затащила навестить ее сестру, лежащую в родильном отделении той же больницы на Надеждинской улице, и со слезами сказала:

– Мы с сестрой поклонницы Флоровского и увлекаемся его учением «плодить жизнь». Теперь у нас нет и рубля, а надо заботиться о малютке.

Я отдала ей последние 25 рублей, сама же занялась торговлей с татаринком. Он вполне опустошил мой чемодан, после чего там, по его словам, остался один мусор.

Волей-неволей пришлось обратиться за ссудой в нашу курсовую кассу взаимопомощи. К счастью, я смогла уплатить этот долг, получив от матери по приезде домой, сто рублей в подарок.

О чем только не переговарили мы за этими веселыми завтраками! Иван Петрович жаловался на потерю молодости, находя эту потерю в отсутствии умственного и нравственного возбуждения к явлениям ежедневной жизни. На это я возражала:

– В прошлом году моя жизнь текла среди напрасной умственной работы. Не могу не сознаться, что в этом году моя педагогика сильно пострадала. Все свои пробелы я записала и нарочно еду в деревню, к сестре. Там, не имея никаких развлечений, в спокойной тихой жизни я сумею наверстать свои недочеты. Но зато вы сами видели, так как принимали в этом участие, как весело прошла зима нашей дружеской компании: выступали на сцене, посещали театры и концерты, танцевальные вечера в «Дешевке», катались на санках с гор. Сколько было споров об игре наших любимых артистов! Всем нам было весело. Не знаю, как вы, а я чувствовала, что-то говорило мне: «Молодость бывает раз в жизни, и надо ею пользоваться».



Санкт-Петербургский университет. Актный зал

На что Вагнер вскричал:

– Вот справедливое мнение, которое Иван Петрович должен усвоить! Знаете, жените его!

– Охотно, – отвечала я, – моя Кичка такое сокровище, которого больше нигде не встретишь.

– К сожалению, она абонирована Дмитрием Петровичем.

– Ну, а другой подобной я не знаю и отказываюсь искать, пусть сам влюбится. Я решительно не понимаю, почему Ивана Петровича смущают невыполнимые планы, составленные заранее? У меня таких планов была бездна. Я их постоянно совершенствую, радуюсь, что выполнение их делается все труднее и труднее, и нахожу удовлетворение не в достижении достижимого идеала, а в одном стремлении к этому достижению.

Все дружно одобрили мое отношение к жизни, которое Чельцов охарактеризовал настоящей жизнерадостностью.

Подобные беседы повторялись у нас и при каждой встрече с Иваном Петровичем.

Братья Павловы заботились о нашем развитии. Благодаря им мы видели и слышали интересных ученых.

В 1879 году был в Университете съезд естествоиспытателей<sup>24</sup>. Билеты на этот съезд достали нам братья Павловы, и мы вместе с ними ходили на заседания.

Помню блестящий доклад знаменитого профессора Богданова. Он говорил, какие громадные услуги оказывала собака первобытному человеку, и какую пользу она приносила и продолжает приносить человеку теперь. Все было изложено просто, ясно, но внушительно. Закончил он свой доклад следующими словами:

– Итак, господа, вы видите, что собака вывела человека в люди.

Этот конец сопровождался бурей аплодисментов.

Интересно было сообщение академика Кесслера<sup>25</sup>. Он рассказывал о наблюдениях одного путешественника над птицами, живущими исключительно альтруистически.

– К счастью, этот пример альтруизма опровергает чисто эгоистические нравы современности, – сказал Кесслер. Это опять вызвало гром аплодисментов.

По поводу этих докладов много, много говорили мы в своей компании.

\* \* \*

Помню, как ходили мы со своей компанией братьев Павловых на лекцию Менделеева, которая была в Академии наук. После лекции собрались кататься в лодке. Сели у Тучкова моста, гребли сами пассажиры, а лодочник только правил лодкой и оберегал ее, когда мы выходили гулять на берег.

Я была в восторге от лекции Менделеева и все время говорила о нашем Дмитрие Ивановиче, как он умно, толково и красиво говорит. Я не слыхала потом в своей жизни подобного лектора.



Федор Добужинский – муж Таисии (Аси), сестры Серафимы Васильевны, дядя известного художника М. В. Добужинского

Рассказывали о его любви к Анне Ивановне – красивой молодой стройной девушке, ученице Академии художеств. Рассказывали, как он полз по длинному светлому коридору, в конце

которого она жила, как он умолял, чтобы она согласилась на хлопоты о разводе, действительно, он получил развод быстро и без всяких хлопот для Анны Ивановны. Тут наши гребцы запели:

*Доставались кудри  
Ивана Петровича  
Милой Сарочке чесать*

А Дмитрий Петрович —

*Милой Дунечке чесать*

Тогда Егор Егорович поднял свое весло и крикнул:

– Если будете мешать правильному пению, то веслом тресну певца по голове со всего размаха, и сам черт его потом не узнает.

Пошло, наконец, правильное пение. Но наш лодочник заявил:

– Ваша Сарочка что-то очень разговориста: только и слышишь – наш Дмитрий Иванович, наш Дмитрий Иванович. А вчера ездила со мной и со своим другом Феденькой по Фонтанке. Садилась они у Цепного моста. Ой, сколько плакала Сарочка со своим Феденькой.

Все расхохотались:

– Этого Феденьку провожала вчера вся наша компания. Он привез больную жену, сестру Сары Васильевны, устроил ее в больницу, а сам по службе был отправлен на юг. Сара Васильевна должна была остаться при больной, чтобы навещать ее и утешать. Вот для утешения Сарочку и водили на лекцию Дмитрия Ивановича.

– А прежде всего, лодочник, – сказала я, – снимай шапку и мы вместе перекрестимся и поблагодарим бога за то, что Дмитрий Иванович прославил нашу Родину.

\* \* \*

Когда сестра моя выписалась из клиники, то вся дружеская компания побывала в Петергофе, где жила теперь сестра у отца своего мужа, важного генерала. Один из компании, Н. С. Терский<sup>26</sup>, решил зайти со мной к этому генералу, жившему в роскошной даче. Дочь генерала с завистью глядела, как после прощания с сестрой окружила меня наша веселая компания. Встретив нас на прогулке в парке, дочка не удержалась, чтобы не сказать мне: «Как вам весело!»



Серафима Карчевская. 1879 г.

Через день я уехала домой. Провожали меня все друзья. Причем Иван Петрович просил разрешения писать мне, не требуя ответов, а полагаясь на мою известную всем доброту. Вот его письма.

### **Письма Ивана Петровича<sup>27</sup>**

*1879 г. VI-26. № 1*

**«Попался»**

**Еженедельное издание случайного происхождения, неопределенного направления с трудно предвиденной будущностью**

**Объяснение редакции с единственной читательницей**

Берясь за перо (вы знаете какое, моя Единственная читательница), Редакция «Попался», то чешет себя за ухом, то посвистывает на хорошо известном вам инструменте (перед своим отъездом я подарила всем своим друзьям вставочки со свистком). Короче, всячески обнаруживаешь недоумение. Шутовщина или дело; враль или правда; фразы или серьезное слово – вот вопрос, который гнетет начинающую редакцию «Попался». Она решает вопрос вот уже пять минут. Столько пропето, исполнено арий на свистульке, а ответа все нет, как нет... Так как же?.. Опять арии...

Ура! Победа!..

Дело ясно, неверно поставлен вопрос. Это все равно, что спросить: жаркого или горячего? Очевидно, настоящий обед состоит из того и другого. «Попался», как газета, как отражение жизни, будет тем, что есть сама жизнь: серьезная дума, смех, радость, горе, отдых и т. д. Смех придет, когда ему вздумается, а наперед говорить о нем нечего: он – причудливое дитя минуты. Серьезное дело допускает, даже требует всяческих предисловий.

Вы, моя дорогая Читательница, – молодость. «Попался» рассчитывает воспользоваться этим обстоятельством. В переписке с вами, то напрягая память, то смотря на вас, он проведет перед своей мыслью свои молодые годы и сделает это недаром. Припомнит прошлое для того, чтобы снова не позабывать самому и, может быть, для того, чтобы научить других забывать о нем. Он жил уже порядочно, понимал, может быть, больше, чем следует, в себе и в других и пришел к следующему неискоренимому убеждению: только молодости принадлежат истинные чувства и истинный вкус к жизни, только в ней человек всего более походит на человека, вся остальная жизнь есть какое-то систематическое, безобразное, возмутительное изувечение человеческой природы. Человека как будто окормливают каким-то ядом и, потерявши сознание, он начинает все делать наперекор его истинным потребностям, его истинному счастью.

В молодые годы человек живет жизнью мысли: он хочет все знать, надо всем останавливается. Усиленно читает, спорит, пишет, он ищет бури и ненастья мысли, но и трепещет временами от радости познания решения отгадки, и главное, он чувствует, что это и есть суть жизни, что не будь этого, не стоит и жить.

В молодые годы человек любит той живой и широкой любовью, какой любили христы и другие, той любовью, которая не понимает, как можно наслаждаться, когда около тебя страдают, которая только тогда наполняет душу пьяным восторгом, когда вольная жизнь увлекает вперед в те золотые времена, когда все – правда. И этих минут не стоят те мелочные радости вместе со всей остальной жизнью.

В молодые годы человек понимает жажду дела, ее резкие мучения, но и незаменимые радости борьбы с собою, с другими, успехов, но и бед и т. д.

Не жизнь ли это? И что потом?

Или скуиное, с пониманием, ничего не выражающим поникшим лицом, шагание по жизненной тропе вроде того, как ходят часовые около безопасных постов. Или какое-то отчаянное бросание из стороны в сторону, или лучшие ворочание в безвыходном кругу: вино, карты, волокитство, театр и т. д. в том или другом порядке. И т. д. и т. д.

Иногда у этого люда, как часто встречается у настоящих сумасшедших, наступают светлые промежутки, как бы спадают повязка с глаз.

Вспоминается рай молодости: чувствуется какая-то роковая ошибка жизни, и тогда начинают течь настоящие живые человеческие слезы.

*Мне жаль, горьки эти слезы – и давно уже я ношу с задачей объяснить, по крайней мере воспроизвести этот несчастный процесс изменения человека. Очевидно, тут дело сложное. Участвуют массы деятелей, часть, наверное, подлежит уяснению, но для этого я должен живо представить мое прошлое. И это нелегко, нужна помощь. Этой помощи прошу я от вас.*

*Пишите – и больше, пишите все, что думаете, что хочется, не удается и т. д. Я отвык писать. Пишется трудно, вяло, я тащу из себя фразы. Однако поддерживает надежда на еженедельные упражнения. С пером у меня в прошлом связаны хорошие воспоминания, и я рассчитываю на старого приятеля.*

### **Хроника**

*Крупное событие истекшей недели, конечно, получение вашей карточки. Вы легко представляете, что я не обошелся без легкого истязания Сережи, а он – без обычных для него ответов по моей шее, спине и т. д. Карточка кому нравится, а кому нет, как это водится всегда. Остальное все, как было.*

*Саре Васильевне, Единственной Читательнице, пожелания всяческого добра от единственного редактора и издателя.*

*Ив. Павлова.*

*Позвольте и мне, многоуважаемая Сара Васильевна, засвидетельствовать Вам свое глубокое почтение и уважение.*

*Н. Терский.*

4 июля № 2

**«Попался»**

**Еженедельное издание случайного происхождения и т. д.**

**Согласно вышесказанному в № I обещанию,**

**Редакция начинает теперь в серьезном отделе издания помещению исследования —**

### **Критический период в жизни Разумного человека**

*Мне хотелось бы уже с самого начала внушить вам, моя единственная Читательница, что в предлагаемом предмете заинтересованы лично и вы. Вы переживаете этот период и ни вы сами, ни я, никто другой не может сказать, что унесете вы из него в вашу последующую жизнь. Не говорите сильных слов, не давайте клятв и обетов. Нас окружающая жизнь – не открытый враг, не открытая опасность. Она тонкий, хитрый, сложный процесс. Она – атмосфера из газа без вкуса, запаха и цвета, но газа могучего, который незаметно забирается в вас и потихоньку изменяет вас сообразно своей ядовитой натуре. Медленно, незаметно, шаг за шагом она изменит ваши теперешние мысли, чувства, вкусы – и вы, тогда другая, не поймете их, отвернетесь от них.*

*Я уверен: если бы человеку, уже переделанному жизнью, заведшему известный строй, вернуть на минуту способность думать и чувствовать так, как он думал и чувствовал в молодости, он заболел бы, умер бы, убил бы себя от презрения к себе. Но этого, к счастью или к несчастью людей, не бывает. Изменяется не только тело человека, изменяется и идеал его. Оба друг друга стоят, но последний снисходительней к первому.*

*Если это так, то очевиден расчет узнать эту опасность раньше, чтобы в свое время не попасть к ней в лапы.*

*Но минуема ли эта опасность жизненной переделки? О, конечно, это доказывают и отдельные примеры людей, счастливо вышедших из нашего периода, на это говорит и простое соображение. Не странно ли положить, что по закону природы человеку из всей его довольно длинной жизни суждено прожить по-человечески каких-нибудь 5—10 лет.*

*Итак, надо знать этот период и его опасности тем, кто переживает или будет переживать его. Но пожелают его узнать поближе и те, кто уже вышел из него, сплошь отрехшись от него, как от заблуждения молодости. В их новом периоде, в их положении измененных людей, долго еще беспокоят их тайны сомнения и неопределенные упреки. Что это такое, не раз спрашивают они. И узнав лучше, что их теперешняя [жизнь] далеко незаконна, результат ошибок, иногда захотят исправить эти невольные ошибки, вернуть, что еще не утрачено навсегда.*

*Разбираемый процесс очевидно так серьезен и всеобщ! И, однако (это поражало меня всегда), почти нет, лучше сказать, совсем нет ни одной попытки представить его в форме романа, драмы и т. д. или серьезного исследования. По крайней мере я, давно следя за этим предметом, не встретил ни разу чего-нибудь заслуживающего внимания. Таким образом, приходится, можно сказать, открывать предмет.*

*Вы понимаете, как должны быть для меня дороги всякие указания со стороны, какой ценный для нас материал составили бы так называемые дневники, которые так часто пишутся в молодости и потом исчезают бог знает куда.*

*Мой план ясен. Я должен с самого начала изобразить молодость, дать ее характеристику и затем уже представить ее медленный и плавный переход в следующий период жизни. Понятно, что в изображении молодости я себя ограничу, я возьму только ту часть молодости, которой посчастливилось вкушать от древа познания добра и зла.*

*Меня и вас, конечно, не раз заставляло задуматься следующее обстоятельство. Вот группа гимназистов, гимназисток, студентов: одни из них обеспокоены общими вопросами о смерти и жизни, мучаются сомнениями, выработают ли из себя нормальных людей, – и рядом с ними другие, также молодые и умные, представляют себе жизнь делом решенным: ни сомнений, ни беспокойств, всегда ясное представление определенной практической цели.*

*Откуда эта разница? Это, конечно, интересный вопрос, но я оставляю его в стороне. В мое описание войдут только первые, потому что только они и будут переживать «критический период», притом я возьму их готовыми, оставляя опять в стороне вопрос, как они стали тем, что есть.*

*Итак, о пользе молодых сторон молодой натуры. Начну я с умственной деятельности, как вещи мне самому наиболее понятной и более простой.*

*Молодой ум есть ум деятельный. С одной стороны (особенно в гимназиях и семинариях), куча обязательного умственного труда; с другой стороны, какая масса книг и статей осваивается с охотой. Едва ли можно сомневаться, что в молодости человек читает больше, чем какой-нибудь записной ученый, весь погруженный в книги. Я всегда жалел, что не вел счета прочитанным книгам. Эти цифры были бы назидательными для настоящего. Какая бесконечная вереница споров! Ничтожнейший повод – и начинается спор, и этот спор поднимается до высшего градуса, когда говорящие задыхаются от быстроты, с которой выбрасываются слова. Припомните письма молодости – длинные, предлинные. Не позабудьте всевозможных проб в разных родах литературы. Сколько раз незаметно пролетают часы, ночи за чтением какой-нибудь книги, за письмом, за какой-нибудь думой.*

*Это – ум, неуемная деятельность которого постоянно вызывает удивление, огорчение и досаду поживших. Их деятельность – живая, непосредственная. Никто не подгоняет ум, скорее есть старание со стороны сдерживать. Припомните фразы родителей, учителей и т. д.*

*Эта деятельность есть выражение сильной потребности, это есть жизнь в полном смысле слова. Кто не помнит постоянного неутешного горя, грызущей тоски, когда нет случая достать книги? У меня сейчас как живая перед глазами стоит сцена, как несколько нас семинаристов и гимназистов в грязную холодную осень по часу стоят перед запертой дверью*

*общественной библиотеки, чтобы захватить первым книжку «Русского слова» со статьей Писарева.*

*А восторг, когда одолеешь какую-нибудь трудную задачу! Я не позабуду радости, которую испытал, понявши после возни целого вечера Ньютонов Бином. А дрожь, которая пробегает по телу, когда встретишься с человеком или книгой, в которой говорят не то, что ты считал истинным! А отчаяние, когда сила новых фактов и идей разрушает своих старых богов! Это ли не умственная деятельность?*

*(Продолжение в следующем номере)*

### **Театр и музыка<sup>х)</sup>**

**<sup>х)</sup>(театр и музыка написаны не Иваном Петровичем)**

С тех пор как вы нас покинули, всякий эстетический и поэтический элемент в нашей жизни совершенно отсутствовал. Правда, и природа все это время старалась препятствовать проявлению стремления к нашему времяпровождению, если бы оно и существовало, но несомненно, что главной причиной одолевшей в нашем кружке скуки было отсутствие чего-то или кого-то, так недавно придававшего нам жизнь, и, если не заставлявшего совершать подвиги, а их у нас, кажется, уже есть кое-какие примеры, то во всяком случае может быть, неведомо для самого себя, подвигавшего на всякие выдумки и затем для удовлетворения присущего и подогретого чувства к изящному.

Как хотите, а это верно, иначе ничем нельзя объяснить охватившей всех нас неподвижности и застоя. Знаете ли, ведь с вашего отъезда прошло чуть ли не три недели. А мы вчера только первый раз решились выйти из нашего покоя и хоть невинно разбудить наши нервы, расшевелить свои чувства. Соблазнило нас, что, наверное, соблазнило бы и вас, если бы вы были в Петербурге. В Павловск приезжала московская знаменитость – артистка Федотова<sup>28</sup>: довольно на первый раз.

Вы такая любительница театра, такая поклонница Савиной<sup>29</sup>, в роли которой и выступала Федотова, что невозможно не соблазниться. Поехали. На себе можете судить о результате.

Конечно, при этом нужно иметь в виду, что как свет отраженный никогда не будет равняться свету источника, так и любовь (хотя бы к театру) заимствованная будет слабым подобием любви оригинала.

В самом деле, мы все если не в первый раз узнали, то значительно убедились, что есть еще один род духовного наслаждения, прежде почти неведомый нам и когда-то в принципе отвергнутый.

Федотова была прелестна и, несмотря на ее годы и неуклюжую фигуру, по временам иллюзия была полна. Казалось, что не смотришь на сцену, а видишь и сам переживаешь радости и страдания близкого тебе существа. Весело и радостно становилось, когда чувствовалось, что у этого существа впервые начало сильнее биться сердце. Когда оно потом со всей силой первой страсти с безграничным самопожертвованием отдало всю свою душу тому, кто заставил его узнать прежде незнакомое чувство. Но зато и сколько же мук приходилось переживать, когда это милое дорогое существо само, в силу своей беспредельной любви, вырвало свое ангельское сердце, прощалось со своей любовью, потом, очертя голову, бросилось в житейский омут, выбивалось из сил, чтобы хоть на минуту забыть свое гнетущее горе, быстро угасало в этой борьбе и совсем распростилось с этим миром в тот самый момент, когда в бездну мрака и печали проникли лучи солнца и вновь готовы были осветить ее. Чтобы все видели, какие прелестные лучи были закрыты в этом мраке.

Таковы были испытываемые ощущения, производимые артисткой. Они были так сильны, что и теперь, вот сейчас, не хотелось употребить слово «артистка», не хотелось верить, что все это была игра. И только так можно утешиться, что тот, кто может хорошо изображать чув-

ство, непременно умеет и может чувствовать на самом деле то, что он чувствует, по-видимому, только на сцене.

---

Примечание Редакции. Новый сотрудник болтлив и даже порядочно. До поры до времени, однако, потерпим: может быть исправится: а, кроме того, – да здравствует свобода языка! Саре Васильевне, нашей Единственной Читательнице, редактор и сотрудники выражаем наше глубокое уважение.

Ив. Павлов  
Н. Терский.

Победный свист на известном вам инструменте.

### **Хроника**

Х. все еще не пьет, хотя выражает сожаление, что в добровольно принятом обете не выговорил рюмочку-другую за обедом для аппетита.

Н. С. перестал быть ничем и изображает теперь помощника делопроизводителя в департаменте неокладных сборов. Вы можете себе представить его ликование теперь, если еще не позабыли его настроения по поводу новой пары.

---

И. П. по-прежнему все казнит себя за деревянность и убивается не шутя, что природа и собственные старания о самовоспитании лишили его возможности чувствовать другие жизненные радости и печали, наслаждения и неприятности, кроме тех, которые получают его шея и спина от Х.

Н. Терский.

### **Объявления**

Утеряна цель в жизни, неизвестно где. Нашедшего просят не беспокоиться доставкой: благодарности ни словесные, ни денежные не будет.

Н. С. Т.

---

Молодой врач, прекрасной наружности, с разнообразными талантами безвозмездно предлагает свои услуги прекрасной половине человечества по части напеваний. В случае, если принятие этого предложения замедлится, он, не привыкший быть без занятий, вынужден будет перенести центр его деятельности в другой город.

Ф. М.П.<sup>5</sup>

(По достоверным сведениям Редакции, объявляющийся молодой врач за отъездом некоей В. А. действительно остался без места и поэтому на всяком посту будет служить со всею преданностью и страстностью).

---

Ищут специалиста по части приручения животных для обуздания молодого человека с высшим образованием. Хорошее ежемесячное вознаграждение: в случае заметных успехов, единовременный гонорар не в счет месячного. Обращаться к другу пациента Н. С. Терскому.

---

Место стихов

### **Запоздавшее объявление**

---

<sup>5</sup> Федор Михайлович Прокопович, брат Евдокии (Киечки). (прим. сост)

Потеряно сердце, нашедший может получить половину.  
И. П.

---

Как видите, моя Читательница, нынешний номер представляет одну важную особенность – это появление сотрудников. Редакция «Попался» считает при этом новом шаге войти в некоторое объяснение. Когда в близком редактору кружке стало известно о литературной деятельности и направлении его изданий, было заявлено сомнение, как бы при единоличности в Редакции не развились пристрастность и узкость. Редакция, всегда уважающая разносторонность и борьбу мнений, конечно, ни минуты не колебалась открыть двери своего издания всем желающим. Вам, наша Читательница, – оценить, насколько от этого расширения пишущего круга выигрывает назидательность и занимательность нашего издания.

В следующих номерах надеемся ввести и новых членов Редакции.

---

11 июля, среда № 3

**«Попался»**

**Еженедельное издание случайного происхождения и т. д.**

**Объяснение Редакции с единственной Читательницей**

*Проходили дни, недели, был отослан второй номер, нужно было писать третий, – а от единственной Читательницы ни слова. Редакция, всегда понимающая законы существования своего издания только при условии живой связи с Читательницей, была в глубоком унынии. В Редакции думали выпустить траурный номер с панихидой – и вот, наконец, давно жданный ответ! «Попался» ожил и с увлечением отдается своему делу. Отныне он не только будет писать то, что его интересует, но и о том, что интересует его Читательницу. Оттого Редакция оставляет на время начатую статью «Критический период и т. д.» и займется одним из интересных вопросов, предложенных вами, Читательница, – «О самоедстве».*

*Мне кажется, Читательница, как будто вы различаете самоедов от раздвоенных людей. С одной стороны, вы говорите, что, кажется, с самоедством я знаком лично, с другой стороны, спрашиваете: встречал ли я раздвоенных людей? Очевидно, будь это одно, вы не задавали бы этого вопроса.*

*Мне кажется, что это одно и то же. Ведь как совершается самоедство. Человек двоится, раздваивается; одна часть его – изображает съедобное, другая – ест. Эти люди интересны также под именем рефлектирующих. Людей с рефлексией, людей, разьедаемых рефлексией. И вы правы, ваш покорнейший слуга в значительной степени принадлежит к этой компании шутов гороховых. И он с удовольствием пользуется случаем на основании собственных наблюдений над собой и над другими, на основании разных Достоевских сообразиться; что это за народ, как они образуются, что от них можно ждать, как они живут?*

*Мне кажется, сейчас по крайней мере наиболее характерным названием изо всех приведенных – это «раздвоенные», лучше сказать «раздваивающиеся». Это действительно люди, почти всегда, в каждый момент, представляющие две противоположности мысли, два чувства и желания: противоположные мысль и дело, противоположные чувства и дела, противоположные чувства и желания и т. д.*

*Вот они:*

*У тебя в чем-нибудь удача, ты – рад, чудак! Удача – случайность: твоя удача – только один момент жизни, за него, наверное, будут опять неприятности. Глупо забывать это, подобно ребенку.*

*Радость разбита; тебе досадно, тебе тяжело, ты предаешься отчаянию по поводу какого-нибудь затруднения, но от тебя, от твоего я, отделилась часть, которая с улыбкой*

посматривает на другую часть, страдающую. А-а, попался, дружок! Посмотрим, как ты выдержишь? И чего разнюнился! Ведь не век же это будет, жизнь так переменчива.

*В этом дружеском и философском отношении к самому себе есть потеха.*

*Твои рассуждения привели тебя к известному решению относительно известного предмета. Решено: ты должен верить ему. И тут же начинается ряд новых соображений: может быть, ты не знаешь всего того, что надо знать для правильного решения; а может быть, ты находишься под особенным впечатлением, которое тебя секретно располагает к известному решению; может быть, наконец, твои умственные способности урезаны, ограничены природой, а может быть... и вот сейчас ты завяз и, очевидно, уже боишься клясться своим решением. Друг милый, ты еще погоди.*

*Ты обдумываешь известный предмет. Дело начинается с черной работы. Не блестящие, отдельные разрозненные факты, поспешно часто вновь отбрасываемые, заключены (э, э, что-то идет плохо!)... как заключены, это глупо! А ум-то не из бойких. Но подвернулся подходящий факт, блеснула хорошая мысль. А, а, пошло! Право, какой я чудак! Дело немножко запуталось, а я уж и струсил. Теперь все будет хорошо. Тут снова затруднения оказались, факты несогласованные. О! Дурак! Ты радовался там, где ошибка и т. д.*

*Одна часть головы работает около предмета, другая всячески терзает ее. Этих примеров достаточно.*

*Писать это также трудно, как и читать. Вероятно, читали вы «Подростка» Достоевского? Ведь весь роман рассказан от лица раздвоенного человека и оттого он так ужасно читается. Мне кажется и с публикой, и с критикой случился забавный казус. Достоевский взял и исполнил громадный труд: изобразил ряд событий, как представляется раздвоенному человеку, заставивши рассказывать этого человека самого; так как раздвоенные люди – тяжелые люди, то и рассказ его вышел тяжел, значит Достоевский представил самоедов такими, каковы они есть, а публика и критика сообразила так: роман тяжелый, трудно читается, значит плох.*

*Итак, из приведенных примеров ясно, что человек постоянно двоится. Очевидно, справедливо назвать его и самоедом: он ест свою радость, ослабляет работающую мысль и т. д. Я задаю себе следующий вопрос: что обуславливает таких людей? Природа? Организация природожденная? Может быть. Но это дело физиологии, психологии и т. д. Это бросим. Я думаю, что можно указать и другие причины, лежащие в развитии условий жизни, и которые разобрат назидательно.*

*Мне кажется, что современная жизнь с первых годов человека старается его раздвоить. Возьмем дитя. Оно читает в всевозможных книжках, в катехизисе, слышит от родителей: люби и говори правду, – а глядишь, получает затрецины за то, что кому-нибудь сказал прямо неприятную правду. Разве это не урок раздвоения? А ведь такими уроками наполнена жизнь всякого человека до последнего дня. Это перебивание, дергание за рукав, которые наполняют детские жизни, внесет они в свой внутренний мир – и будет он задерживать всякую радость, присматривать за всякой своей мыслью и т. д.*

### **Хроника**

*В день получения вашего письма (надеюсь и после) Х., эта необузданная сила, был в руках редактора «Попался» и почему? Потому что это письмо дало ему такое счастье, что на все делаемые неприятности он не хотел обратить внимания. Поэтому-то и во имя письма он беспрекословно исполнял все желания редактора.*

---

*В нашей жизни явился новый элемент – физический труд в полезной и эстетической форме. В лаборатории отыскали токарный станок. Редактор умел уже точить и раньше. Его*

*сотрудник занялся изучением теперь. Оба работают с удовольствием и имеют одно желание – сделать вам к вашему приезду [что-нибудь] достойное вашего одобрения.*

*Читали вы дело Ландсберга<sup>30</sup>, недавно разбиравшееся в Петербургском Окружном суде? «Попался» кажется, что это выдающееся дело по личности преступника. Такого отсутствия нравственного чувства, кажется, не приходилось и встречать. Это дикарь в полном смысле слова. Его заключительное слово после прений – что-то невероятное. Человек, убивший двух лиц, так себе, почти без мотивов, с ухарством говорит еще о собственном образовании. Будь я судьей в таком деле, я бы осудил без снисхождения. А вчера в газетах было напечатано, что осужденный на 15 лет каторги Ландсберг подал кассационную жалобу, значит и в важную минуту, когда решалась судьба всей его жизни, человек с умыслом врал или рисовался.*

*На некоторые остающиеся вопросы вашего письма, Читательница, редактор ответит в следующий раз. Медицинский совет относительно куриной слепоты явится вскоре номером в особом к нему прибавлении.*

*Саре Васильевне, Единственной Читательнице, шлет привет редактор Ив. Павлов.*

*Писано известным пером.*

### **Объявления**

*Редактор издания неизвестно чего боится, а потому позволил мне только в настоящем отделе выразить вам свое глубокое уважение.*

*Н. Терский.*

*О! Несказанная клевета! Редактор, видит бог, не знает этого чувства. Мне кажется, что сотрудник таким образом хочет замаскировать убожество своего литературного таланта.*

---

*13 июля.*

### **Прибавление к 3-му номеру «Попался»**

*Куриная слепота – обыкновенно удел людей, с одной стороны, не очень хорошо питающихся, с другой, подвергающихся сильному ослепительному освещению. Из этого вы легко понимаете, как ее лечить. Вы должны озаботиться предоставлением вашим пациентам хорошего обеда (бульон, бифштексы и т. п.). Кроме того, для лучшего успеха, с целью еще более способствовать улучшению питания, поите их рыбьим жиром. Наконец, самое главное, неизбежное условие: обрядите их всех синими или дымчатыми очками. Тогда ваш успех несомненен.*

*Впрочем, можете предоставлять их к обычному медицинскому пособию со стороны самого неба. Стоит ему сделаться пасмурным – и болезнь может пропасть. В таком случае ваше дело и их – это молитва ко всеильному о ниспослании требуемой погоды. Ваше желание, ваш выбор – воспользоваться тем или другим средством.*

---

*Посылаю карточку.*

---

*Напишите, когда получили второй и третий номера. Второй был положен в ящик в ночь со среды на четверг, третий уже в четверг.*

---

*Как видите, и у нас действует обыкновенный закон всех кружковых изданий: постоянно запаздывать все более и более с выпуском следующих номеров.*

---

*Сережа Х. просит редакцию передать ее Читательнице выражение его к ней чувства высокого уважения и беспредельной преданности. Насчет своих карточек извещает, что сде-*

ланный у Досса съем ему не нравится, и для вас он вновь переснимется у Левицкого, фотографа их Императорских величеств. Относительно же съемки карточек (своих) – «Попался» в полном тупике. Известный Помощник Делопроизводителя ждет какого-нибудь ордена, чтобы на карточке явиться кавалером, и потому ни он, ни я не можем сказать, когда же снимется эта карточка.

*Саре Васильевне, своей единственной Читательнице, шлет привет редактор Ив. Павлов.  
С. Петербург.*

*Исписано известным пером.*

---

*Среда. № 4*

### **«Попался»**

**Еженедельное издание случайного происхождения и т. д.**

**Объяснение редакции с ее публикой**

С горестью для себя и для вас Читательница, «Попался» должен объявить, что обещанное в раннем номере участие в издании и других – оказывается пустой надеждой. Предполагавшиеся сотрудники объявляют, что они никак не могут найти пера по руке. Таким образом, волею судеб редакция снова состоит из единственного члена, правда, вооруженного волшебным, известным Читательнице, пером. Помещаем продолжение переливания из пустого в порожнее, начатое в номере 2 под заглавием

### **Критический период и т. д.**

Молодой ум – ум философский. Под этим эпитетом я разумею стремление молодого ума обо всем получить понятие, все сведения свести к известным общим положениям. С одной стороны, решить последние вопросы человеческой жизни и мира: откуда мир, к чему он? и т. д. С другой – все частности жизни и науки выводить из известных главных принципов.

Мне кажется, что такая характеристика справедлива. Нет, действительно, предмета, который бы не интересовал молодой ум. Я припоминаю, что читалось, о чем велись споры тогда – и теперь. Я не знаю предмета, которого бы они не касались. Тут и вопросы из всевозможных наук, тут и философские вопросы о боге, душе и т. д., тут и каждый факт жизни. И это не были разбросанные сведения. Все это должно было, и действительно стремилось, собраться в известную систему. Только, бывало, и слышишь: «общий взгляд», – «общие мировоззрения», – «как же это согласуется с твоим общим взглядом», – «это вполне отвечает моему мировоззрению» – и т. д.

Я ясно помню, как этот общий взгляд являлся живой жгучей потребностью. Мы представляли людей, у которых не было такого взгляда, жалкими. Мы не могли понять, как это можно жить без общего взгляда на мир и жизнь. От всякого нового знакомого мы хотели узнать: имеет ли он общий взгляд?

Молодой ум восприимчивый, свободный, без предрассудков, смелый. Сообразите взгляды, которые окружают начинающего человека: специальные советы детям, ученикам со стороны родителей, взрослых, учителей – и нужно дивиться, как молодой ум выкарабкивается из-под всего этого – и идет с любовью навстречу всевозможным передовым идеям.

Наконец, имейте в виду основное условие деятельности этого ума. Это то, что этот ум пустой и начинающий только наполняться, для которого все ново.

Итак, вот пред вами наш подсудимый, молодой ум. Хорош он или дурен? Пока, как здесь представлен, – о, конечно, хорош! Человек живет умственными наслаждениями, и люди, стоящие во главе человечества, скажут вам, что умственные наслаждения – наслаждения самые резкие, глубокие, почти бесконечные. Человек постоянно работает мыслью, и что же может быть более выгодно ему, окруженному массой нерешенных вопросов? Человек стремится в

своем взгляде объять весь мир, а не ограничиться только уголком его. А это есть необходимое условие разумной, достойной жизни и наиболее верного представления вещей. Как бьют, тиранят жизненные мелочи человека, не видящего дальше своего носа, и как бессильны они перед душой людей с широкими взглядами, с мировыми вопросами. И как справедливо оценить отдельный факт по себе, когда ему дает смысл только место в целом! Человек не знает предрассудков, а предрассудки – первые враги истины, которую и нужно. Таким образом, нет спора, что свойства молодого ума – свойства выгодные, желательные для человека.

*(Продолжение следует)*

### **Догадался**

**(из дневника)**

Фу-ты, пропасть какая! Иной раз зло на самого себя такое разберет, что вот, кажется, взял бы да и выпорол себя хорошенько. Положим, такие казусы встречаются не часто, благодаря моему природному благодушию и спокойно-философскому взгляду на жизнь. Тем не менее, перед самим собой и перед другими я должен признать, что все у меня как-то не клеится. Хочешь одного – выходит как раз наоборот, совсем другое. Поневоле досада возьмет: судьба играет мной точно пешкой. Да уж поди бы играла-то хорошо, хоть бы какой-нибудь системы придерживалась, порядок соблюдала! Все бы легче было. А то выходит, что сам-то я черт знает, что такое, а жизнь мою и сам Мефистофель ни за какие коврижки не разберет.

И уж бы я не работал над самим собой, не старался изо всех сил, чтобы из меня что-нибудь порядочное вышло. Тогда уж куда ни шло. А вот ведь нет. С тех пор, как я себя помню, я всячески хлопотал об умственном и нравственном усовершенствовании, какую машину книжек прочитал, какие дебаты из-за выведенного яйца вел, что чертям тошно!

Кажется, должен был бы из всего этого существенный толк выйти. Вот поди же ты! Споря с приятелями, такую философию могу распустить, что смотреть самому себе любо-дорого, а уж коли упрусь на чем, так меня и пушкой не шишбить, надившись, откуда столько характера берется. Кажется, и желать бы больше нечего. Ан вон нет. Как помотришь на всю свою жизнь, так и оказывается, что и ума-то у тебя иной раз, как будто бы, не хватает, а характера и с куриный ноготок не будет.

Просто ничего понять не могу! Чтобы у меня ума было мало – это совсем неправда. Но пусть не глупее я других, начитаннее же и развитее многих. Характер... Да верно ли у меня его нет, и если верно, то отчего бы такая оказия вышла?

Попробую разобраться. Помню годы молодые (эка черт, ведь я до 30 лет дожил) и буду писать: так лучше думается. Опишу подробно и выясню все до мелочей, как я провел нынешнее лето: скверно, скверно, черт побери, оно прошло! А какие были планы у меня, какие надежды я возлагал на это лето? Пропасть!

Однако попридержу свое негодование и начну рассказывать по порядку. Нужно все обсудить хладнокровно, с толком.

Год жил я с приятелем, неким Сашкой, товарищем по академии. Ну и как водится, все время только и делали, что язык околачивали. Приятели. То мы к ним, то они к нам. Год-то и не видать, как прошел.

Настало лето. Ну, думаю, теперь все поразъедутся, а я – благо экзамен сошел кое-как<sup>31</sup>, — займусь хорошенько нравственным самоусовершенствованием, начитаюсь всласть. Одно только обстоятельство меня немного смущало: рядом с комнатой, где я жил с товарищем, жила молодая особочка, красоточка ничего себе. Думаю – смущать будет, лучше уеду. Квартиру искать – это тоже, черт возьми, имеет свою приятность. Пожалуй, и про самоусовершенствование позабудешь. Однако я твердо стоял и все собирался себе подходящую уединенную компанию подыскать.

*А тут, пока я собирался, то обнаружилось такое обстоятельство, которое устранило все затруднения, и дело, по-видимому, могло устроиться к полному моему благополучию. Оленька (так звали красоточку), оказалось, втюрившись в Саику состояла. Такие нежные объяснения в любви мне вдруг пришлось выслушать, что чертям тошно.*

*Соображаясь с этим, я конечно и решил: «Если тут такая нежность существует, так зачем же мне и уезжать: не стану я в самом деле приятелю пакостить, счастье разрушать его. Значит и соблазна никакого быть не может». Смекнув так дело, я на радости, что без таскания по квартирам обошлось, полному благодушию преданся, по три самовара в день выпивал, нежные арии распевал и все мечтал, как с отъездом Саики я разным Миллям и Спенсерам предамся<sup>32</sup>.*

*Наконец настал и желанный день. Саика уехал. Слетать в библиотеку за книгами минутное дело. Притащил их, ну, теперь засядем! Первым делом принял разные предварительные меры, устроился так, чтобы ничто, значит, тебя не смущало, чтобы никакие посторонние мысли и желания тебя не развлекали.*

*А потом и засел. Так все лето по возвышенной поэзии и занимался...*

*Резонерство в тебе одно, брат, и им ты уже давно всякое непосредственное чувство ухлопал. Вот что. Ну, наплевать!*

---

*Несколько листков в середине рукописи и перед самым концом ее мы не печатаем по недостатку наборщиков, с одной стороны, не желая утомлять Читательницу изложением обстоятельств и соображений и без того понятных – с другой.*

### **Метеорологический бюллетень**

*Нынешний вечер едва ли не первый хороший вечер после вашего отъезда. Вам не представлять того, что мы пережили здесь за этот месяц. Если вы легкомысленно отнесетесь к этим словам; а, дескать, дошло же, наконец, дело и до погоды – я не желал бы вам другого наказания, как этой погоды.*

*Я уверен, что иной самоубийца этого месяца, не будь этого вечного дождя, холода, полумрака, или совсем бы отложил свое намерение, или по крайней мере позатынул бы с жизнью. Наверное, подсудимые, по милости этого неба, немало потерпели от присяжных. Досталось, наверное, больше против обыкновенной порции всяким подчиненным от их начальников. Детям и ученикам от их родителей и учителей, разыгралось больше семейных сцен и т. д. и т. п. Насчет самоубийств и обвинительных приговоров, я так думаю, было бы назидательно всерьез обратиться к статистике.*

*Таким образом, нынешний вечер – праздник Питера, в котором я принимаю участие не менее всякого.*

### **Объявление**

*Получит большое вознаграждение тот, кто укажет в вопросе о русской революционной партии больше, чем в вопросе о дворниках всей России. С указаниями обращаться в Канцелярию С. Петербургского Генерал-Губернатора.*

### **Смесь**

*«Попался» не может, дорогая Читательница, исполнить вашу просьбу о научении отличать в нашей газете звон, жестикуляцию и правду: потому что он и сам иногда в этом затрудняется.*

*Я с удовольствием буду жить, Читательница, хоть на короткое время, чтобы ответить на какие-то интересующие вас вопросы.*

*Занимаюсь, Читательница, только по новой системе. Не по заранее определенным часам, а как только выпадет свободная минута.*

**Поправка, описки**

*В третьем номере, на последней странице, первой строке, вместо заголовка «Объявление» нужно читать «Неожиданная полемика».*

*Ответа, ответа, Сара Васильевна!*

*С надеждой, редактор, издатель*

*Ив. Павлов.*

*Июля 21 дня № 5 и 6*

**«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ»**

**бывшее «Попался»**

*Еженедельное издание случайного происхождения и т. д.*

**Объяснения Редакции с ее публичкой**

*Благополучно вступая во второй месяц существования, Редакция бывшего «Попался» нашла старый титул издания устаревшим. Так как теперь едва ли для редакции дело ее можно представлять как промах, обузу. О, совсем напротив. Это ее радость, ее жизнь. Редакция надеется, что и вас, Читательница, берет немалое удивление перед совершившимся фактом – такой долговечностью нашего издания. Редакция всего законнее нашла именно это чувство и выразить в новом заголовке своего издания.*

*Не удивительно ли?! Редактор, так прославившийся своей ленью вообще, и в писании писем в особенности, почти единолично ведет довольно обширное еженедельное издание! Поистине: чудны дела твои, господи! Мы живем среди чудес... и лесов дремучих, – бессмысленно дополняя в голове по обыкновению.*

*Счет же будет продолжаться старый. Редакция, связанная требованием аккуратности, считает долгом объяснить происхождение нынешнего двойного номера. Она надеется, что это происходит без малейшего ущерба для Читательницы. Из последнего вашего письма, Читательница, мы убедились, что вследствие нашей неточности, допущенной отчасти по неведению, наши номера доходят до вас недели через полторы. Такая судьба должна была постигнуть и пятый номер, который мы могли опустить в почтовый ящик только в среду вечером. В таком случае, мы нашли удобным слить два номера и послать их в понедельник, чтобы оба попали к нормальному сроку шестого номера. Надлежащий объем этого номера, как видите, добросовестно выполнен. Продолжаем помещение статьи «критический период», автор которой немножечко одурел от радости, что его Читательница возымела такой интерес к ней. Такой интерес! Такой интерес! Такой интерес! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!*

*Итак, приведенные свойства молодого ума оказались очень приятными и выгодными для человека. Но прежде, чем с основанием желать их на всю жизнь, нужно ближе уяснить, – откуда они взялись, при каких условиях существуют. Вместе с этим дополнится и характеристика молодого ума, которая доселе умышленно до пуццей резкости была начерчена одно-сторонне.*

*Что мудреного, что молодой ум так деятелен, прыток? На то он и молодой. Осмотритесь внимательней! Эта прыткость не в нем одном. Посмотрите, как бесконечно подвижны, деятельны мышцы ребенка, с какой страстью ищут себе работы мышцы молодого человека. Да что – человек! Посмотрите на любое молодое животное: котенка, медвежонка, цыпленка. Везде та же подвижность, жажда деятельности: беспрестанные игры и в одиночку, и в компании, всевозможные предприятия, постоянное любопытство.*

*Что мудреного, что деятельность молодого ума такая живая, страстная! Ведь он так мало знает, ведь для него так много нового, новое всегда, во всех областях человеческой души, имеет такую силу прельщать, возбуждать. Возьмите человека, какого ни на есть возраста и развития, обставьте его чем-нибудь новым, необыкновенным – он разохается от интереса, он засыплет вас вопросами: как, что, почему!*

*Что мудреного, что молодой человек стремится философствовать, все знать и все свести в систему! Это так естественно. Если действительно интересно знать, то почему же только это, а не то. Понятно, что подавай сюда все. Это смелое желание могло бы сдерживать, охлаждать только представление о бесконечной трудности задачи, о недостатке сил, средств, времени. Но молодому уму мир представляется таким маленьким! Он совсем не знает, как достаются человеческому уму истины, сколько их выработано, сколько остается их еще открыть. Оттого он с таким легким сердцем гуляет из одного конца вселенной в другой, как по саду.*

*Что мудреного, что молодой ум без предрассудков восприимчив! Предрассудки – это укоренившиеся мнения. У него таких нет. Он открыт для всех встречающихся идей, как магазин для всех покупателей.*

*Кто будет отрицать, что все сказанное сейчас правда! Это и есть дальнейшая характеристика молодого ума. На этот раз я не стараюсь моих положений подтвердить отдельными фактами и примерами. Во-первых, потому, что они и так часто приводятся пожившими для собственного утешения и для назидания молодых. А во-вторых, иначе я не кончу мои статьи через целые месяцы.*

*Ну что же следует из сопоставления первой и второй половины характеристики? Следует ли то, что обыкновенно следует. Действительно ли, раз прошла пора молодого возбуждения, разум бедного проскочил мимо сокровищ человеческой мысли, убедился в страшном труде, потребном для философского взгляда; действительно ли естественно, необходимо возвратиться к умственной деятельности человека: конец радостям и горю ума, интересу предмета человеческой мысли, философским стремлениям.*

*О, конечно нет. Все образумливающее время вовсе не требует этого. Объективно надобно помирить первую половину характеристики со второй. Это и есть – решить наши задачи о «критическом периоде» в умственной жизни человека. Пойдем дальше медленно, не спеша, потому что здесь главная важность.*

*Молодое возбуждение – возбуждение непременно временное, особенность только известного физиологического периода. По одному этому оно не может быть рекомендовано как нормальное состояние на всю жизнь. Вот что скажет прежде всего в свое утешение и защиту всякий, расквитавшийся с молодостью, практик. Иза него, по-видимому, говорит так много. Действительно, нужно согласиться, что часть энергии, живости, молодости – неизбежно временна.*

*На это указывает, во-первых, что подобное явление наблюдается и у животных. Этот занятный теперь медвежонок – любопытный, веселый, подвижный – со временем обращается в ленивого, равнодушного, неподвижного медведя. И нельзя же думать, что и у медведя это вышло вследствие каких-нибудь ошибок молодости, каких-нибудь несовершенств медвежьей цивилизации.*

*Это доказывают, во-вторых, постоянные завистливые взгляды на молодость, которые бросают на нее люди, кажется бы и не имеющие основания быть недовольными и своими поздними годами – всевозможные поэты и философы. Мне представляется, что здесь мы, действительно, имеем дело с одним из трагических моментов человеческой жизни. Я думаю, что многим эта тоска по необходимо временным радостям молодости стоит счастья всей остальной жизни. Интересно бы с этой целью перерывать повнимательнее поэтов и философов.*

*В этом отношении давно обратило на себя мое внимание одно из парижских писем Золя в «Вестнике Европы»<sup>33</sup>, где он пишет об Альфреде Мюссе<sup>34</sup>. Если не ошибаюсь, он приходит к такому заключению. Мюссе, как известно, обладавший большим поэтическим талантом, с годами почувствовал упадок его. Ему так трудно было расставаться с этим даром богов, что он стал употреблять разные искусственные средства для возбуждения: вино и т. д. – и кончил тем, что сгубил себя. Не происходит ли эта история в более обширных размерах? Не сюда ли хоть отчасти относятся Помяловские, Никитины<sup>35</sup> и т. д.? А может быть и некоторые из окружающих нас?*

*Где-то, у кого-то из поэтов или философов мне припоминается следующая фантазия. Какую-то душу, по приказанию бога, ангел привел к дверям рая, приотворил их – и в щелку дал этой Душе несколько полюбоваться тем, что делается в раю. А потом дверь захлопнулась – и Душа возвращена на землю. Но вид в щелку так запал в Душу, что она осталась с вечной тоской по раю – и все земное было бессильно развлечь, утешить ее. Не про рай ли молодости рассказана эта сказка?*

*(Продолжение в следующем номере).*

### **Фельетон**

### **ЛЮБОВЬ ИНВАЛИДОВ**

### **Беллетристический опыт**

#### **Глава I**

#### **Два приятеля: Помело и Дубина**

*Первым делом, наша Читательница, позвольте представить вам моих героев: Помело и Дубина. Как водится, сначала о наружности. О внутренних качествах теперь скажу только мельком. Надеюсь, что мои герои не преминут сами развернуть перед вами свои внутренние миры, показать свои духовные сокровища.*

*У Помело и Дубины большею частью все врозь. У Дубины лицо молоджавое с неизменным оттенком похмельности: «хватили, мол, жизни на наш пай порядочно». У Помела лицо старообразное, с выражением бессмысленной задумчивости, как будто бы говорит: «покопаясь, покопаясь в нашей милой грязи» (т. е. в душе, Читательница!). Слушаешь Помело – как будто часы ходят: так долго и так однотонно. Дубина говорит, что ворона каркает, также отрывисто и музыкально. Помело несет большей частью околесицы. Дубина предлагает слушателю только серьезное. В жизни Помело кисло-раздумчив: на него требуются шпоры. Дубина топорно решителен: к нему надо мундштук.*

*Я понимаю, что Читательницу начинает интересовать вопрос: что же связывает моих героев, каким образом они оказались вместе, рядом? О, это совершенно просто. Да вполне так же, как в лавке старьевщика лежат одна около другой полинявшие испачканные ленты от головного убора и изношенные дырявые резиновые калоши. Но мои герои, однако, одушевленные предметы, одаренные умом и сердцем, и потому не только помещаются один около другого, но и развлекают друг друга по силе возможности, делают жизнь друг другу.*

*Вспомните, как развлекались в «Старосветских помещиках» Гоголя. Возьмет, бывало, Афанасий Иванович с Пульхерией Ивановной духота семейного однообразия, так сейчас Афанасий Иванович и начинает освежающие облака на горизонт наводить. То нарочно пирожки забракует, то какой-нибудь страшный сон выдумает. Пульхерия Ивановна в слезы. Афанасий Иванович за ней. Затем взаимные утешения, смех, радость. Духота сменилась свежестью после дождя. Так ведь и у моих героев: Дубины с Помелом. Как сойдутся, так и устраивают тучку. Помело начинает несть, как будто задирающую Дубину, чепуху: Дубина нравственно удивляется и бьет Помело по шее и т. д. Оба чувствуют: один горечь оскорбления и сладость отомщения, другой – самолюбивую радость подсмеивания и боль пинков. Оба взаимно благо-*

дарны за доставленные ощущения и дружески расстаются до следующей тучки. И, таким образом, они жили припеваючи...

Но с некоторого времени и над ними все чаще и чаще начинает парить злой гений земли, как ястреб над цыплятами. В их мирные души он напускает по временам какие-то странные, новые желания. Мне становится искренне страшно, Читательница, за моих милых героев. Мало ли что может случиться с ними на новой, им совсем незнакомой дороге.

Не знаю, насколько Вам, моя благосклонная Читательница, симпатичны мои Помело и Дубина, но я их люблю, как любит мать своих детей, все равно, уроды ли они или красавцы, как Шекспир, вероятно, любил своих и Дездемону, и Макбета, и Офелию, и Ричарда III.

Что это за беда сторожит моих героев – узнаете из следующей главы.

## **Глава II**

### **Сборы к любви**

Ночь. Неприятное петербургское небо и мокрые панели. Помело поздно возвращается с приятельской пирушки и на ходу разговаривает про себя. Но романистам дано искусство подслушивать эти никому неслышимые разговоры – и потому, Читательница, вы узнаете о них.

Помелу что-то тяжело. Отчего? Этого, однако, не знает ни ветер, ни сам Помело. Мало ли отчего! Душа человека так безмерно сложна и тонка. Может быть, немножко гам утомил, может, желудок в претензии:

– Э, черт побори! Тоска какая!

– Ну что там? Какой-то обязательный шум, какое-то странное взаимное наливание вином – без радости, без приятности, без искренности. И эта болтовня! Диво бы трогаящая, задирающая, а то говорит, как макака, выбирает всякую чепуху, лишь бы не молчать! Эх! Что бы такое поинтереснее, посерьезнее, поживей!

Длинный ряд точек во внутреннем разговоре. Затем как молния пролетает в голове фраза: «не влюбиться ли уж?», и Помело душевно расхохотался среди ночной тишины, так что дворник, мимо которого он в то время проходил, проснулся и заругался:

– Эх его занимает нелегкая!

Чудак! Ему и в голову не могло придти, что в этот момент в душе Помела впервые раздался голос могучей человеческой страсти.

---

Метель. Пять часов пополудни. По Дворцовой набережной плетется Помело восвояси. Очевидно, он устал и не в духе! И еще бы не устать! С шести часов утра он встал, бегал туда и сюда, перебивал во всяческих активных и пассивных ролях. Как обезьяна в известной басне Крылова он все более и более запутывался в разных делах.

И еще бы быть в духе? Что ни мечталось сначала: глубокая добросовестность, страстное увлечение и т. д. А выходит один ишиш; как-то и времени нет серьезно позаняться.

Помело слазил в карман за духовной плетью и начинает легонько себя подстегивать.

– Скверно! Дела кажется порядочно, а радости – маловато. Как-то все пресно... Экий дуралей! Разве маловато? Погуце, что требуется! Подвига, сильного чувства надо. Это верно. Да. Надобно влюбиться. Ведь все, что в романе описывают – все те дела делаются. Подвиги отламываются! Может быть, и мы что-нибудь отломаем. Плеть убирается снова в карман. И милая улыбка успокоено разливается по образу Помела.

Вечер. Комната Помела, заваленная книгами. На столе расположены всевозможные орудия умственного труда: чернила, костяной нож и т. д. Помело – дома. На лице выражение какого-то ни того, ни сего. Не то ему скучно, не то хорошо. Начинается обычный разговор про себя. Только заниматься! Ни тебе – никуда, никто – к тебе. Заниматься, черт

*побери! Нередко заниматься – так даже приятно. Какой-то аппетит! Но что же взять? С чего начать?*

*Помело отправляется к книгам и долго роется. Наконец отбирает пять и кладет на стол. Энергически несколько раз прогуливается по комнате и садится за стол, перед книгами. Берет верхнюю.*

*– Начнем с этой!*

*Задумчиво перевертывает листья.*

*– Или ту?*

*Берет другую. Ладно. Читает. Напряженно ведет глазами по первой странице.*

*– Что-то не интересно! Лучшие, не эту ли?*

*Берет третью и так до последней книги. Помело с сердцем бросает последнюю и сердито ходит по комнате.*

*– Что же это такое? Выходит дурак дураком! И время есть удобное, а дело не идет. Нет, это недаром. Это, вероятно, от каких-нибудь неудовлетворенных потребностей. Нет, видно с толком сказано, больше себя не будешь. Хоть и не любил, и не хотел любить, а без того не должно обойтись! Влюбиться! Непременно влюбиться!*

*Лицо Помела горит огнем решимости.*

*Читательница! Разве вам не ясно, что Помело изображает теперь кучу горячего материала. Одна искра и он запыляет.*

*Не менее тревожный период переживает и приятель Помела – Дубина. К нему и отправляемся теперь, Читательница (продолжение в следующем номере)*

### ***Письмо в редакцию<sup>6</sup>***

#### ***г. редактор!***

*В номере 2 Вашей уважаемой газеты в отделе хроники появилось известие, что я сожалею о рюмках перед обедом, которые я теперь не могу испивать вследствие обета любви. Такого сожаления я не обнаруживал, вероятно, поводом к этому слуху послужила моя фраза, что мне всего труднее стоило отвыкнуть от этих рюмок, моих хороших знакомых еще с 14-летнего возраста.*

*Однако Вашему, хоть и неверному, известию очень много и много одолжен, потому что оно дало слухи Вашей глубокоуважаемой Читательнице выразить в бесконечно дорогую для меня веру в мою решимость пережить себя.*

*Примите истинные уверения и т. д.*

*С. Х.*

*Многое бы могла Редакция «Чудны и т. д.» сказать по поводу последнего Вашего письма, Читательница, но, усталая, оставляет до следующего номера. Однако, не может умолчать: пусть ваши письма, Читательница, [кажутся вам] достойными смеха, но нам присылайте их чаще. Без них «Чудны и т. д.» неминуемо перестанут существовать.*

*Единственной Читательнице, Саре Васильевне, привет от редактора Ив. Павлова  
В виде приложения пусть идут изделия от нашего ветреного сотрудника.*

### ***Кое о чем***

***(написано не Иваном Петровичем)***

***пустой лист***

---

<sup>6</sup> Редакция «Чудны и т. д.» получила письмо от господина Х. с пожеланием в случае, если окажется обременительным поместить его сполна, – опубликовать только выдержки из них, чем мы охотно и пользуемся.

21 августа №№ 7, 8, 9

**«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ» бывшее «Попался»**

**Еженедельное издание случайного происхождения и т. д. Объяснение Редакции с публичкой**

Ура! Ура! Читательница. Мы можем, как и вы, начать номер победным криком, только с большим правом. В тот момент, как вы потешаетесь над последним усилием якобы истощенной редакции, она делает на самом деле чудеса энергии. Двойной предыдущий номер, тройной нынешний! Это ли не деятельность. Дело ведь в том, что вы уже давно должны получить 5 и 6 номер. Целых десять листов. Отчего произошло запаздывание в получении? Получили ли его, наконец, редакция, к сожалению, не ведает. Да послужит вам после этого, дорогая Читательница, достойным наказанием за горькое для нас сомнение мука чтения произведений нашего почтенного сотрудника Н. С. Т. и затем, определивши меру заслуженного наказания, редакция спешит обрадовать вас известием, что ее состав неожиданно пополнился, в чем, надеется, убедитесь и вы сами.

**Критический период в жизни разумного человека**

Вот, наконец, давно обещанная суть. В прошлом номере дело стало на мнении о поре возвышенного молодого возбуждения, как поре проходящей по самой своей природе.

Мне кажется, что отсюда в отношении к этому мнению начинаются опасности критического периода. Раз это действительно представляется временным, многие будут стремиться скорее пережить этот переходный период, возраст. Конец умственных и всяких других волнений будут приветствовать как начало трезвой настоящей жизни. Потерю интереса к разным книгам, всякого рода теоретическим вопросам – как желанное обращение к действительной жизни. Сколько, вероятно, лиц благодаря этому мнению о молодой поре лишились навсегда возможности иметь хоть смутное представление об истинно человеческом существовании! Сколько, и это уж, наверное, утешая себя таким взглядом, способствовали скорому и полному забвению возвышенных потребностей и ощущений этой поры!

Но, помимо значения теоретического взгляда на дело, едва ли не большую роль играют и действительные изменения ощущений при переходе из периода молодого возбуждения в следующий. Вы знаете, какими редкими ощущениями полна умственная жизнь молодости, какое страстное искание интересных книг, какое невыносимое, почти до слез, ощущение пустоты, раз долго остался без умственной работы! Вас, Ваше умственное достоинство сторожит, можно сказать, строгий взыскательный надсмотрщик, проходит эта пора возбуждений, ваши чувства несколько тупеют – и вот бессознательный присмотр естественно, но незаметно, делается слабее и совсем немудрено, что эта слабость сплошь и рядом перейдет границы и выразится в непоправимых упущениях. Иначе сказать можно и так: с годами ваше умственное достоинство должно перейти из поведения непосредственных ощущений в область сознательного систематизированного поведения; а вы и теперь все еще полагаетесь на старые порядки. Не естественно ли, что так можно в конце концов остаться и на бобах!

Что же сказать о приведенном злокозненном взгляде на пору всяческих возвышенных порывов? Конечно, здесь нечего и думать исчерпать предмет вполне. Можно сказать только кое-что. Это еще вопрос, насколько в вышеизображенном общем плаче по молодости, хотя бы даже и самих поэтов и философов, не замешано известное человеческое свойство – приукрашивать все прошлое, что несколько действительно есть – едва ли может подлежать сомнению. Но мало ли или много – вот этого-то скоро и не определишь.

Ну пусть, в самом деле человек с годами неизбежно теряет часть умственных радостей. Зачем же отсюда будет следовать – побросаем в таком случае и все остальное? Кто потерял часть своих денег, поправляет ли свои дела тем, что бросает и остальные? А ясно,

*что человеку и после молодости остается или должно оставаться весьма и весьма много. Не говоря о выдающихся людях, сколько совершенно ординарных, сумевших за всей их жизнью удержать разумный смысл.*

*С другой стороны, не трудно видеть и те ошибки, которые делаются людьми массой при переходе из молодого в так называемый трезвый возраст. Я сказал уже об одном подводном камне молодости – постепенном падении возбудимости. Пойдем дальше.*

*В горячую пору молодости чего-чего не касался ум! В каких он не перебивал областях человеческой мысли. С гордостью он может спросить: о чем он не имеет понятия? И после годов такой беготни по полкам общечеловеческой библиотеки все чаще и чаще начинает слышаться жалоба: что ни читаешь, – черт знает, ничего нового! И это как будто верно. Сравни себя, пережившего эту пору, с только начинающим ее. Он то и дело сует тебе то то, то другое, смотри, мол, какие новые взгляды такой-то текущей статьи или только что появившейся книги, интересные неожиданные факты ит.д. А ты уж читал это давно-давно и не один раз. Новые, мол, погудки на старый лад. И такое обстоятельство важно. С ним (раз в самом деле ничего не встречается нового) выпадает один из важных рычагов умственной энергии, умственного интереса.*

*Идем еще дальше! Что делается с молодым философствованием? Люди суетятся, спорят, общие взгляды строят, но чем дальше идет дело, тем яснее становится, как фантастична почва этих взглядов, каждый спор кончается убеждением, что при настоящем запасе и сведениях спорящих – спорить нечего, что нужно в подробности изучить предмет; ты сдерживаешь себя этим в споре, ты запрещаешь читать себе то и другое, ты обрекаешь себя на основательное изучение чего-нибудь. Будешь или нет чем заниматься основательно – это вопрос, но позабыть существование всех других областей, кроме той, которую избрал, наконец, удается.*

*А сначала происходит борьба и борьба тяжелая: с одной стороны, – естественное философское стремление ко всем предметам человеческой мысли сразу, с другой – убеждение, что желать сразу все – значит ничего не знать. Кто думал в молодости, тот никогда не позабудет массы и комических, и горьких эпизодов этой борьбы.*

*Что же выходит из этой борьбы на деле. Разное и большей частью не особенно утешительное. Кто забирается в науку, в ту или другую, и на всю жизнь уже более не выходит из своего тесного уголка. Кто ревностно обратится к заучиванию всевозможных учебников, а кто – имея их легион – убедится вышеупомянутым способом в суетности философствования, всяких споров, постороннего чтения и с легкой совестью пойдет по части безделья.*

*Читательница! Вероятно, вы уже держите против меня обвинительную речь?*

*«Что же это такое? С одной стороны, у вас (т. е. у меня) молодые люди все знают. Жалуются, что ничего нового не встречают. С другой – признаются, что ничего не знают, что им изучать да изучать, чтобы иметь право рассуждать».*

*И это, однако, так. Дело в том, что в одном и другом случае принимаются разные вещи. Когда говорится: «ничего нового»,разумеются различные общие взгляды, как о них излагается в разных журналах, газетах, обращающихся к общей публике книгах. Когда признается невежество, имеют в виду научное изучение предмета, научные данные. И таким-то процессом из человека, как он описан в предшествующих частях статьи, выходит то, над чем вы плачете, чем вы воюете там у себя: в Орехове, Мариуполе и т. д.*

*Что же делать? Как бы могло быть иначе? Скажу, что думается мне на этот счет, не претендуя, конечно, на полное разрешение вопроса.*

*Мне кажется, что основной целью молодости должно было приучить себя думать. Вы возмущены, Читательница? – «Экое диво! – говорите вы, – мы все думаем. Что же и делает молодежь, как не думает!»*

*О нет! В том-то, по-моему, и дело, что думают мало. Думать – это упорно исследовать предмет, иметь его в виду и ныне, и завтра, писать, говорить, спорить о нем, подходить к нему с одной и другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения о нем, устранить все возражения, признать пробелы там, где они есть, короче – испытать и радость, и горе серьезного умственного напряжения, умственного труда. Только так действуют теперь в молодости, и никогда впоследствии не согласишься расстаться с этими ощущениями, променять их на что-нибудь, только тогда умственная потребность окажется действительно неистребимой потребностью.*

*Ведь то, что наблюдается в первой молодости, есть главным образом собирание фактов, работа фантазии, удовлетворение любопытства, короче – легкое, поверхностное знание предмета. Работа собственного логического элемента незначительна. И не мудрено, что ощущения от упражнения низших элементов жизни не будут достаточны и скоро позабудутся. Только человек, действительно развивший в себе логическую силу, будет всегда неудержимо влечься в область мысли. Итакой переход к периоду логической работы от периода фантазии неизбежен, если человек не хочет разорвать с умственной жизнью. Потому что это и есть естественный переход, потому что это и есть умственный рост. Суть неудачи переходного периода в том и заключается, что низшая умственная работа, как она представляется первой молодости, является теперь анахронизмом, отжившей стадией, а народившейся логической силе не дают настоящего дела.*

*С умственным организмом та же история, что и с физическим. Молоко, в свое время вполне удовлетворительная еда, с ростом тела оказывается недостаточной, даже противной, раз употребляется исключительно. Чтобы организм развивался и крепчал, необходима впоследствии замена ее более сложной пищевой смесью. Итак, период естественной пищи – молока – пережит, но зато период искусственной сложной пищевой смеси требует для себя большего внимания, если желают вести организм по нормальному пути.*

*Как же должен осуществляться этот естественный разумный переход от поры молодости в фазу полного умственного развития, переход, обычно так несчастливо исполняемый? Вообще сказать кратко, это должно выразиться в специальном научном изучении чего-нибудь. И это, конечно, возможно для вообще учащихся лиц, к какому бы заведению (включая сюда и домашнее образование) они ни принадлежали. Все они – кто в химии, кто в юридических науках, кто в педагогике – между предметами общего образования должны обдумать, изучить отдельные предметы так, как это изучение представлено впереди, то есть давши надлежащую серьезную трудную работу логической силе, давши ей вполне развернуться. Раз это сделано, раз логическая сила забрала верх, окрепла, смотрите, как естественно переходит период молодого умственного возбуждения в период трезвой мысли!*

*Мы допустили, что в переходное время падает возбудимость, но при естественном рациональном переходе это не кончается полным незаменимым ущербом. Если взрослый ум не имеет столь частых случаев восторгаться, разочаровываться и т. д., зато, конечно, его более редкие ощущения, наверное, глубже. Новое не только не исчезает, напротив, открывается бесконечная область нового. Где конец человеческой науке? Не на каждом ли шагу вы встречаетесь с новыми соображениями, раз приучили себя думать? Не бойтесь распрощаться и с философией. Ваша деятельная мысль раздражается всем попадающим под глаза, ставит вопросы за вопросами – и скоро опять дойдет до неотложной надобности общих всеобъемлющих принципов, но пойдет серьезно, твердою ногою, от честных вопросов.*

*Итак, думать, творить в умственной области – вот конечная цель умственной силы.*

*Приучить себя думать, поставить в надлежащие условия деятельности логическую силу – вот конечная задача эпохи развития человека. И истинное человеческое счастье гарантировано только тому, кто вовремя понял эту задачу и все свое время и труд отдает ей. В пору молодости природа как бы дразнит, возбуждает вкус к радостям умственной жизни,*

*как бы в дверь показывает интересное привлекающее царство мысли. Но войдет в него только тот, кто, очарованный его видом, предпримет серьезную и трудную работу, чтобы сделать себя достойным его.*

*Dixi!*<sup>7</sup>

### **Хроника**

*16 августа прибыл в Петербург с остановкой в собственной квартире коллежский секретарь Д. И. Павлов.*

*Нас просят известить, что предполагавшийся брак профессора и лаборанта А. Л. Потылицина<sup>36</sup> с одной из слушательниц Высших женских курсов по странным обстоятельствам (к сожалению, ближе неизвестным Редакции) внезапно расстроился.*

*Доктор С. А. Х.<sup>8</sup> получил назначение в Кронштадт, в местный батальон, и 20 августа должен отбыть к месту своего служения. В настоящее время он находится в очень тяжелом положении, изыскивая средства на проезд из Петербурга в Кронштадт.*

*Товарищ делопроизводителя в Департаменте необложных сборов Н. С. Т в первых числах августа с.г. после долгих поисков и бесконечных колебаний решил приобрести в магазине Целибеева (что в Гостином дворе) новые ботинки за 6 р. 15 к. Ботинки так понравились почтеннейшему бумагомараке и рифмоплету, что еще и теперь было, около 20 августа, он не перестает ими любоваться и даже гораздо в большей степени, чем знаменитой пиджачной парой. Кстати, о последней. Не прошло и двух месяцев со дня приобретения, а уж университетский портной, сторож минералогического кабинета Кириллов, зашибает порядочные деньги, замаскировывая, по возможности, часто обнаруживающиеся разложения на составные элементы.*

*13 августа известный нам доктор Х. встретился в Летнем саду со своим старым приятелем и не выдержал. Положив начало в Летнем саду, сильно заложив на пароходной пристани около Летнего сада, основательно заправился у Палкина в прекрасном обществе и окончательно потерял сознание на островах. В редакции имеется собственноручное письмо к редактору вышеупомянутого врача, в котором он, описывая свои похождения, ни слова не намекает на раскаяние и на исправление в будущем.*

*Мы получили достоверные известия, что высшие женские курсы уже переведены на Сергиевскую улицу в дом Боткиной (быв. Сумарокова). В нынешнем году слушательницы Курсов получают возможность слушать лекции по химии профессора Менделеева и будут иметь счастье часто любоваться на прекраснейшего Д. П., который будет ассистировать по химии.*

*19 августа вечером в квартире Васильева (дядюшки вашего почтеннейшего редактора) произошло первое свидание коллежского секретаря Д. П. Павлова со слушательницей медицинских курсов Р. С. Руденко. При этом свидании Р. С. не могла сдержать своих чувств и к досаде многих молодых господ чмокнула его в губки. Последний же не оставался в долгу и почтительнейшие (впрочем, испросив сперва позволения) приложился к ее ручке.*

---

<sup>7</sup> Я сказал! (лат.) (прим. сост.).

<sup>8</sup> Сергей Александрович Холмовский (прим. сост.).

*17 августа 1879 г. некий коварный злоумышленник похитил у Н. С. Т кабинетный портрет одной молодой особы С. В. К. Преступление совершено искусно. Пострадавший отнесся к своему несчастью чрезвычайно равнодушно.*

---

#### **Объявления**

*Потерян жених с кличкой «Сашка». Приметы: долговязый, косой и сильный к выпивке. Нашедших просят доставить за громадное вознаграждение по следующему адресу: Пески. Дом Салтыкова Р. С. Р.*

---

*Молодой доктор от безделья и долгого отсутствия в практике, рискуя потерять и последние еще оставшиеся у него медицинские познания, решается в отчаянии предложить свои услуги почтеннейшей публике бесплатно. Адрес: Шпалерная, доктор Павлов (редакция сильно сомневается как в пользе этого объявления, так и последующего).*

---

*В непродолжительном времени появится в печати новое сочинение кандидата прав Н. С. Т. под заглавием «Швайпольд Феоле и его баварская типография» или «Не читай без разбора всякую печатную чепуху». А то как раз в данном случае и наткнешься на нее. Сочинение это всем желающим будет высылаться немедленно и бесплатно. Тут же предлагаются услуги по филологии и славянским наречиям за самую дешевую цену. Адресоваться письменно и устно: Университет, номер квартиры 2, Н. С. Т.*

---

*Потеряны серебряный портсигар и золотые часы на Невском недалеко от «Общества для закладки движимых имуществ». Нашедшего просим доставить по ниже написанному адресу и извинить, что нечем его вознаградить. Кронштадт. Врачу местного батальона С. А. Х.*

*Сбежала коломенская страсть светлой шерсти. Просят доставить на Шпалерную улицу д-ру П.*

---

*М. О. Т. извещает своих знакомых о кончине своей страсти (убитой преступными руками приятелей) к одной замечательной интересной особе. Просят пожаловать на поминование в гостиницу Европа вечером 22 августа, будет очень и очень порядочная выпивка.*

---

*Примечание редакции. Третье объявление обязывает редакцию к некоторым объяснениям. По житейскому закону – рыбак рыбака видит издалека: познакомились некий седовласый купец, измысливший путем литературной славы получить некоторые житейские выгоды и увековечить свое имя, и с другой стороны, известный уже вам наш почтенный сотрудник, богатый идеями с неизменным зудом в руках. Условия знакомства вполне определенные. За известную довольно значительную плату наш сотрудник должен пожертвовать своим правом автора на следующие произведения: на основании ученых источников должно быть написано исследование в 4 печатных листа о первом типографике славянских книг Швайпольде Феоле, что теперь уже благополучно и исполнено.*

*Редакция считает своим долгом не согласиться с замечанием автора Хроники по поводу о приключениях с доктором Х. По личным нашим наблюдениям раскаяние есть и очень значительное.*

#### **Ответы Редакции**

*Ваше самоощипание, Читательница, очень и очень знаем по личному опыту. Припадок – скоропреходящий. Надеемся, что теперь снова горит в вашем сердце солнце жизнелюбности. Подробности – при недалеком, надеемся, свидании.*

*Просьба редакции. Передайте от всего состава редакции душевное приветствие Авдотье Михайловне.*

*С глубокой благодарностью к Саре Васильевне за внимание к нашему литературному пыхтению остаемся.*

*Сотрудники и Редактор-издатель*

*Ив. Павлов*

## **Третий курс**

После летней переписки встретила я с Иваном Петровичем как со старым близким другом.

Тут только первый раз я обратила внимание на его наружность. Удивительно, не правда ли?

Но я так много видела людей, что внешность не производила на меня впечатления. Старалась я проникнуть в душу. Интересовала меня всегда жизнь духа! Всякого нового знакомого я стремилась прочесть, охотно перелистывала в разговоре его мысли, чувства и бросала, если не находила ничего интересного. Поэтому-то и любила я новые знакомства, как новые книги.



Иван Петрович Павлов. 1871 г.

Иван Петрович был хорошего роста, хорошо сложен, ловок, подвижен, очень силен, любил говорить и говорил горячо, образно и весело. В разговоре-то и сказывалась та скрытая духовная сила, которая всю жизнь поддерживала его в работе, и обаянию которой невольно подчинялись все его сотрудники и приятели. У него были чудные русые кудри, длинная русая борода, румяное лицо, ясные голубые глаза, красные губы, совершенно детская улыбка и чудесные зубы. Особенно нравились мне умные глаза и кудри, обрамлявшие большой открытый благородный лоб. Да, по правде сказать, полюбились мне все в моем новом интересном друге.

Приехали мы с юга втроем. Кроме меня с Кией, приехала наша подруга Люба. Это была красивая, стройная, высокая девушка, очень разумная и интересная собеседница. Всю дорогу я говорила ей об Иване Петровиче и уверяла, что оба они самая подходящая пара.

К моему удивлению, они не понравились друг другу. Люба поселилась в семье офицера, приятеля своего брата, и ушла от нас в веселую атмосферу, мы же с Кией зажили по-прежнему.

Компания братьев Павловых стала посещать нас все чаще. Понятно, это не могло способствовать успеху наших занятий, и особенно сказывалось на мне, которой приходилось для заработка тратить все время на уроки.

Круг наших знакомых все увеличивался. По выражению Дмитрия Петровича Павлова, у нас был настоящий салон XVIII-го века. И действительно, кто только не Иван Петрович Павлов. 1871 г. бывал у нас! Флотские, офицеры всех видов оружия, адвокаты, художники, ученые, студенты, доктора и т. д.

Это не нравилось Ивану Петровичу. Особенно не нравилось ему, да и всей нашей близкой компании, ухаживание за мной уже немолодого не очень красивого адвоката.

Провалился адвокат в моих глазах после с гордостью произнесенной фразы «Я горжусь своими пороками». За эту неосторожную фразу я высмеяла его при всей нашей компании. Высмеивание было настолько удачно, что каждый мой выпад возбуждал общий смех. Все с уважением стали относиться к моему язычку.

Наш кружок был в восторге, когда я разделала этого гордеца. Это, однако, не мешало ему продолжать свои посещения. Все друзья старались не оставлять меня наедине с ним, как он к этому ни стремился.

Жили мы в это время на новой квартире в Манежном переулке. Узенький маленький переулочек (забыла, как он называется) вел на Фурштатскую, где был мой лучший урок. Я репетировала там пятерых детей. Урок был по вечерам, когда я возвращалась с курсов. Всегда кто-нибудь из друзей поджидал на углу переулочка и Фурштатской. Сам Иван Петрович на это не решался. Но был весьма благодарен нашим молодым друзьям: ветеринару М. и технологу Т., которые не пропускали ни одного дня моих уроков и дежурили на углах переулочка. Делали они это ввиду того, что адвокат тоже не пропускал ни одного вечера и часто предлагал покататься с ним в чудные лунные вечера.

Тогда один из молодых людей усаживался рядом с кучером лицом к нам и благодарил адвоката за счастливую мысль воспользоваться таким прекрасным вечером для катания. Можно себе представить разочарование адвоката! Меня же эти приключения только веселили.

Но раз, увы, решено было меня проучить. Как-то на бенефис Савиной брали дешевые билеты для всей нашей компании. Брал билеты всегда Д. П. Павлов и приговаривал: «Для этих барышень беру билеты с удовольствием: когда поручишь им пригласить подруг в ложу, они приглашают таких красоточек, одну лучше других».



### Памятник императрице Екатерине II и Александринский театр

На этот раз адвокат попросил у меня позволения взять для меня билет, на что я неосторожно согласилась.

Приезжаем в театр, все друзья поднимаются вверх, а я, о ужас, иду в бельэтаж, где остаюсь одна с адвокатом и большой коробкой чудесных конфет!

В антракте вся наша компания пришла ко мне и усердно набросилась на конфеты, но никто (даже Кия) не согласился остаться со мной в ложе. Весь спектакль пришлось просидеть мне с адвокатом вдвоем. Мое неловкое самочувствие скоро прошло, так как я увлеклась игрой Савиной и следила за каждым ее жестом и каждым ее тоном. Иван же Петрович долго не мог забыть этот мучительный «спектакль».

Подобные приключения могли бы повторяться не раз. Но всегда меня выручали мои юные приятели ветеринар М. и технолог Т., за что они пользовались неизменным большим расположением Ивана Петровича.

## Обыск

Жили мы спокойно и дружно под крылышком дорогой Елены Алексеевны.

Новая квартира наша была весьма незатейлива. Помещалась она в первом этаже и имела один вход со двора. Войдя, попадали в маленькую переднюю и налево от нее – кухню. Рядом с кухней – наша комната с Кией, затем общая комната – гостиная и столовая, в которой стоял рояль. Дальше следовала комната Кати – дочери Елены Алексеевны, затем комната самой Елены Алексеевны, вместе с которой жила студентка-медичка Лина Лоренц. В конце коридора жила кухарка Аннушка и ее племянница Настя – горничная.

Вот как-то, в конце ноября, появился у нас в кружке весьма яркий и услужливый человек. Аннушка объяснила, что это ее родственник, приехавший в столицу по торговым делам. Никто не обратил внимания на этого родственника. Он не только целые дни проводил у нас в кухне, но зачастую и ночевал там. Вдруг однажды, совершенно неожиданно, ночью, около 3 часов, явился целый отряд полиции производить обыску Кати. Понятно, и мы с Кией вскочили и

поспешили одеться. Никто из нас не мог объяснить причину этого обыска, так как не только Катя, но решительно никто в нашей квартире не занимался политикой. Только впоследствии мы узнали, что был донос на нее, как на племянницу анархиста Кропоткина.

Сидим мы с Кией во время обыска и обсуждаем это необыкновенное приключение. Вдруг тихо постучали к нам в дверь, мы открыли. Два весьма приличных господина очень вежливо попросили позволения войти к нам в комнату и отдохнуть, так как в остальной квартире очень много народу и шумно. Конечно, мы разрешили.

Вошедшие незнакомцы подсади к столу, за которым мы всегда работали, и попросили посмотреть наш альбом, лежавший на столе. На первых же страницах они увидели фотографии и весело воскликнули:

– Э-э! Да это наши общие знакомые. Вот Валерий Осинский<sup>37</sup>, повешенный в Киеве, вот Михаил Попов, сосланный, а вот Федя Сарсер!

– Это все братья наших одноклассниц, – сказали мы.

– Хорош же был состав вашего класса, – сказали они, смеясь.

Должна признаться, что некоего общего любимца Феди Сарсера и нельзя было не любить. Это была душа кристальной чистоты, безграничной доброты и с детской верой в людей. Для него зло было совершенно непонятно. Его ожидала участь Осинского, но мы все дружно выхлопотали ему разрешение свободно вернуться и умереть на родине. У него была скоротечная чахотка, и дни его были сочтены.

Затем мы поговорили с нашими гостями. Посмеялись над нашим простодумием и доверчивостью.

Как вы могли не обратить внимания на пребывание родственника кухарки рядом с вашей комнатой? Ведь мы знаем не только фамилии и лица всех тех, кто у вас бывал, но и темы ваших разговоров. Мы знаем, например, что вы живете научными интересами или веселой болтовней. И все это известно нам через родственничка вашей кухарки. Он умудрился не только все слышать, но даже и все видеть, что велось у вас. Позвольте вам пожелать всего хорошего и побольше осторожности в будущем.

Оказалось, что это были важные чины судебного ведомства. Обыск не имел для всех нас никаких печальных последствий.

## На святках

Подшли рождественские праздники. Павловы пригласили меня, Кию и студентку-медичку Руденку пойти на вечер к их дядюшке Васильеву. Он был двоюродный брат их матери. Дмитрий Петрович звал его «синодской крысой».

Это был скромный человек, служащий управления в большом доме на Литейном, где имел хорошую квартиру. Жена его была образованная дама. Их дочери – [Зиночке] – давал уроки меньшей из братьев Павловых, которого прочили в женихи девочке. Мать и отец Павловых были очень довольны этой перспективой, так как отец невесты говорил:

– На ее имя лежит в банке сорок тысяч. Кроме того, приготовлено много драгоценностей, мехов и кружев. Да в этом же доме я дам им и обмоблирую хорошенькую квартирку. И будут они жить, как у Христа за пазухой!

После неожиданной кончины жениха<sup>38</sup> невеста со всеми благами была назначена Ивану Петровичу.

Вот в этой-то семье, по приглашению братьев Павловых, мы и провели рождественский вечер. Пришли компанией в десять человек. Наслаждались праздничными угощениями, приятной обстановкой и веселились всюду, не обращая внимания на хозяев.

Собрались играть в «мнения», дочь хозяина, девочка пятнадцати лет, выразила желание принять участие в игре. Но Дмитрий Петрович сказал ей:

– Ты еще мала для этого, ничего не поймешь в наших шутках.

Каждый написал свое мнение обо мне. Дмитрий Петрович собрал все билеты и начал читать.

Прочел он: «Птичка-невеличка, а ноготок востер!» и закричал:

– Это написал Иорданка!

Второй билет: «О чем думает Сара Васильевна, когда ей не спится?» и ответил – Сара Васильевна всегда спит прекрасно и никогда не думает о таком болване, как вы».

Авторы мнений запротестовали, но тут Дмитрий Петрович крикнул:

– Молчите! Я нашел преступление! Женской рукой написано мужское мнение! И виновен в этом мой братец Ванька, нарочито севший рядом с Авдотьей Михайловной. Женщина не могла написать о женщине: «Хочу Создателю молиться, а сердце молится тебе!»

Тут поднялся шум и гвалт. Иван Петрович для всеобщего успокоения предложил играть в «веревочку». В этой игре принимали участие и хозяева. Иван Петрович с таким усердием прилагал свою силу, что хозяин с охами и вздохами вышел из игры. А у нас руки раскраснелись и припухли.

\* \* \*

На другое утро после вечера, проведенного у дядюшки Павловых, мы получили торжественное письмо от нашей дорогой Елены Алексеевны. Она приглашала нас на праздничный обед и просила оказать ей честь нашим посещением. С самого раннего утра в квартире стоял смех. Открылись двери из нашей комнаты в общую, нашим кроватям с помощью ковров и диванных подушек был придан вид диванов. Хвост рояля был выдвинут из общей комнаты в комнату Кати. Посредине почти пустой общей комнаты красовался обеденный стол с праздничной сервировкой.

Угощением мы были поражены: суп с пирогом, жареный гусь с яблоками и гречневой кашей и – о, верх блаженства! – большая форма чудесного крема... Разговоры шли самые оживленные и веселые.

Во время чаепития раздался звонок и пришел Юрий Дмитриевич – племянник Елены Алексеевны, московский студент, уже два месяца живший в Петербурге по делам. Он был мрачного вида, носил ботики, которых петербургские студенты никогда не имели, и говорил мрачным голосом об абсолютах. За это я и прозвала его «ботики-абсолютики».

Своим появлением Юрий Дмитриевич не внес веселья в нашу компанию. Впрочем, он усердно пил чай с вареньем; чтобы оживить его, Елена Алексеевна спросила:

– Юрий, как ты находишь мою молодую компанию?

На это он ответил, понурия голову:

– Лина у вас красавица, Авдотья Михайловна красива, Катя – хорошенькая, – а потом замолчал.

Все трое посмотрели на меня, посмеиваясь. Катя хлопнула его по плечу и сказала:

– Что же вы ничего не сказали о Саре Васильевне?

Не менее мрачно он ответил:

– Сара Васильевна лучше всякой красавицы.

Я показала длинный нос своим приятельницам и бросилась к нему с громким возгласом:

– «Ботики-абсолютики», напишите и выдайте мне аттестат на красоту!

– Ах, так это вы прозвали меня «ботики-абсолютики»? Ничего я вам не напишу.



Давил Абрамович Каменский

С этими словами он поднялся и заявил, что ему необходимо пойти закончить какой-то философский разговор.

Мне казалось, что «ботики-абсолютики» говорили слишком небрежно, и это меня обидело. Я гордо сказала:

– А-а-а! Вот вы как ко мне относитесь, знайте, что при первом же удобном случае я продерну для общей потехи вашу домашнюю философию, как продернула адвоката за его фразу.

Домашний философ поспешил уйти. Во дворе его встретила компания братьев Павловых и затащила обратно.

Мы хотели закрыть было дверь в свою комнату и там принимать своих гостей, но Елена Алексеевна пригласила и их войти к себе на чай и танцы. Тут-то пошла всеобщая потеха над суждением «ботиков-абсолютиков». Заиграла Елена Алексеевна кадрили. Катя танцевала со своим женихом, ветеринар с Линой, Дмитрий Петрович с Авдотьей Михайловной, а неистовый Егорка – со мной.

Иван Петрович не танцевал, а сидя за занавеской в нашей комнате, предавался печальным размышлениям, о которых рассказал мне много позже.

– Вот человек Егорка – знает ее только два месяца, а сумел уже высказать ей, как она ему нравится. А я никак не могу решиться сказать ей, что она для меня значит. Не будь ее здесь, я бы никогда не ходил сюда.

Тут он был потащен одной ангажированной дамой и принял участие в новой кадрили, устроенной братом Авдотьи Михайловны.

Среди нас был молодой студент из медицинской академии<sup>39</sup>. О его развитии мы понятия не имели, так как он не решался открывать рот в нашей компании. Зато он прекрасно пел баритоном, брал уроки у лучшего учителя по итальянской опере и влюблен был без памяти в Киечку, он не мог оторвать глаз от ее лица.

Вдруг встает он и, сверх обыкновения, останавливается передо мной, хотя его глаза влюбленно смотрят в сторону Кии:

– Мне приказано спеть вам арию. «Онегин, я скрывать не стану», – и замечательно спел ее.

Когда мы все поблагодарили его, и я пожелала узнать, кто доставил мне такое удовольствие, он ответил, что этого ему сообщать не приказано. И поспешил на свое место возле Киечки. А Дмитрий Петрович указал пальцем на Ивана Петровича, уже сидевшего, как и всегда, на окне за портьерой. Я подумала: у Кии брат-студент последнего курса, а дома богатый отец. У меня же дома – брат-гимназист и больная мать, оставившая на время по болезни свою службу. На все про все у меня только мой острый язык. Да потому я серьезно заявила:

– Теперь я, господа, не могу ответить на любезное ко мне обращение. У моих двух учениц переэкзаменовки, и сама я, как депутатка, занята устройством литературного вечера у нас на курсе, кроме того, обещала я «ботикам-абсолютикам» продернуть его домашнюю философию, значит не скоро дойдет очередь до разбора сегодняшнего ко мне обращения...



Серафима Карчевская (в центре) с подругами-сокурсницами. На обороте фотографии подписи: «Марта (прекраснодушная, но задирательная), Мефистофель (желтое шарообразное тело) и Капитан (доблестная молчаливость) засвидетельствовали свой педагогический триумф. Февраль 1880-го г.» и «Моему» хозяину «Ваньке»

Веселились мы до двух часов ночи, а на другой день у меня в одиннадцать часов был урок, который пропустить я никак не могла. Пришлось расставаться.

При прощании попробовала я разжалобить Юрия Дмитриевича и усиленно просила его выдать мне свидетельство для защиты от жестоких насмешек нападающих на меня приятелей.

– Они нисколько не жалеют одинокую беззащитную девочку, которую все здесь преследуют!

– Это вас-то преследуют, это вы-то беззащитная? – воскликнул Юрий Дмитриевич. – Да вы здесь первая заноза и всеобщий баловень!

Так и осталась я с прозвищем «заноза!»

## Литературный вечер

Праздник! Литературный вечер! Да еще такой вечер, в котором принимали участие все выдающиеся люди: писатели, певцы, певицы, музыканты! Ведь это такой восторг, от которого можно с ума сойти молодым девушкам, проведшим свои годы за книгами и серьезными разговорами.

Надела я черное платье, подруга приколотла мне свое белое кружевное пеню, на плече у меня развевался белый распорядительский бант. Вхожу в зал и от волнения никого не узнаю из своих друзей, протягивающих мне руку. Быстро мчусь к другому подъезду, к которому подъезжают прославленные гости.

В небольшом зале на белоснежной скатерти, покрывающей длинный стол, сервирован чай с бутербродами, холодными закусками, печеньем, фруктами, конфетами и разными винами. Я большая любительница сластей, но мне и в ум не приходит обратить внимание на угощение, когда в одной комнате со мной находятся Достоевский, Тургенев, Плещеев<sup>40</sup>, Мельников<sup>41</sup>, Бичурина<sup>42</sup>...

Достоевский молча прохаживается вдоль комнаты, прихлебывая крепкий чай с лимоном, Тургенев старается казаться спокойным, но как-то неудачно подшучивает над хорошенькими депутатками, окружающими его, Мельников усердно закусьивает, а Бичурина, приблизив к себе графинчик с коньяком, выпивает рюмку за рюмкой. Тогда Мельников встает, подходит к ней, хлопает ее по плечу и говорит:

– Сократись, Аннушка! Помни, что ты на детском празднике.

– Да я только, чтобы согреться, – говорит она, встает из-за стола и идет в зал полюбоваться на этих «детей».

Один волшебный сон!

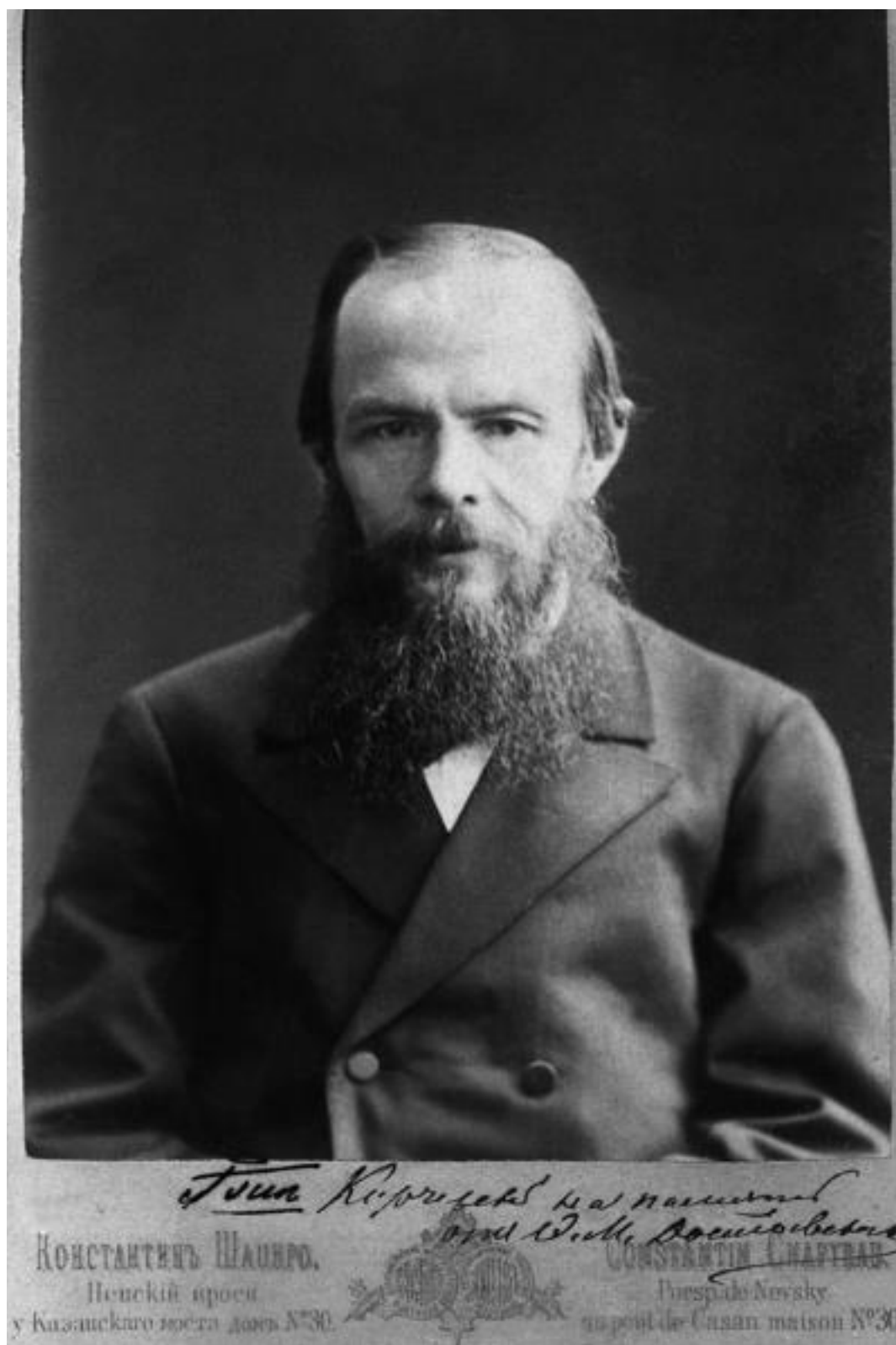
Первым читал Тургенев. Вышел величественный человек с красивой осанкой, с гривой седых волос над выразительным умным лицом. Раздался звучный голос. Читал Тургенев артистически, разными голосами и умел тоном голоса охарактеризовать каждое лицо. «Певцы» стояли перед публикой как живые. По окончании гром аплодисментов и веселые возгласы приветствовали Тургенева.

Когда все стихло, на эстраде появился маленький человек, бледного болезненного вида, с мутными глазами, и начал слабым, едва слышным голосом свое чтение.

– Пропал бедный Достоевский! – подумала я.

Но что случилось? Я услышала вдруг громкий звучный голос и, выглянув на эстраду, увидела «Пророка»! Лицо Достоевского совершенно преобразилось, глаза метали молнии, которые жгли сердца людей, а лицо блистало вдохновенной высшей силой!

По окончании чтения началось настоящее столпотворение. Публика кричала, стучала, ломала стулья и в бешеном сумасшествии вызывала: «Достоевский!»



Федор Михайлович Достоевский.

Фотография из экспозиции Мемориального музея-квартиры И. П. Павлова в Санкт-Петербурге. На фото дарственная надпись: «Г-же Карчевской на память от Ф. М. Достоевского»

Я не помню, кто подал мне пальто. Закрывшись им, я плакала от восторга! Как я дошла домой, и кто меня провожал, решительно не помню. Уже позже узнала я, что провожал меня Иван Петрович. Это сильно сблизило нас.

Вся музыка, все пение этого вечера были только прелюдией для пророческой речи Достоевского. Все время твердила я:

– Да, он зажег сердца людей на служение правде и истине!

Тут же решила я пойти к Достоевскому за советом относительно моих верований, что исполнила впоследствии.

Должна признаться, что подобного очарования, подобного душевного подъема я никогда потом не испытывала.

Ни у меня, ни у провожавшего меня Ивана Петровича не было денег на извозчика, и мы прошли пешком от угла Невского и Мойки до Манежного переулка около Спаса Преображенья.

А провожавший меня Иван Петрович должен был вернуться на Васильевский остров в университет, где он жил тогда в квартире своего брата<sup>43</sup>.

После нашего праздника мы, депутатки, поехали благодарить Федора Михайловича за его любезное участие в нашем вечере. Одна из нас попросила его подарить нам на память свои фотографии. Он добродушно согласился и на каждой карточке подписывал имя и фамилию той, кому давал, например, «Марии Степановой».

Когда дошла моя очередь, я сказала: «Сара Карчевская». Он недоброжелательно посмотрел на меня и написал: «Госпоже Карчевской»<sup>44</sup>.

## Гончаров

При устройстве нашего курсового литературного вечера мы желали собрать всех наших литераторов. Хотелось, чтобы было чем вспомнить веселые годы учения, когда мы разъедемся в отдаленные углы нашего обширного отечества.

Были мы у Щедрина, он принял нас больной, в халате, почти лежа в кресле, сказал, что читать не может, а хочет просто на нас посмотреть:

– Вы производите впечатление умных девочек, но для меня вы загадка. Дай бог, чтобы отгадка получилась хорошая и полезная для нашей Родины.

И уходя, мы слышали, как он продолжал свой разговор с находящимися в комнате людьми:

– Боюсь, что потребность высшего женского образования преждевременна!

От него мы поехали прямо к Гончарову, который жил на Моховой, в первом этаже. Нас ввели в большой уютный кабинет. Вышел старичок, очень чистенько одетый, с ласковой улыбкой и со словами:

– Здравствуйте, деточки! Прежде всего позвольте угостить вас конфетками! Когда мы отрекомендовались как депутатки от Курсов, он схватил себя за голову обеими руками:

– Пожалуйста, не пугайте меня, мы лучше поговорим с вами попросту, по-семейному. Сядем, закусим конфетками, – сказал он, кладя себе одну конфетку в рот – и поговорим.

– Вы хотите, чтобы я публично читал на вашем литературном вечере? Я совсем не умею говорить и никогда не читал публично. Я могу испугаться так, что убегу с эстрады, и выйдет скандал. А я не скандальник. Лучше мы сделаем так: я на вечер возьму билет (он выложил при этом 25 рублей), а приеду к вам позже, когда вы успокоитесь после своего вечера, приеду в гости к вашему курсу, который так ласково меня вспомнил. Вы угостите меня чаем, а я вам почитаю.



Действительно, вскоре после литературного вечера Иван Александрович написал нашей начальнице письмо, в котором просил собрать наш курс в аудитории в известный день и час и напоминал, что мы обещали его угостить чаем. Он был точен и приехал со своим личным секретарем. Прошелся по нашим курсам, осмотрел аудиторию, вошел в зал, где был сервирован чай и сказал:

– Вот отлично, лучше всего беседовать за чаем.

Он стал спрашивать, кто и откуда приехал, какие мысли и желания привлекли нас сюда, и нашли ли мы здесь удовлетворение, прочел нам отрывок из своего «Литературного вечера». Читал он действительно неважно. Одна из наших молоденьких слушательниц, очень наивная девочка, спросила его:

– Почему вы в «Обломове» так часто упоминаете о кардамоне?

– Да потому, дорогая, что я сам очень люблю кардамон!

Надо сказать, что разговоры вообще были самые неинтересные. Кто-то задумал поговорить о Вере из «Обрыва». Он махнул рукой и сказал:

– Рано вам думать об этих вопросах! Я бы вам рекомендовал мое любимое произведение, которое мне никогда не надоедает.

Мы все навострили уши.

– Читайте все «Фрегат Палладу»!

С этими словами он встал и попрощался.

– Я всегда рано встаю и рано ложусь.

После его отъезда у нас пошли оживленные разговоры. Большинство было недовольно этим свиданием, так как посещение состоялось по моей усиленной просьбе, то я горячо отстаивала любимого автора. Я говорила, что он уже действительно старый, отошел от жизни, зато относится к нам, как к родным детям.

В это время подошел наш инспектор, высокоталантливый педагог И. М. Рашевский. Он так читал методику русского языка, что его аудитория всегда была переполнена слушательницами из других отделений. Хотя я была математичка, но не пропускала ни одной его лекции, он потому обратил на меня внимание.

– Вот случай поговорить с вами, – сказал он, – помните наш разговор в первый день вашего приезда в столицу? Какая вы тогда были горячая космополитка! Ну, а теперь горячо защищаете автора «Обломова?»

– И дым отечества мне сладок и приятен, – ответила я.

– Ну и хорошо. Так часто бывает с горячими и прямыми людьми, не скрывающими своих убеждений. Спасибо, что вы затащили Гончарова, – сказал он. – Мое мнение в глазах молодой аудитории не имеет такого значения, как ваше, студенческое.

## Тургенев

Иван Сергеевич! Иван Сергеевич Тургенев! Как много с этим именем связано самых дорогих, самых радостных воспоминаний молодежи 70-х годов.

С детства я была поклонницей Пушкина, а дальше – красота языка Тургенева и чистая поэзия его произведений меня буквально покорили.

Будучи на курсах, я видела Тургенева один раз на нашем блестящем празднике – литературном вечере. Как и все, я была очарована мастерством его чтения, тогда я имела возможность обменяться с ним двумя-тремя фразами, очень была огорчена, что не могла поговорить побольше. Но судьба мне благоприятствовала.

Я уже два года училась на Педагогических курсах. Бестужевские тогда только что открылись. Я заходила туда часто повидаться со своими приятельницами и от души полюбила одну из дам-патронесс Ольгу Александровну Мордвинову.

Это была маленькая старушка, косенькая, всегда очень скромная, правильно причесанная, в сером платье с длинной прямой кофтой. У нее была такая ангельская улыбка, что так и хотелось ее расцеловать, поиграть с ней. Это я себе позволяла, пользуясь ее добротой. Я вертела ее, целовала, тормошила, пока она не выбивалась из сил.

Она хорошо запомнила мое лицо. И всегда весело раскланивалась со мной при встрече. Встречались же мы часто: я жила в Манежном переулке во втором или третьем доме от Спаса Преображенья, а она – через дом от меня, на углу, в стареньком трехэтажном домишке.

Вот однажды иду я с урока и вижу: в окне стоит Мордвинова, она с улыбкой мне поклонилась, и я решила зайти к ней. Вхожу. Сидит Н. В Стасова<sup>45</sup> (тоже дама патронесса) и – о радость! – Иван Сергеевич Тургенев.

Мордвинова рекомендовала меня:

– Это моя хохотунья, баловница.

Суровое лицо Стасовой, величественная фигура и изящный поклон Тургенева меня поразили. Я никогда не видала такого изящного поклона, грациозного движения, а вежливые слова – «очень рад познакомиться с молодым русским поколением» – меня смущали. Вопрос же:

– Скажите, вы знакомы с моими произведениями? – прозвучал обидой, которая мне вернула самообладание.

– Мы все знаем ваши произведения. И многие места из них помним наизусть. Красота вашего слова для нас дороже музыки. Еще в старшем классе гимназии весь класс писал сочинение на тему: «Типы смирившейся и непокорной женщины» из Ваших произведений.

– Очевидно, у вас был хороший учитель. Кого же вы выбрали?

– Я взяла Лизу из «Дворянского гнезда» и Вареньку из «Нови».

– Которая же более всего дорога вашему сердцу?

– Конечно, Лиза! – ответила я, не задумываясь. Обе старушки всплеснули руками, а Иван Сергеевич даже приподнялся. Обращаясь к старушкам, он сказал:

– Вот видите, я всегда говорю, что только русская женщина правильно распорядится своим образованием. Она пронесет его через всю жизнь и свои идеалы вложит в свою семью.

Старушки заметили:

– Такой взгляд большая редкость.

– С детства моей любимой героиней была Татьяна Ларина.

Иван Сергеевич, улыбаясь, спросил:

– Неужели за ее слова:

*Но я другому отдана,  
И буду век ему верна...*

– Да, сказала я, – из этих слов видно, что она помнила обет, данный перед лицом бога: всю жизнь посвятить заботам о счастье близкого человека.

В это время появились новые гости. Я поняла, что мне здесь не место и стала прощаться. Иван Сергеевич сказал:

– Последний вопрос, какие науки вы изучаете?

– Математические, – ответила я.

Обращаясь к гостям, Иван Сергеевич заметил:

– Вот удивительно, – я часто встречал верующих математиков.

Попрощалась я, ушла и больше никогда его не видела.

## Мусоргский

Во время моего студенчества, в Ротах (кажется, в Тарасовом переулке) помещалось общество дешевых квартир. Это общество имело довольно обширный зал со сценой, который отдавался в наем. За вечер, с освещением и прислужгой, брали 100 рублей. Этот зал обыкновенно нанимали студенты, всегда с одним условием, чтобы концерт или спектакль были, возможно, короче и больше времени оставалось бы на танцы. Так как я и мои друзья любили и выступать на сцене, и потанцевать, то мы не раз абонировали этот зал.

Среди студенчества особенным успехом пользовался певец доктор Ильинский<sup>46</sup>, которому всегда аккомпанировал его приятель Мусоргский. Мы относились к нему как к обыкновенному аккомпаниатору.

Однажды отправилась я приглашать Ильинского.

– И аккомпаниатор будет тот же? – спросила я.

– А Вы знаете, кто этот аккомпаниатор? Это знаменитый композитор, за один звук которого люди платят бешеные деньги!

– Увы! Как он опустил, – сказала я с глубокой жалостью.

Когда мы сговорились о вечере, я заметила:

– Как вы грязно икаете. Ведь вы доктор, это же не гигиенично.

Очевидно, замечание обидело молодого доктора, но он ничего не возразил.

Мне очень не нравилось, что на наших вечерах в буфете было много выпивки. Вот я и решила ключ от буфета взять в свои руки.

Началось пение. В антракте подходят ко мне Ильинский и Мусоргский и спрашивают, почему у нас нововведение – в буфете нельзя получить ни рюмки водки:

– Говорят, что все напитки у вас под ключом?

Я ответила:

– Стыдно интеллигентным людям искать веселье в рюмке.

Тогда Мусоргский – высокая полная фигура с обрюзгшим лицом – опустил на колени и стал просить:

– Хоть одну рюмочку!

Ильинский же заметил:

– Эта молодая особа – гигиенистка. Ты от нее ничего не получишь. Я пойду пить хоть чай с вареньем.

Мусоргский покорно выслушал мою тираду о вреде алкоголя и сохранении человеческого достоинства. Во время этой речи он очень пристально посмотрел на меня и сказал:

– К сожалению, если бы вы даже предложили всю свою молодую энергию, деловитость и жизнерадостность как опору для борьбы с моей болезнью, то, как честный человек, я бы Вам сказал одно слово: поздно! Я не один раз, а много раз пробовал, и все пошло прахом!

(Это «поздно» (ужасное) я слышала уже второй раз в своей жизни).

– Теперь выслушайте, что я Вам скажу. Вы поступаете со мной безмерно жестоко. Вы отказываете мне в маленькой выпивке, без которой я не могу провести вечер. А эти вечера среди учащейся молодежи составляют мое единственное утешение, мои праздники. Видеть эти молодые лица, молодую энергию; эти глаза, блестящие, как звезды; слушать смелые речи – все это пробуждает мою заснувшую душу и веет на меня теплом и радостью.

– Отдаю Вам ключи от напитков, сама не буду танцевать, пойду домой и проплачу целую ночь.

\* \* \*

Еще один раз виделась я с Мусоргским. Двое из наших студентов-земляков, считавших меня умной особой, наговорили Мусоргскому всяких похвальных слов про мой реферат, написанный еще в гимназии (сказать по совести – совершенно неудачный) «Об историческом значении царствования Бориса Годунова». Вот по этому поводу и явился ко мне Мусоргский. Я была поражена.

– Здесь, где к Вашим услугам профессора и публичные библиотеки, Вы приходите к недоучившейся девочке, да к тому же мало интересующейся историческими вопросами. Странно, в высшей степени странно!

Он засмеялся и сказал:

– Часто младенцы видят то, что скрыто от премудрых и разумных. Вот, например, мне нравятся Ваши заключительные слова, что Борис Годунов останется навсегда высокопоэтическим лицом.

Дальше мы немного поболтали и посмеялись. Он вспомнил нашу первую встречу.

– Знаете, я ведь не злоупотребил тогда Вашим доверием и передал ключ от напитков распорядителю вечера, сам же закончил праздник, выпив с приятелем на брудершафт. Больше я Мусоргского не видала.

## Достоевский

Переживала я одно время среди неверующих знакомых и друзей. Много передумала я, разбирая свою душу, и что удивительно – всегда находила себя правой. С другой стороны, укоряла себя в пристрастии к себе и неуважении к чужим мнениям.

Побывав однажды у Достоевского как депутатка, я решила обратиться к нему за помощью.

Выходит Федор Михайлович. Взглянул на меня строго, неприветливо и сказал, что занят. Очевидно, я произвела на него при первом посещении с депутатами неблагоприятное впечатление, и это неблагоприятное впечатление отметило меня у него в памяти.

Еще труднее мне было решиться повторить свой визит. В этот раз меня привели в кабинет. Вежливо, но сухо Федор Михайлович пригласил меня сесть.

С места в карьер начала я свою исповедь. Когда я сказала, что воспитывалась в религиозной православной семье, Федор Михайлович воскликнул:

– Как в православной? Почему же вы Сара?

Я объяснила, что я Серафима, но так как и мать моя была Серафима, то отец звал меня Сарой. В память отца, которого мы обожали, и осталась я на всю жизнь Сарой.

Вскочил с места Федор Михайлович, схватил меня за обе руки и сказал:

– Как такое прекрасное имя вы променяли на какую-то Сару?

После этого объяснения и лицо его преобразилось, и отношение стало нежно и внимательно.

Здесь в первый раз в жизни я поняла сама свое религиозное верование. Прежде всего я с горем создалась, что не могу наслаждаться библией; что для меня это история чуждого для меня народа; что не люблю я Иегову как жестокого, мстительного Бога; что мне вовсе не нужны все пророчества о пришествии Мессии. Верую я в Иисуса Христа ради него самого, в его личность, полную кротости, смирения, полную огнем истины, лучезарную и свежую, а главное – полную безграничной любви. Это господь ясный, светлый, радостный, принесший нам великое учение и великое обетование! Все его заповеди полны безраздельной любовью (это не «око за око», не «зуб за зуб!») и верой в безграничное милосердие отца нашего небесного. «Будьте совершенны, как совершенен отец наш небесный», «люби ближнего своего как самого себя». Кто когда-либо может достигнуть этого идеала?

– Как же Вы уверовали в мать божью?

– Очень просто! Только святая женщина могла заслужить столь великое счастье. И мы не можем ее позабыть и не молиться той, которая сама испытала человеческие муки и поэтому легче поймет нас и пожалеет!

– Как же Вы согласуете слова спасителя: «Там будет плач и скрежет зубов» – с беспредельным милосердием божьим?

– Может быть, это угроза для слабых? Может быть, и уступка духу времени среди жестокыйного народа! Что Вы, великий сердцевидец, скажете мне? Вам, первому, изложила я свое верование. Поймите, что боюсь я за свою слишком смелую мысль: не говорит ли во мне гордыня? Я, право, не считаю себя умнее других, но не могу оторваться от своей веры! Помогите мне, примирите меня с моей совестью. Веруя, я живу не одна, а под руководством святой троицы и пречистой богородицы! Что же я буду делать одна в этом необъятном мире? Я не особенно умна, я мало образована, а приходится защищаться от людей умных и образованных.

Тут я заплакала.

Федор Михайлович встал, положил свою прозрачную руку мне на голову и сказал:

– По вере Вашей и будет Вам. Не волнуйтесь и отстаивайте свою самостоятельную мысль. За Вас я спокоен: Вы всегда выйдете на святую дорогу веры, даже если бы Вы когда-либо потеряли ее в жизненных передрыгах. Ваше отношение к библии – народная черта. Православные редко любят душой эту книгу.

– Часто спрашиваю я себя – продолжала я – где же истина. Что-то не видно ее в жизни!

О, это великий вечный вопрос! – перебил меня Федор Михайлович. – Истина только у господ бога, и искра ее запала в человеческое сердце. Эта искра заставляет людей искать истину и стремиться к ней, эта искра сделала из скотов людей, подняв их помышления к богу и заставляя их стремиться к идеалу! Блажен ищущий правду и истину, ибо найдут все желанное, веруя в господ и руководствуясь в жизни его учением!

Боже, как я была счастлива! Помню, как все было мне дорого и свято: и Кузнечный переулок, и кабинет, а главное – одухотворенное лицо с блестящими глазами и прозрачная рука, на которой играл солнечный луч. Слова «Приходите через неделю в эти же часы» – прозвучали как благовест.

Вторично полетела я на крыльях счастья. Говорили о сомнениях, терзавших меня. Сказала я словами Гейне:

– «Коршун сомнения грызет мне сердце».

– А Вы любите Гейне?

– Нет. Я его знаю, но душа моя не лежит к нему.

– Это хорошо, я его тоже не люблю. Что же Вы так боитесь сомнений? Знайте, что без сомнений не может быть горячей веры. При сомнениях Вы строго перебираете всю Вашу душу, все Ваши мысли. Многие Вы осуждаете, особенно в своих мыслях, и с облегченным духом снова успокаиваетесь на чистом и высоком веровании. Борьба с сомнением закаляет душу.

Я вспомнила сцену из «Братьев Карамазовых», как успокоился Алеша после чудного сна, когда разложение умершего старца ввергло его в сомнение.

– Должна я была сознаться, что сомневаюсь мыслями, а не сердцем. Не могу я Вам сказать, с каким чувством встаю к пасхальной заутрене. Сердце мое трепещет, меня одолевает страх, я жду чего-то страшного, и при первых звуках: «Христос воскрес!» такая радость наполняет мою душу, что слезы невольно льются из глаз.

На это я услышала:

– Вполне Вас понимаю!

Много при этом я рассказывала о своем детстве, и Федор Михайлович умилился тем, что господь принимал такое непосредственное участие в нашей жизни. Он позвал из соседней комнаты Анну Григорьевну послушать мои рассказы. Смеялся он до слез, что мы в детстве полоскали рот после произнесения слова «дурак».

– Какого писателя Вы больше всего любите? – спросил Федор Михайлович.

– С детства я поклоняюсь Александру Сергеевичу Пушкину.

– Рад за Вас. Как хорошо Вы сказали: Александр Сергеевич Пушкин! Мы должны и в мелочах выражать ему беспредельное уважение. На нем развился Ваш художественный вкус. Вы хорошо говорите.



Казанский собор

После этой беседы перестала я бояться своих сомнений. Когда я призналась, что захожу в Казанский собор, идя с курсов, и поверяю пречистой матери свои мысли и чувства, то опять Федор Михайлович сказал:

– Вот удивительно, я тоже люблю икону Казанской божьей матери.

Уходя, я вновь услышала:

– Через неделю в эти же часы, – я, безмерно счастливая, пошла в церковь Спаса Преображения поблагодарить бога за свое великое счастье.

Наступило и третье свидание. Оно было короче прежних, так как Федор Михайлович должен был куда-то ехать.

Сказала я, как часто во время богослужения думаю о том, что нехорошо столько раз повторять одни и те же молитвы, что искреннее молитвенное настроение не может быть слишком продолжительным, и что на такие же замечания других людей я не знаю, как отвечать, так как сама разделяю эти мысли.

– Знайте, что церковная служба и все образы проникнуты глубокой мыслью, что над постройкой этого чудесного здания работали высокие чистые души праведников, и не нам, грешным и непросветленным людям, оправлять дело рук святых! Вынув один кирпич, мы можем разрушить все, что создавалось веками.

Но от великого ума, от высокого сердца, от подъема души к < > высотам исходит решение и наше представление о боге < > нашем! Как можем мы судить о делах божьих, когда с большим трудом познаем его творения? Как трудны астрономия, физика, химия. Часто нам кажется, что нет справедливости, что господь забывает несчастных, что посылает крест не по силам и т. п. Но нам ли судить того, кто сам – любовь, всезнание и совершенство! Он знает, кому и что нужно, а мы слепцы и должны с радостью покориться его решению. Запомните мои слова: будьте покойны, душа Ваша сохранит Вас от язвы неверия!

Напрасно Вы выглядите так радостно, точно Вы заслужили Ваше счастье. Нет, много раз нет. Вы росли в исключительно хороших условиях и получили Вашу живую веру для того, чтобы не только отстаивать свое верование, но и передавать этот чудный дар темным неверующим душам! Да, знайте, что это Ваш священный долг! Ибо сказано: Никто, зажегший свечу,

не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит в подсвечник, чтобы входящие видели свет! Помните, как Ваша мать – умная женщина – внушала Вам понятие о долге, и исполняйте его во славу бога.

Хотела я поцеловать его руку. Но он, а за ним и Анна Григорьевна, обняли меня и поцеловали.

Больше я никогда не видела Федора Михайловича, но все пережитое во время наших свиданий я записала.

## Мое призвание

Увлекаясь театром и сама выступая в любительских спектаклях, я со школьных лет мечтала о сцене. Правда, играя роль, никогда не могла я добиться, чтобы сердце у меня «кипело», как у Ольдриджа<sup>47</sup>, игра которого меня поразила еще в детстве.

Будучи в гимназии, я выступала часто. Затем пошли экзамены, поездки на курсы, серьезная работа там, особенно в первое время, и мне решительно не было времени даже подумать о выступлениях. Все же я ухитрялась на первом курсе довольно часто посещать Александринку. Правда, места бывали самые дальние.



Серафима Карчевская. 8 июня 1880 г. На обороте фотографии подпись: «Милейшему Ванечке от Сарочки»

Когда я на втором курсе особенно усердно посещала передовые кружки, нам приходилось часто устраивать спектакли для сбора денег в пользу выслаемых членов кружка. В то время я увлекалась Савиной и выступала поэтому в ее ролях. Все же это меня не удовлетворяло. Решилась я выступить в серьезной роли и играла Аксюшу в «Лесе» Островского. Скажу правдиво, что имела успех.

Мое исполнение одобрял даже Иван Петрович, с которым я была уже хорошо знакома в то время. На мои слова:

– А все же кипения в сердце у меня не было, – он ответил:

– Вот мы с вами смотрели в «Грозе» Стрепетову<sup>48</sup>, и Вы сами нашли, что у нее тоже не было кипения в сердце.

Я возразила, что это было одно из ее неудачных выступлений.

Это было мое последнее появление на сцене. Я убедилась, что таланта у меня нет, а быть заурядной «актеркой» я не желала.

Вполне же почувствовала я отсутствие сценического таланта, когда увидела игру нашего знаменитого Самойлова<sup>49</sup>. Я просто с ума сходила от его игры.

В то время он уже ушел с Александринской сцены и приезжал только на гастроли. Игра его была так совершенна, так высокохудожественна, что даже такие люди, как профессор Сеченов и знаменитый адвокат Спасович<sup>50</sup> постоянно встречались со мной при выступлениях Самойлова в его коронных ролях: Кардинала Ришелье, старого барина («Пальма») и Гувернера (Дьяченко).

Чтобы не пропустить ни одного спектакля с моим любимцем, мне подчас приходилось покупать очень дорогие билеты и все же это не останавливало меня, а только заставляло брать лишние уроки, перегружать себя работой, но зато и не лишать себя такого огромного удовольствия.

Мы, все его поклонники, буквально наслаждались каждым его жестом, каждым выражением лица. Вот про Самойлова, действительно, можно было сказать, что сердце его не только кипело, но клочотало. После каждого действия к нему ходил Сеченов. Он передавал мне, что бедный старик почти без сил лежит в кресле, как тряпка. Я думала: да, вот это настоящий артист!

\* \* \*

Как-то к нашей дорогой Елене Алексеевне приехала с визитом важная барыня Наталья Петровна М., ее старая знакомая. Елена Алексеевна была занята примеркой платья и просила меня принять гостью. Мы с Натальей Петровной очень весело и оживленно проболтали до прихода Елены Алексеевны. Я думала, что на этом кончится наше знакомство. Но оказывается, что добрейшая Елена Алексеевна наговорила очень много лестного обо мне. Между прочим, она упомянула, как успешно идут мои занятия с ученицами, которых я подготавливаю к экзаменам. Наталья Петровна осведомилась, когда удобнее всего застать меня дома и, спустя несколько дней, заехала уже прямо ко мне.

– Ну, заноза, – сказала она, смеясь (так отрекомендовала меня Елена Алексеевна, рассказав о прозвище, данном мне ее племянником, так же хорошо знакомом Наталье Петровне), теперь я лично к Вам по серьезному делу.

У меня есть племянница, единственная дочь у родителей. Она поэтому очень избалована, к тому же еще наивная девочка. Любит только веселиться, есть и спать. Сидит в третьем классе уже второй год и имеет такие плачевные отметки, что может перейти в следующий четвертый класс при условии очень хороших отметок на экзамене. Я знаю Ваши условия. Приходите завтра ко мне завтракать, Вы познакомитесь с девочкой и с ее матерью. Проэкзаменовав Киску

(так зовут девочку), Вы уговоритесь с матерью о вознаграждении и времени занятий. Я же со своей стороны обещаю Вам, если Киска перейдет в 4 класс, заплатить еще столько же, сколько и ее мать. Живу я совсем близко от Вас на Сергиевской. Вам не придется тратить много денег на дорогу.

– Ну, что ж, – сказала я, – мои денежные дела в очень плохом состоянии. Я слишком потратилась на дорогие билеты, когда выступал мой кумир Самойлов, и не прочь поправить свои финансы.

На следующий день я отправилась к Наталье Петровне. Девочка была безобразно толста, имела капризный и сонливый вид. Только в глазах ее я заметила насмешливые огоньки. Вот эти-то огоньки и побудили меня на проверку знаний толстухи. После экзамена я определила количество уроков в неделю, которое потребуется мне на занятия с Киской. При этом заметила, что плата будет только за мою работу. За успех не ручаюсь, хотя и имею некоторую надежду на это достижение.

Работала я с большим напряжением, пока не достигла того, что Киска проснулась и начала проявлять интерес к занятиям. Наталья Петровна встретила меня как-то на лестнице и сказала, что все родные очень заинтересованы моей работой и даже некоторые держат пари: одни за мой успех, другие за провал. Сама я ждала экзаменов Киски с трепетом. Я никогда до этого не замечала, что во время экзаменов моих учениц всегда ставила стакан воды возле себя. На экзамене Киски я наполнила этот стакан несколько раз, ни на минуту не опускала глаз с нее, точно хотела так передать ей свои знания.

Ко всеобщему удивлению, а моему удовлетворению, девочка по всем моим предметам получила круглую пятерку, и только по немецкому и французскому получила тройку и четверку. Она была страшно огорчена тем, как эти отметки испортили блестящий результат ее экзаменов.

Вот тут-то я почувствовала кипение сердце и поняла, что педагогика мое истинное призвание, что на этом поприще я должна трудиться и работать в дальнейшей жизни.

Был устроен торжественный завтрак у родителей Киски. Все поздравляли как девочку, так и меня. Дядюшка Киски, добродушный моряк, сказал ей: – Ах ты, безобразница! Я так надеялся на твою толщину, сонливый вид, а ты меня подвела. Я проиграл пари и, как видишь, плачу твоей тете 50 рублей – сумму нашего пари.

Я получила массу подарков от родных моей ученицы. Тут были и торты, и конфеты, цветы и фрукты. Мать от себя поднесла мне 6 пар чудесных перчаток, так как у нас с ней был один и тот же номер. Наталья Петровна в хорошеньком портмоне вручила мне такую же сумму, как и ее сестра. Выпили на прощанье шампанского за мое здоровье. Под общее «ура» и выражение общей благодарности я отправилась домой в сопровождении Киски, нежно меня обнимавшей.

Девочка очень хотела посмотреть, как живут студентки. Зная, что ее одну не отпустят, она упростила своего дядю-моряка пойти с ней ко мне. Тем более, что надо было помочь мне нести все подарки. И Киске, и дядюшке очень понравилась наша комнатка: светлая, чистенькая, с двумя белоснежными кроватями, у изголовья которых висели небольшие образки. Моряк подошел к столу, за которым мы занимались, и спросил, которая половина моя. Когда я указала, он заметил:

– Какая же Вы скромница! Не сказали, что так серьезно изучаете математику и проходите высшую алгебру. А по какому такому случаю у Вас портрет нашего любимца Павла Петровича?

Я отвечала, что это мой дорогой крестный, с которым я делила все радости и горести моей жизни в чужом городе.

Моряк очень пожалел, что не знал этого раньше. Вскоре они с Киской ушли, пожелав мне всяческих успехов.

## Предложение

Но вот кончились праздники. Стала я читать Огюста Конта<sup>51</sup> и получила много дельных указаний от Ивана Петровича. Он при этом прибавлял: «Все же вам лучше начинать с моего любимого автора – Спенсера».

Всегда с интересом он спрашивал меня, о чем говорили и какие рефераты читали в передовых кружках. По правде сказать, к этому времени начал меня сильно интересовать и сам Иван Петрович.



С. В. Карчевская и И. П. Павлов. 1880 г.

В эту зиму с братьями Павловыми жила старуха-мать, которая очень хотела найти им богатых невест. Потому, когда мы приходили к ним в гости, старушка, открывая дверь, окидывала нас грозным взглядом и говорила:

– Дома нет.

Не успевали мы отойти от их квартиры, как раздавались быстрые шаги и взволнованные голоса кричали:

– Остановитесь! Вернитесь!

Мы останавливались, но вернуться отказывались.

– Если вашей матушке неприятно нас видеть, то пойдемте лучше к нам.

На это братья охотно соглашались.

В июне я сдала все экзамены и собиралась окончательно проститься с Петербургом.

Тринадцатого июня Иван Петрович набрался храбрости и предложил себя в спутники на моем жизненном пути.

В этот вечер я пила у них чай в университете. В одиннадцать часов Иван Петрович пошел меня провожать. До четырех часов утра проходили мы с ним по Марсову полю, а потом вокруг церкви Спаса Преображения.

Вернулась я домой. Кия и наши хозяйки уже уехали, оставались только кухарка да я. Села на окно, не раздеваясь, в шляпе и пальто, и задумалась о важной перемене в моей жизни.

В таком состоянии утром застал меня крестный и удивился:

– Куда это вы так рано собрались?

Я бросилась к нему и сказала:

– Поздравьте меня, я выхожу замуж!

– Ну, поздравлять-то еще рано. Вот приезжайте с вашим женихом на дачу к нам обедать, тогда я узнаю, стоит ли поздравлять.

Я обещала исполнить его желание, и он ушел. Вслед за ним явился Иван Петрович. Мы напились чаю, отправились в Летний сад и прогуляли там до самого обеда. Обедала я у них в обществе обычных приятелей. Матушка их к тому времени уже уехала. Когда я передала приглашение моего крестного приехать к ним обедать, то Иван Петрович решительно заявил, что ни за что не поедет. Егор Егорович Вагнер и Дмитрий Петрович уговорили его, обещая поехать вместе с ним. На следующий день мы отправились.



Крестный в это время был уже женат. Он женился, когда я перешла на второй курс, на своей старой привязанности, немолодой девушке. Все шло у них хорошо, и я по-прежнему часто их навещала. На третьем же курсе, благодаря усиленным занятиям, а главным образом благодаря знакомству с Иваном Петровичем, я редко заглядывала к крестному. Старик огорчился и говорил жене: «Боюсь я за свою крестницу».

Жена его успокаивала:

– Прожила она благополучно два года. Теперь она кончает. Верно, очень занята и потому редко к нам заходит. Крестный возражал:

– Эх, Лиза, Лиза, разве ты не видишь и не понимаешь, что до сих пор она не позволяла себя любить, а теперь сама любит. Вот это-то меня и беспокоит. Любовь может завести в омут эту горячую головку.

Крестный и его жена встретили нас весьма любезно. Очень ловко крестный увел Ивана Петровича в отдельную прогулку. Во время этой прогулки он всячески старался в разговоре уронить меня в мнении жениха. Начал с того, что выразил удивление в решимости Ивана Петровича жениться на таком сорванце, как его крестница.

– Знаете, у нее нет ни гроша за душой, она ленива. Любит роскошь: я в этом убедился, когда на представление Росси брал ей билеты во втором ряду кресел. Она некрасива. Не хозяйка. Очень легкомысленна: вспомните, как она появилась на бенефисе Савиной одна в ложе бельэтажа с известным петербургским адвокатом.

На эту лестную рекомендацию Иван Петрович отвечал смехом:

– Довольно меня запугивать! Я ее знаю почти два года. Не только жизнь ее, но и все мысли прошли перед моими глазами, ведь она очень общительна и любит делиться своими переживаниями с друзьями. Я нахожу, что мы вполне подходим друг к другу.

Старик поцеловал его и сказал:

– Вижу, что Вы при выборе поступили основательно.

Вернувшись к обеду, крестный мне ничего не сказал. Но когда подали шампанское, он нежно поцеловал меня и прибавил:

– Теперь я могу вас поздравить, пожелать вам счастливой жизни и вполне одобрить ваш выбор.

Остальное время мы провели в веселых разговорах и, вполне довольные, оставили стариков в приятном настроении.

Впоследствии Иван Петрович говорил мне:

– Ты не думай, что я отвечал твоему крестному о знакомстве с тобой неосновательно. Вы с Киечкой и не подозревали, под каким строгим контролем в нашей компании прожили вы два последних учебных года. Кто-нибудь из нас заходил к вам ежедневно. Если у вас никого не было и вы занимались, он тотчас же уходил, не желая мешать вашей работе, но если был кто из посторонних, то наш контролер оставался и принимал участие в разговорах. Помнишь тот вечер, когда ты так хорошо оборвала адвоката. Мы всей компанией вернулись к нам домой и единодушно восторгались твоим отношением к людям. Один из нас воскликнул:

– Чудесные девушки, никогда у них не бывает пикантных разговоров, как у других наших знакомых.

– А ты бы попробовал рассказать пикантную штучку, – посоветовал мой брат Дмитрий.

– Спасибо. Чтобы мне предложили прекратить посещение? Нет, уж лучше попробуй сам!

Брат Дмитрий восхвалял красоту Евдокии Михайловны. Все соглашались, что она очень красива. Но большинство нашло, что ты лучше всякой красавицы. В комнате не было только Т. Вдруг вошел он, порядочно выпивши, и сказал:

– Ну, господа, нам нечего терять время около Сары Васильевны. Как видите, я с этим примирился и разрешил себе порядочно выпить.

– В чем дело? – закричали мы все.

– Я познакомился с ее одноклассницами и двумя технологами, ее старыми знакомыми еще по гимназии. И они мне сообщили, что Сара Васильевна безумно влюблена в их учителя словесности!

Мы все приуныли. Тогда Егорка Вагнер сказал:

– Разве вы не понимаете, что тут было лишь стремление к идеалу? Это стремление заставляло ее строго разбирать людей и требовать от них высоких качеств ума и сердца.

Мы признали его правоту, и это нас всех успокоило.

Уехать мне не удалось до конца июня. Мы оба находили всевозможные предлоги отдалить день разлуки. Наконец, финансы заставили меня ехать немедленно домой. Иван Петрович обещал в самом непродолжительном времени устроить свой отпуск и приехать к нам на юг, чтобы познакомиться там с моими родными.

## **Иван Петрович на моей родине**

Он приехал, действительно, очень скоро и прожил у нас до конца августа, так как 1 сентября должен был быть на службе.

Родным моим он всем понравился. Но велико было разочарование нашей кухарки! Она мне заявила:

– Таких-то докторов и у нас целая куча. Я думала, Вы там подхватите графа или князя.

А нянюшка печально покачала головой:

– Что делать, барышня! Любовь зла – полюбишь и козла.

Обе они меня как-то любили и высоко ценили.

Некоторое время мы прожили в Ростове у сестры Раи.



Вениамин Васильевич Оримнов – учитель словесности. На обороте фотографии надпись: «Зима 76–77 года. Сарре Васильевне от Оримнова Вени в память чего?»

На одной из прогулок в городском саду я познакомила Ивана Петровича со своим любимым учителем Вениамином Васильевичем. К моему большому удивлению и огорчению они не понравились друг другу. Иван Петрович заметил:

– Этот человек может говорить интересно только за стаканом вина.



Таисия Васильевна Карчевская (Ася) – сестра Серафимы Васильевны

А Вениамин Васильевич сказал мне:

– Я ожидал от Вас более блестящего выбора.

Знакомство их не продолжалось, несмотря на то что я очень старалась об их сближении.

С тех пор прекратилась моя переписка с любимым учителем.

Из Ростова мы всей компанией поехали пароходом в Мариуполь, где жила в то время моя третья сестра Ася.

Матушку и сестру Раю всегда укачивало на море. Они на пароходе немедленно легли. Две маленьких племянницы 4 и 5 лет остались на моем попечении. Их тоже укачивало и тошнило, но тем не менее они кричали:

– Саичка, мы хотим кушать, мы голодные!

После еды снова повторялась та же история.

Когда, наконец, я выбрала минутку и выбежала на палубу, то там нашла Ивана Петровича тоже в плачевном состоянии. Брат и зять хохотали до слез и крикнули мне:

– Скажи своему жениху, что нет никакой необходимости кормить рыб в море. А он только тем и занимается, бегая от одного борта к другому.

Все были очень рады, когда, наконец, прибыли в Мариуполь.

Здесь, в кругу родных, мы весело и беспечно провели две недели.

Ездили пикником к месту сражения с татарами на Волге. Иван Петрович в оплату за насмешки над его страданиями на море закидал мне всю голову репейниками, а потом был в отчаянии, увидав, сколько погубил моих волос.

Из Мариуполя мы уже вдвоем съездили в Керчь, но, к сожалению, не видели двоюродного брата Алешу, уехавшего куда-то лечиться. Очень сожалели, что не могли побывать у старшей сестры, проживавшей в Екатеринославской губернии, в деревне. Откровенно говоря, на эту поездку у нас не хватило денег. Тут же Иван Петрович признался, что на обратную дорогу в Петербург у него не осталось ни копейки. Пришлось дать ему денег из своих небольших сбережений. Эти сбережения получились независимо от моего желания. Лишь только я стала много зарабатывать – половину заработка отсылала матери. Она не тратила этих денег, а копила для меня. Когда же я стала невестой, она мне их подарила.

Иван Петрович остался доволен, познакомившись с моей родней.

Этим летом мы стоворились о необходимости отложить нашу свадьбу на год. Я непременно хотела стать сельской учительницей и поработать для народа. Предвидя, что впоследствии семья не позволит ему свободно располагать своим временем, Иван Петрович хотел за это время сдать докторский экзамен и защитить диссертацию на доктора медицины.

Увы, плохо знали мы жизнь и самих себя! Зимой мое дело в школе, как официальное, шло своим порядком. Но у Ивана Петровича, не связанного обязанностями, все время, по рассказам его брата, уходило на писание мне писем и чтение моих. Хорошо еще, что он хоть кончил свои экзамены.

## В деревне

Перед отъездом Ивана Петровича я вполне его успокоила относительно своей деятельности как учительницы сельской школы. Не раз и раньше я говорила, что задача моя не пропагандировать, не бороться с правительством, а только внести в темную среду крестьянства необходимые для них знания, а главное – разбудить в их душе стремление к идеалу, правде и истине.

На прощание Иван Петрович подарил мне книгу Спенсера со следующей надписью:

Дорогой невесте.

Социология, Сара, самая сложная, самая трудная наука, которую предстоит разработать, и почти еще сполна, человеческому уму, а не дело только чувства, разговоров, все быстро решающих сочинений односторонних, хотя и хороших людей. Это убеждение, надеюсь, глубоко и крепко вкоренит в твоей душе мой любимый автор.

Горячо желающий тебе правды

твой И. Павлов  
1880 г. 25 июля

Эту книгу я основательно проштудировала во время пребывания в деревне.

К большому своему сожалению я не предвидела, как тяжело будет Ивану Петровичу пережить эту разлуку. Для меня условия жизни и работы были совершенно новы и захватывающи, а потому и время проходило незаметно.

Школа была новая, только что отстроенная, большой светлый класс и маленькая комната с русской печью для меня. Полагалась при школе одна сторожиха для уборки класса, топки печей и необходимых услуг учащимся и мне.



Серафима Карчевская. На обороте фотографии дарственная надпись Ивану Петровичу Павлову: «5-го июля 1880-го года. Российской Простокваше от Сарры»

Рядом со школой помещалось волостное управление, где сторожем был старый глухой дед. При школе был большой двор, а по сторонам расположены были огороды, так что мое помещение находилось на окраине деревни.

Я не имела никакой библиотеки, кроме весьма ограниченного числа школьных пособий. Учеников и учениц набиралось 70 человек от 8 до 15 лет. Приходили они в школу в 7 часов утра, хотя я начинала занятия с 9. Оставались они до 3, когда приходила группа старших учеников и учениц, остававшихся до 6. Вечером же собирались взрослые: мужчины желали научиться писать письма домой во время отбывания воинской повинности, а женщины желали сами писать своим мужьям.

Я имела днем только короткий перерыв, во время которого наскоро обедала. Затем мне надо было поправлять тетради и составлять планы уроков на следующий день. Да еще надо было написать письмо Ивану Петровичу, которое трудно было отправлять ежедневно на станцию. Задержка же писем доставляла Ивану Петровичу большие неприятности и огорчения.

Однажды, когда я писала письмо Ивану Петровичу, в комнату вошли несколько женщин переговорить о своих учащихся детях. Человек уже ждал письмо, чтобы отвезти его на станцию. Я поторопилась и вместо письма отправила чистый листок бумаги. Позже я заметила ошибку, но раньше следующего дня отправить письмо не могла. И вот получаю телеграмму: «Шутка или конец?». Дмитрий Петрович говорил впоследствии, что собирался мне телеграфировать: «Приезжайте немедленно, Ванька помешался».

Работы у меня было много. И работалось так, как можно работать только в первый год по окончании курсов, еще имея в виду, что это первый и последний год такой работы.

Удивляло меня отношение крестьян к общественным делам.

Наступили холода. Сторожиха усердно топила печь, единственную для классной и моей комнаты, но тепла не было. Сторожиха мерзла на печи, дети в классе, а я спала, не раздеваясь, в шубе, прикрывшись сверху еще и одеялом.

Сторожиха уговаривала меня, успокаивая, что «это новая печь, и все обойдется». Когда же, потеряв терпение, я приказала позвать печника, то она ответила мне:

– Зачем печника? То староста и попечитель пропили вьюшки, оттого и холодно.

Стала я после этого стыдить попечителя и пригрозила пожаловаться в управу, он засмеялся и заявил:

– Жаловаться не следует. Это дело домашнее. Ну, пропили, а теперь купим.

И на другой день прислал вьюшки.

Как-то узнала я, что все взрослые ученики разворовывали железнодорожные шпалы. В самой горячей речи я стала их убеждать, что они совершили воровство, что опозорили не только себя, но и своих родных. Мои горячие речи произвели впечатление. Юноши стояли, опустив головы. Вдруг я почувствовала, что кто-то тянет сзади меня за платье. Это был попечитель. Нагнувшись ко мне, он промолвил:

– Да что вы их так стыдите, они никого не обокрали. Эти шпалы казенные.

Пришлось ему доказывать, что казенное имущество также воровать нельзя.

– Чтобы Вы сказали, если бы я продала все книги, тетрадки и другие вещи из школы?

Он почесал голову.

– Это дело совсем другое!

Долго мне пришлось беседовать на эту тему, пока ученики поняли и мне поверили. На ночь в школе оставались я да сторожиха. Сторожиха Саломида была молодая красивая девушка, дочь нашего попечителя. Она меня очень полюбила и мне доверяла.

Вот однажды лежит она на печи, а я у стола поправляю тетради. Вдруг открылась ставня (они открывались снаружи). Три молодых лица показались в окне и я услышала:

– Отворите, пожалуйста, нам очень надо.

Сторожиха со смехом сказала:

– Это же они пришли, – и поспешила открыть дверь.

Вошли три моих старших ученика вместе со сторожихой, бухнулись передо мной на колени и завопили.

– Саломида уже два [года] гуляла с Гордеем, а теперь отец выдает ее замуж за сына богача Петра. Поговорите с попечителем, может, он Вас послушает.

При этом молодая пара залилась слезами.

Как я ни уверяла их, что мое вмешательство не может помочь им, они не отставали. В конце концов, чтобы их успокоить, я должна была пообещать поговорить с попечителем. Понятно, что он меня и слушать не стал, засмеялся, махнул рукой и прибавил:

– Да вы же нашей жизни совсем не знаете.

Действительность вполне его оправдала. Через две недели после свадьбы Саломида пришла ко мне веселая и счастливая. Муж оказался очень добрым и веселым, свекор со свекровью ее баловали, а главное, восторгалась она их богатством. Вот вам и двухлетняя любовь.

Поступила ко мне сторожихой вдова довольно преклонных лет. Тут вышел у меня конфликт со старшими учениками. Я сказала, что они молодые, сильные и должны приносить воду в школу, так как эта работа тяжелая для бедной старухи, они же гордо возражали.

– За эту работу она и деньги получает.

Только когда я сама потащила ведро с водой, они бросились, вырвали у меня ведро и после этого стали исправно носить воду в школу.

Однажды зимой отпросилась у меня сторожиха переночевать у своей больной матери. Я осталась на ночь одна в школе. Вдруг вечером открылась ставня и чей-то грубый голос закричал:

– Отворяйте скорее дверь, не ждате же мне на улице!

Я открыла дверь. Вошел человек высокого роста с большой палкой, с мешком за плечами, очень плохо одетый. Меня поразили его живые глаза и свирепый вид.

– Почему вы не пошли в правление? Оно напротив.

– Да я стучал. Никто не ответил, а у вас в окне увидал свет.

Я предложила ему напиться теплого чая с хлебом и сахаром. Больше у меня ничего не было. Переночевать предложила в классе, где было очень тепло.

Закрыв дверь на крючок, продолжала я свою работу. Опять раздался стук и грубый голос спросил:

– Что же вы всю ночь так и будете сидеть? Лучше дайте мне огня, я хоть вшей поищу.

Дала я ему другую свечу и попросила меня не беспокоить, так как у меня спешная работа для завтрашнего урока.

Ушел мой посетитель утром. Я, откровенно говоря, заснуть не могла и только под утро, не раздеваясь, немного забылась. Когда пришли ученики, прохожий сказал им:

– Ну и храбрая же ваша учительница! Я таких люблю. Кланяйтесь ей, поблагодарите за угощение.

Хоть и незаметно проходило время на моей захватывающей работе, все же временами было трудно одной. Поддерживала меня переписка с Иваном Петровичем. Этот год разлуки лучше всего выясняется нашей перепиской. Вот отрывки из некоторых его писем.

### ***Из писем Ивана Петровича к невесте*<sup>52</sup>**

*Пятница. 8 часов утра, сентябрь 1880 г.*

*Встревожен, милая Сарра, немало. Слушай... Не могу ведь я не видеть, что моя мысль не поддерживается сердцем в области нынешних отношений, вырождается в горький скептицизм, который измучит меня и досадит прежде всего самым близким моим, тебе в особенности. Ты знаешь это хорошо, мое сокровище Саррочка.*



Сергей Васильевич Карчсвский брат Серафимы Васильевны

*Какая ты хорошая в твоих последних письмах! Волю-то твою укрепляй, как хочешь, а бессовестной себя не называй, потому что это будет несправедливо. Сарка, мне становится тяжело и даже как будто совестно, что ты поедешь к незнакомым людям и, может быть, не раз помучаешься душой. Одно утешение, что дело это хорошее и его результаты, его впечатление будут светить нам, может быть, всю жизнь.*

*Помнишь, я как-то писал о «Дневнике» Достоевского. Он, как и все наши славянофилы, толкует о народе, о правде народной. И вот это тогда пришло мне в голову. Что мне все Градовские<sup>53</sup> и подобные с их интеллигентным классом. Народа они сами не видали, с ним не жили душой, видев только его внешность. Что мудреного, что он представляется им ничего не стоящей массой, грубой и т. д. Они говорят, как слепые о цветах, носясь со своими кабинетными теориями. Не то Достоевский. Человек с душой, которой дано вмещать души других, человек, который искал, барин и теоретик, а действительно на равной ноге в тюрьме, как преступник, стоял с народом. Его слово, его ощущения – факт. Он говорит о правде народа – и ты будешь искать ее, моя милая!*

*Народ – инертная масса. Не кладовая ли науки – народ? И чем более берет интеллигенция из этой кладовой, тем более плодотворна историческая жизнь нации. Почему знать? Может быть, потому так и изживаются быстро науки, что живут они не на счет всех своих сил, а только небольшой их долей, сколько их приходится на малочисленную кучку привилегированных классов. Ты всмотришься в эти склады, часто так и не вскрываемые, исторических сил. Ты познакомишься с мужицким умом и с мужицким сердцем. И в том, и в другом, может быть, найдутся такие привычки, которые составили бы счастье и гордящегося своим развитием интеллигентного человека. Эх! Поговорить бы об этом! На бумаге выходит как-то суконно и фразисто.*

*Прочти, прочти непременно «Дневник». Достоевский заговорил в нем не хуже всякого радикала. Как позволишь, поговорим еще об этом. Когда сама прочтешь Достоевского, будем много и с толком без фраз говорить, когда ты будешь, чем хочешь.*

*И у нас мечтания, Сарра. Хочу приступить к осуществлению мысли, которую столько высказывал. Думаю следующее. Ведь в Питере останусь надолго, а может быть, и навсегда. Сделаю несколько знакомств с гимназистами, начинающими студентами, конечно, такими, которые знают жизнь, с мыслью и сердцем, буду вести за ними, за их развитием протоколы и, таким образом, воспроизведу себе «критический период» с его опасностями и ошибками, не на основании отрывочных воспоминаний, окрашенных временем, а объективно, как делают в физиологии. Непременно устрою регулярные разговоры, беседы и именно с молодыми людьми. Воспользуюсь, между прочим, Сергеем Васильевичем, Юрием Дмитриевичем и другими<sup>54</sup>.*

*Хочется потолковать именно по поводу разных романов. Я уже не раз говорил тебе, что у нас есть романы, а нет критиков, массы психологических материалов в романах пропадают даром, жалко. Кто знает, может, в каком из наших молодых зародится и будущий желанный критик. Что будет интересного, буду описывать моей дорогой Саррушке...*

*Среда, 9-го, 9 ч. утра. Осень 1880 г.*

*Целую тебя много, много за твое последнее письмо. Только ты не балуешь ли меня, дорогая Сарка, когда так беспокоишься по моей хандре? Мне думается, что иногда не мешает нашего брата просто постегать, побранить на этот счет. «Побольше бы делал, меньше бы, мол, времени было для всяких бесполезных завываний». Право, всмотришь; иногда такая речь и есть самая уместная в ответ на наши распинания.*

*Твое воображение недаром отказывалось воспроизводить мои физиологические труды, потому что их до сих пор еще и не было. Вчера был первый день, когда можно было работать, но утро было занято хождением по консисториям с мамашиным пачпортом; с вечера же начинать не хотелось. Рабочий сезон открывается ныне; после письма иду в кабинет и начи-*

наю резню. Да занятия в кабинете не идут, как и книжные занятия дома. Большие говорим – и только изредка почитываем.

Вчера после обеда читали в «Вестнике Европы» рассказы Золя<sup>55</sup>. Хороши! Заставили кое о чем подумать. От него по обыкновению беспутная мысль около чего-чего не слонялась. Ходил по саду. Какая чудная погода! Ходил и думал, или мечтал, как хочешь. Пожалуй, и передать ничего другого нет.

Вот, мол, милая Сарра скоро уедет на дело. Оба при деле. Оба стараемся лучше, справедливее устроиться как по отношению к другим, так и к себе. Всячески утилизируем время, смотрим за своей мыслью, сердцем. Трудимся – и сообщаем все это друг другу, и успех одного подзадоривает другого, толкает его, дает ему энергию, несмотря на разделяющее нас расстояние. Выходит то, что всегда пленяло меня в удавшемся приятельстве. Я не боюсь, чтобы отстал от моей Сарочки, как ручаюсь и за нее, и мне делается хорошо, весело, хоть и придется не видеться так долго.

Дальше. Радовался, что ты будешь в деревне, среди рабочих, трудящихся. Я думал вот о чем. Мы все – и ты, и я, и вся учащаяся братия – все же из привилегированного, не работающего класса. Мы живем без труда – это наша общественная характеристика – и мы переносим это в нашу учебную жизнь. Посмотри на всех учащихся: разве можно сказать, что они работают? Забавляются по-барски – вот что верно. Когда мы шлемся да разговоры разводим, разве нас мучит, преследует и собственное сознание, и презрение других, как случается со всяким рабочим, сбившимся с пути? Среди нас не живет идея трудовой жизни, она осуществлена только тем, куда идешь ты – и в этом твоя теперешняя выгода.

Это, конечно, между прочим. Я думаю об этом именно потому, что к вечеру поджидаю одну акушерку, сестру нашего хорошего товарища по семинарии и университету. Ей уже, вероятно, лет 25. До последнего времени она жила в деревне при отце и хозяйничала, как хозяйка во всякой крестьянской семье, т. е. всегда за делом. Ей скучно, совестно быть без дела. Ту же привычку к делу, ту же добросовестность в отношении времени приняла в Питере. Она – редкость между нами. Об ней-то и можно только сказать, что она работает и учась.

Деревня – школа труда, о которой в городах мы не имеем понятия.

Понедельник, 8 сентября 1880 г., 11 часов утра

...Теперь, кажется, уже пошло на лад и у тебя, и у нас. Рад и очень, что ты пристроился в своем уезде. Что ни говори, а речь: «Пойду в самую глушь, вдаль от света, выпью чашу всяких неприятностей и нового тяжелого труда до дна» и т. д. – была хоть и понятна в своем хорошем основании, все же легкомысленна или по крайней мере неосторожна. Дорогое и трудное дело надо делать исподволь и осмотрительно, без лишней храбрости. Это я говорил как-то раньше – и сейчас повторяю с убеждением, что это правда, а не трусливая узкая практичность.

Я поднимаюсь, милая Сарка, хоть и не особенно быстро, но, кажется, верно. И раньше я замечал, что постановка жизни на желаемом уровне всегда у меня начиналась с правильного и систематического труда. Бодрость физическая являлась необходимым условием умственной и правильной энергии. То же делается и теперь. Начал уже заниматься регулярно гимнастикой. Что за богатое самоощущение, настроение получается во время и после нее. Глубоко убежден, что с нее возьмется, разойдется и все: пойдут и другие занятия.

Работать в лаборатории буду только завтра, что зависело не от меня: то убрали лабораторию, то праздники. Помимо всего, волей-неволей придется работать хорошо. Мы, врачи, оставленные при академии, взяли ученый подряд, обязались через месяц представить работы, которые войдут в юбилейный том, преподносимый одному из престарелых деятелей академии.

*Вчера был у меня Юрий Дмитриевич с братом и товарищем. Часа два отчаянно спорили по поводу «Дневника» Достоевского. Твой Ванька совсем обратился в народника, с азартом защищал «хождение в народ», рекомендуя его молодому поколению, хотя и с другими намерениями, чем как это делала радикальная партия.*

*После спора читали «Сказки Кота-Мурлыки»<sup>56</sup>. Не знаю, Сарка! Может быть, я был уставший после спора и мало внимателен или это так и верно, только не понравились они мне. И в них я увидел того же Вагнера, легкомысленного, фразистого, у которого слов и намерений куда больше, чем мыслей и дела. Читали сперва маленькую штучку, «Альзамах», что ли какой? Дело идет о бессилии филантропии. Совсем уж не новая мысль и никакой оригинальности в полемике, к тому же весьма бледно, сухо, если не считать фразы, а искать картину жизни. Для кого эти сказки? Для взрослых не назидательны, для детей непонятны, потому что не образны, не картинны.*

*Затем добрых два часа отняло «Колесо жизни»<sup>57</sup>. Ты, наверное, читала. Скажи, что за мысль и что хочет внушить своему читателю автор? Если то, что прогресс есть результат борьбы, и дело, основанное на принужденном равенстве, проваливается, то ведь это такая избитая вещь! Да, конечно, имело бы смысл показать и эту мысль в жизни, в картинах, но этого совсем нет. Разваливание дел общества занимает только какую-нибудь десятую часть статьи и в сказке изображается в виде разговоров в собрании. Ну, это не интересно! А потом оказывается, что и не это мысль сказки. Симпатии автора на стороне его героя. Так в чем же дело?*

*Остальные слушатели говорят, что в тумане все и дело, что Вагнер и во всех других сказках стоит все на том, что в жизни все несообразно и ничего понять невозможно, – и находят, что это очень хорошо и воодушевительно. Я спорил. Ты говоришь, что жизнь шире, чем сколько знает современная наука, ты этим способствуешь прогрессу, побуждаешь к дальнейшему изучению. Но на проповедь, что все чепуха, что ничего понять невозможно – только и остается разводиться руками. Это проповедь застоя, а не прогресса.*

*Во всяком случае, после чтения «Сказки» я не заметил, чтобы во мне прибавилась мысль или чувство. Но вечер в целом пришелся по вкусу, хотя еще и не сговаривались, недостаточно приноровились друг к другу. В следующие разы будем изучать «Братьев Карамазовых». Сергей Васильевич не был, хотя я и звал.*

*Четверг, 11 сентября 1880 г., 8 ч. утра*

*...Вчера вышел отменный день в смысле деловитости, но не содержания для письма. И утром, и вечером делал закупки для предстоящих опытов. Покупал животных, яды и т. д. Ныне, уже наверное, начинается работа. Трудно мне с этой работой, так что и не чувствую в себе особенного пыла, как ты перед своей. И в чем дело? Привык у Устимовича работать один и хозяином. Здесь хозяев не оберешься; здесь недостаток во всем – и все рвут другу друга из рук. Не знаю, знаешь ли ты это, но к такой борьбе я совсем не годен. Наконец то тот, то другой норовит воспользоваться тобой. И отказывать опять-таки не умею. Ведь я уже около двух годов на себя почти ничего не работал, и сейчас плохо верится, много ли выйдет толку, плохо верится, оттого и нет жару.*

*Зато радуюсь на тебя, на твою боязнь за успехи дела, на твои радостные мечты о возможной удаче в нашей жизни. А знаешь ли что, Сара! Читаю я твое письмо и думаю: а обратится она когда-нибудь к богу, моя милая. Странное дело: сам в бога не верую, никогда не молюсь, а твои известия об этих молитвах производят на меня какое-то особенно жуткое впечатление. И вот я еще что припоминаю. Еще в начале наших с тобой нежных отношений, когда я все не верил в то, чтобы ты могла меня любить, узнай, что меня изо всего, что ты говорила, убедило? Только то, что ты не молилась об этом богу. Бог, молитва не есть, очевидно, свидетельство, ручательство правды, искренней глубины.*

*Суббота, 13 сентября 1880 г., 8 ч. утра*

*Только что, милая Сарушка, прочел (хотя и не всю, потому что спешу) новую часть «Братьев Карамазовых» в августовской книжке. Вся посвящена Ивану Федоровичу. Чем более читал, тем беспокойнее становилось на сердце: как ни толкуй, пропасть похожего на твоего нежного и сердечного читателя. Пока читал спешно, не могу входить в подробности; вероятно ныне же во второй раз прочту – и тогда потолкуемся.*

*Кто-то тебе говорил, что счастье не делается, а случается? И что мне всегда представлялось. Это, во-первых, справедливо, потому что жизнь такая сложность и такая темнота, что рассчитать мне нет никакой надежды. Моя постоянная мысль, когда я философствую, я не живу. Другое и то: лучшие всяких рассуждений, желаний счастливо сложенная натура, а она так мало изменима против того, что дано при рождении. Странно, однако, – это так верно теоретически, а, однако живем совсем другими мыслями, хотя частенько-таки съезжаем и на это – и досадно тогда, досадно. Ты тут соображаешь, волнуешься, стараешься, а выйдет то, что должно выйти по твоей натуре и случайно сложившимся обстоятельствам. Вот тебе уж и Иван Федорович – а на деле пока другое.*

*Вчера сделал-таки первый опыт. И удовлетворительно. Стоит обратить внимание. Утро провел за приготовлением и не очень весело. Пришел домой обедать и дрянного настроения прибавил (когда-нибудь объясню и это). Вечером в кабинете досада и руготня: опыт шел очень плохо. Выходило так, хоть в Неву. И странно: еще к концу этого дрянного опыта душа с чего-то начала подыматься. Дорогой к дому чуть не пел песни. Проекты относительно работы! А потом относительно и крупных реформ в нашей лаборатории. В чем же суть, дорогая Сарка? Дело, милая, дело! Не слово, а дело. Оно и придало силы, одушевление. Хотя и печальный по научному результату, первый опыт был началом дела. Когда ты говоришь, мечтаешь, сложа руки, тебя допекает задняя мысль, э, фантазия; ты дело-то начни скорее; полно зубы-то заговаривать, все ясно, а затруднения лучше выясняются при деле. Постановка опыта выяснила затруднения нашего лабораторного дела и возбудила в душе живое деловое желание устранить их. Ныне, сейчас предложу себя в распорядители – и все переделаю на сколько-нибудь разумный лад.*

*Вообще, милая Сарушка, я сейчас как бы расстроенная гитара, которую настраивают струну за струной. Струна гимнастики настроена. К ней теперь пристраивается струна лабораторных занятий. Начинаю ходить исправно в лабораторию, и гимнастика, несмотря на большой физический труд в продолжение дня, дает мне силу довольно легко его переносить. Крепчая с гимнастики заметно не только для себя, но и на глазах других. Остались еще неустроенными, неподтянутыми струны домашних занятий и постороннего чтения. Но не сразу же! Чувствую только, что к этому идет. Решил (и ты увидишь, что выполню) никуда не ходить – ни в гости, ни в театры, – пока не устану так, чтобы испытать действительно заслуженный отдых. И заиграет же наша гитара на радость себе и тебе, моя милая Сарочка, и всем другим, как она игрывала-таки в прошлом.*

*Ишь ты ведь: «Сперва себе, а потом и другим». Глупо! Может, просто без сознания написал, а может, склад нашей особы отобразился. Посмотрим!*

*Дорогую Сарку крепко прижимаю к себе и много целую.*

*Твой Ванька.*

*Что бы там ни было, не пропадем!*

*Среда, 17 сентября 1880 г., 8 ч. утра*

*...В лаборатории водворяется порядок вяло. Немножко прибодрился, перечитывая августовскую часть «Братьев Карамазовых». Скорее достань и читай! Что ни толкуй, основа натурры или, по крайней мере, данного состояния Ивана та же, что и моя. Очевидно, что это*

человек ума, ясного знания, враг всякого восторга, минутного увлечения, непосредственного поступка, вообще чувства. Ум, один ум все ниспроверг, все переделал, все увековеченные привычки, все условности, все непосредственное, все неосновательное, что есть, однако, жизнь, неосновательное, несерьезное не само по себе, а как оно представляется чистому уму. И человек остался умный, но со страшным холодом на сердце, с ощущением странной пустоты в своей особе.

И начинается травля. Человек, по-видимому, шел правильно, в ногу с веком, все подвергая анализу, – и что ж? – возникает ужасная путаница – и где ж? – в нем самом. Несмотря на весь свой ум, он чувствует себя отчаянно, ему противен его ум, его тянет в сторону этой реальности, так раньше разрушаемой, отвергаемой, и он действительно готов «отдать всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душе семи-пудовой купчихи и богу свечки ставить».

И, однако, он не может делать, потому что мало захотеть. Он не так жил; его ум сейчас «противен», тяжел, он не дал ему счастья; однако он не знает другого такого же законченного, с такой же историей, судью своей натуре, другого критерия жизни, – он не знает сердца. Натура в глубине бессознательно клянет один только ум, но при осуждении все присуждается только умом. Всякая попытка сердечной жизни является жалкой, потому что стародавний хозяин природы – ум.

Плохо, черт подери! Что ни пишу, никогда не могу быть довольным. Поговорить бы! Подумаю, почитаю, напишу еще. Попишемся в этом оба.

Насчет Кати в «Один в поле не воин»<sup>58</sup> так ничего и не выдумал, потому что не мог припомнить ее природы – без этого невозможно и присуждение ее поступка. Ничего, Сара, читай и говори свое мнение, и спрашивай мое. Не беда, что останется без ответа иногда. Придет время, когда постоянно будем вместе решать интересующие меня и тебя вопросы. А теперь эти вопросы, хоть и без ответа, заставляют мечтать, стремиться к их решению в будущем.

А вот и практический вопрос. Не знаю как тебе, а мне, например, хоть эту августовскую часть «Братьев Карамазовых» надо прочесть несколько раз, чтобы уразуметь ее во всех подробностях. Как ты? Имеешь привычку перечитывать романы?

Четверг, 25 сентября 1880 г., 8 ч. утра

Э-э, милая, съехала наконец-таки на нашу систему. Если помнишь, сколько раз мы толковали с тобой о роде занятий! Я и прежде, как и теперь, отстаивал обязательность или внешнюю, не от нас (например, лекций), или нами самими установленную программу, на которую раз согласился, к которой раз несколько привык, – и она тоже является обязательным делом. Ты всегда стояла за работу порывом, по вдохновению. А теперь запела другое: «вот если бы обязательное дело было, тогда б некогда было столько раздумывать и, наверно, лучше было для нас».

Вот мы сошлись и еще. Ведь то, что ты говорила раньше, – чувствовал, знал и я в более молодые годы, и с этим все время боролся и борюсь. Да, это почти необходимость тех лет, когда все еще ново, возбуждает, привлекает то то, то другое, растрогает, и глубоко, до нарушения всякой программы, всякого порядка, новая мысль, новое чувство, новое лицо, особенные обстоятельства и т. д. Но также верно, что это не должно оставаться на всю жизнь. Это бросание должно сменить систематическое преследование определенной программы, определенного плана. Можно ли с этим спорить? Раз так, понятно, что не всякую минуту будет двигать тебя восторг, вдохновение, сплошь и рядом за твоим делом удержит тебя раз навсегда принятая на себя обязанность. Не знаю, так мне представляется. Как тебе? Яне думаю, что это сухо, по-чиновнически. А сознание, а еще лучше само получение результата, стоив-

*шего годов усилий, борьбы с обстоятельствами или своими слабостями, разве это сухое удовольствие, сухой скучный процесс? А нормальность-то, Сарушка, устроим-таки.*

*Сейчас сильно раздумываю вот о чем. Как бы себя заставить думать? Я все время был того мнения, что мы ужасно мало думаем. А теперь мне пришло в голову, что и часто, несмотря на другую видимость, все же мысли-то, думанья нет или оно очень незначительное. Вот, например, я вчера читал лекцию три часа, вечером читал литературу одного физиологического вопроса. А думал ли я? Быть ли довольным вчерашним днем в отношении достаточной умственной работы, или нет? Это вопрос! Во время лекций я не выдумал ни одной мысли, да это редко и приходится; говорил известное изложение, не представлявшее никакого затруднения. Вечером читал, правда, для меня новое, но совсем простое, не требующее для своего понимания ни малейшего напряжения. Таким образом, за целый день ни одного нового соображения. Работал я вчера умственно или нет? Ей-богу, не умел бы ответить. Думается мне, что должно быть другое мерило умственной работы, другая, истинная умственная работа. Вот и подумаю, поищу. Ты хочешь знать мою новую мысль для будущей физиологической работы. Слушай же. Понять ты поймешь, да не оценишь, потому что всего-то я не смогу передать. До сих пор были известны нервы, управляющие движением крови по телу, пригоняющие кровь к рабочему органу и отводящие ее от покоящихся. Это, так сказать, механические кровяные нервы. Я делаю предположение: нет ли нервов, управляющих самой выработкой, самим образованием крови. Вещь, конечно, крайне важная. Кровь такая важная жидкость в организме, и знать механизмы, от которых зависит ее образование, значит, иметь весьма много. Как изменилось бы понимание многих болезненных процессов, сколько бы выиграло рациональное лечение! Но основания для успеха собственно нет, кроме некоторых аналогий. Пробовать все можно; но в данном случае надо хорошо помнить, что дело идет о риске полугодовой работы. Однако смелым бог владеет – и, вероятно, начну. Если объяснение длинно и для тебя скучно, – сама виновата, сама вызвалась. Не могу не заговориться, потому что близкое дело.*

*Много целую тебя. Кланяйся всем твоим.*

*Твой Ванька.*



«Мефистофель» М. М. Антокольского

*Воскресенье. Утро*

*[письмо написано, по-видимому, 28 сентября 1880 г.]*

*... Честь имею объявиться; прошу любить и жаловать: твой простокваша ни более, ни менее, как кто?.. Ме-фи-стофель нашего времени, правда, немножко подгулявший в последнее время. Смеешься? Напрасно. Обнаруживаешь этим только свою поверхностность. Не хочешь*

ли убедиться? В таком случае достань «Вестник Европы», июль нынешнего года, и прочти в конце статью Каверина<sup>59</sup> по поводу статуи «Мефистофель» Антокольского<sup>60</sup>.

По Каверину суть Мефистофеля меняется с течением времени, и современный Мефистофель характеризуется следующим образом мыслей и вытекающим отсюда свойством. Имея перед собой широко раскинувшуюся естественную науку с ее непреложными законами, считая себя частью природы и веря в необходимую законность всего существующего, он не понимает смысла, силы личных стремлений и усилий. Выводи сама, что должно отсюда выйти для характера этого человека и его отношения к разным вещам. А тебе я, наверно, говорил, или ты по крайней мере слышала, как толковал на эту тему с другими.

Да-с. Это – мои мысли, это мой безотвязный и до сих пор не решенный теоретически (а не практически) вопрос. Да и можно ли его решить в настоящее время теоретически? Прочтешь статью Каверина, увидишь ясно, как ничтожно его решение<sup>61</sup>. Это вовсе и не решение, а простое констатирование двух каких-то миров: общемировой жизни с ее непреложными законами и личной жизни, где эти законы не у дел, где царствует и обязательная свобода. И всякие попытки решения этого вопроса еще надолго, надолго останутся жалкими.

Нет спора, что в этом мы имеем дело с одной из последних тайн жизни, с тайной того, каким образом природа, развивающаяся по строгим, неизменным законам, в лице человека стала сознавать самое себя. Что из этого должно выйти и как это может сочетаться? Но не бойся, голубушка Сарушка! Твой Мефистофель, кажется, уж очень съехал на Фауста или просто разнюнился. И в данном случае сейчас только и важно практическое решение вопроса, а в таком решении имеет значение не столько мысль, рассуждение, сколько свойство натуры. Впрочем, напомни, впоследствии поговорим об этом подробнее. Выходит, что Мефистофель – Мефистофель, да в отставку.

Пятница, 3 октября 1880 г., 8 ч. утра

И опять прости, моя милая!..

Насчет приглашения тебя в Питер, глубоко чувствую, вел себя непростительно. Опять не хватило тонкости, деликатности (в хорошем смысле) чувства. Да, я оскорбил тебя и сделал тебе много горя. Я, близкий к тебе человек, отнесся так легко к тому, что для тебя так дорого, что тебя так занимает, наполняет. Я держался в отношении тебя примерно так: «Мало ли, мол, чего желает; большие, мол, слова, вздорность, каприз. При мало-мальски благоприятном случае все это, мол, может и должно идти ко всем шутам!» И это тогда, когда ты собираешься на желанное дело, когда требуется именно сочувствие близких людей, сочувствие, одобряющее твой шаг, обещающее и желающее успеха.

Верь, мне тяжело, моя дорогая, за такую ошибку. Верь, что и теперь я думаю о твоём деле, как и всегда раньше думал, как много раз говорил и писал. Я всегда боюсь фраз, я говорю, что чувствую. А то, что говорил об учительстве, о деревне, скажу и теперь. Я только за другим мотивом временно позабыл, оставил в тени все это. Верь, что все же главным образом, а может и исключительно, приглашая тебя в Питер, я боялся за твоё здоровье, за твоё счастье. Моя вина, что, забываясь о нём, я за ним позабыл и потребности твоей души.

Ведь это, дорогая Сарка, бывает в жизни, и часто, со многими любящими. Сообрази, сколько родители оскорбляют, делают несчастья своим детям, навязывая им счастье, понятное по-своему. Припомни это и прости – и опять без страха, без мысли о моем индифферентном отношении к твоему делу, а доверчиво, дружески идти, все, что будет, считая это нашим общим дорогим делом.

Но ты меня, моя милая Сара, немножко уж и наказала. Ты написала фразу, которая в другое время меня бы сильно убила, потому что может, что она не ясна – и ее нужно толковать и толковать в таком справедливом настроении, в каком сейчас, чтобы понять ее действительный смысл. «Я не могу вполне удовлетвориться тобой (теперь могу очень и

очень, но...»). Не правда ли, моя милая, что, прямо не вставляя новых слов, фраза горькая, хочешь, даже больше. Но мне сейчас кажется, что ее происхождение и смысл следующие. Я своим разговором о приезде как будто разрушил, признавая пустыми твои желания, твои мысли, и весь твой интерес для тебя, все твое счастье положил в мою особу (ой?! ) и в том, что она может дать; как будто бы вся твоя дальнейшая жизнь должна была состоять только в том, чтобы быть около меня, целовать меня, слушать меня – и ничего больше. И ты говоришь, «что сейчас, на первых порах любви, это так; ведь мы же целовались целыми днями – и ничего более тогда для этих дней не желали. Мы оба были дороги друг другу, как есть, так сказать, своей наличностью, своим присутствием сейчас в настоящем без всякого отношения к будущему. Да, это так справедливо сначала. Но в будущем не может оставаться только это. Тогда должно быть дело, милое тебе и мне, дело, созданное и моими, и твоими усилиями, и я хлопочу об этом деле, чтобы обеспечить наше общее счастье». Это, по-моему, твои слова, заключенные в твоей приведенной фразе.

Я и сейчас недоволен, как всегда за последнее время, моим пером: оно досадно плохо передало то, что я хотел передать. Но все же, может быть, поймешь, что старался написать. Так ответь в следующем письме: верно ли я тебя понял, добавь, что не полно, напиши сполна, если я совсем не попал.

Дорогая Сара, может, тебе очень не по сердцу вечные мои промахи и следующие за ними раскаяние, просьба о прощении. Может, скажешь: «Уж если не можешь обойтись без спотыка, по крайней мере не канючил бы». Когда же это кончится? Я плох и хочу быть лучше – и вижу к этому теперь средство, случай в нашей любви. Верь, это так. Много было горьких часов в нашей еще так короткой общей жизни, но есть уже и высокие, хорошие, святые минуты, которые поднимают, очищают. И я хочу пользоваться ими и в них полагать цену нашей любви. Ничего, у нас впереди еще целая жизнь! Придет время, оправлюсь несколько, буду меньше плакаться! И тогда с радостью, с глубокой благодарностью оглянусь, оглянемся на прошлое, приготовившее собою наше справедливое, безупречное довольство, лучшее, удовлетворение.

Вчера с Серезжей (С. В. Карчевским – прим. сост.) я был на рубинштейновском концерте. И знаешь, что шло у меня в голове под все эти звуки? Вот я все плачусь, каюсь перед моей Сарочкой. А о женушках говорят, что они любят сильных, властных, в себе уверенных. И относительно тебя разве не говорят, что тебе нужен муж твердый, с характером, уверенно, на свой страх, везущий колесницу супружеского счастья. Нет, я этого не могу, я все взываю к правде, к равенству. И вот: я когда-нибудь снова могу остаться один. Было горько до слез от этой мысли. Но звуки сделали свое, они подсказывали мне: «Нет, ты не будешь один, с тобой будет твой всегдашний друг, неизменный, сильный своей помощью, – правда». И почувствовал я к этой правде любовь страшную и вдруг сделался силен, когда будто уж и в самом деле нас всегда, всегда двое, что бы ни случилось в жизни. Я пишу это и, узнай, Сарка, плачу с чего-то.

Горячо целую тебя.

Твой Ванька.

Пятница, 3 октября 1880 г. 12 ч. ночи

Мои нынешние утренние слова, вероятно, мною одолжены и вчерашней музыкой, я так давно не слышал ее. Но все равно. Эти слезы все же очень для меня дороги, как ясно вижу теперь. Они что оживотворяющий дождь для моей довольно-таки высохшей души. И причины всему – ты, одна ты, навсегда, глубоко любимая, моя Сара. Целую тебя. Да, я лучше становлюсь, т. е. больше чувством понимаю хорошее и теперь уже. И через тебя, моя милая. Мне верится сейчас больше, чем когда-либо до сих пор, что нас не обманут наши расчеты, наши надежды на нашу любовь, на ее возвышающую, облагораживающую силу. Мы будем, наконец, вполне свободны и мыслью, и чувством друг перед другом – и вместе понятны и дороги друг

*другу. Я вижу это ясно и в нынешнем твоём письме. То же сделаю и в моём. В твоём письме есть хорошие, дорогие мысли – и я буду пользоваться ими, как нашим общим достоянием, богатством. И я смело, не боясь, буду оспаривать то, что считаю нужным в том же письме.*

*Дело идет о типе работы: систематическая работа или порывами? Мне не ясно, рассуждаешь ли ты вообще или только о себе? Дальше: признаешь ли для себя работу порывами только фактом, которого не можешь изменить, или одобряешь ее и не хочешь другого? Но все равно: для меня это сойдется одно с другим. Поговорим сначала вообще. Мне кажется, что не может быть спора, что только систематическая работа жизненна не в смысле узком, а практическом, и как закон общности. Что было бы, если бы профессор читал лекции, дожидаясь порыва, лекарь – стал лечить, адвокат произносить речи, лишь, когда бы приходила неведомо для них и всех, к которым они имеют жизненное отношение, минута вдохновения. Как ни охотник я представлять будущее, я не могу вообразить порядка, когда бы люди делали все лишь порывами. А если так, то, очевидно, люди должны стремиться к выработке в себе способности к ровному систематическому труду. Работа порывами есть нечто стихийное, не общественное.*

*Возьми теперь себя. Ты будешь учительница. Неужели ты будешь заниматься делом только тогда, когда ты расположена? Значит, могло бы случиться, что дети придут, а тебе совсем не до них – и ты пойдешь их назад. Ведь это не может быть. И тогда, если не хочешь, чтобы в эти минуты нерасположения твое дело не досадило тебе, тебе придется вырабатывать в себе ровную трудовую энергию. Милая, напиши, что ты надумаешь относительно этого. Мы как-то говорили об этом с Серезжей, он согласился со мной. Ты скажешь: я не могу систематически трудиться. Но ты так молода, сильна и разве уж все испробовала в этом отношении?*

*Ты пишешь о нашем сходстве (которое меня так радует), что боишься его, и что только противоположности бывают счастливы вместе, что последнее из наблюдений жизни. Из чьих наблюдений: твоих, чужих?*

*Я не знаю этого положения об основе счастья. Оно вовсе не такое общепризнанное, вовсе не есть неоспоримая истина. Люди говорят разное: одни за сходство, другие за противоположное. Если это твой взгляд, ты должна была его мотивировать.*

*Ты пишешь о жизни без смысла и верь, я учусь у тебя и так глубоко думать, и так хорошо выражаться. Но ты прибавляешь: зато покойное, мирное, полезное счастье и довольство. Конечно, тебе этого покоя не надо, это ясно. Но не в этом дело. Милая, такого покоя, счастья, довольства и нет вовсе ни для кого. Разве этого кто-нибудь не знает и не страшится этого? Да и где это счастье без мысли! Я не видал его вовсе, когда ближе познакомился. Это невольное довольство, которое ты предполагаешь, эта обязательная улыбка при горьких слезах в душе.*

*Милая, как хорошо, дорого мне все, что написала ты о моей физиологической мысли. Ты одной строкой уяснила, усилила во мне, что было во мне только смутно. Да, да. Если не получу то, что хочу, то, наверное, захвачу много попутно. Как придает мне силы, уверенности твое предчувствие моего успеха в этой работе. Целую тебя.*

*Среда, утро*

*Плач Ярославны в военном мундире. Сидит Ванька в дежурной и воет.*

*О, прославленное Ванькино ротозейство! Если бы ты, милое, распорядилось так, что письмо от вчера или осталось без адреса или так опущено в почтовый ящик, что любопытствующий мог тебя вынуть (был случай с нашим письмом в Ростове) и унести с собой.*

*О, дивные железные русские дороги! Чего вам стоит разбить один, один только вагончик, где едет это злополучное письмо.*

*О, широкий фантастичный русский почтальон! Не дай увянуть твоей репутации. Пусть знают люди, что ты не какая-то ходячая машина, а живое существо с любознательным умом и романтическим сердцем. Не забывай, что так уже бывало и не ты первый. Почти каждый день письма к барышне из далекого Питера, разве не понимаешь ты, что здесь не без романа – и разве не любопытно прочитать хоть одно письмецо, их же так много, и, наверное, в каждом из них все одно и то же на разные лады. И что за беда (?), раз не получилось письмо. Ну, догадайся, спаси, голубчик. Вскрой ты и уничтожь вчерашнее мое письмо.*

*О, милые дети, так усердствующие своей тете, выручите дядю, выручите, выручите! Вырывая из рук почтальона, вырывая из рук друг друга, разорвите или, по крайней мере, оторвите последнюю строчку из моего несчастного письма.*

*Поэтическое произведение должно быть прервано, потому что, оказывается, в здешнем почтовом ящике берутся письма в 8½ часов. Хотел было ехать в четверг, т. е. это уже было устроено; поручение твое, дурка Сарка, задерживает. Старательнейшие целую за эти два дня мою Сарку и поклон остальным.*

*Твой Ванька.*

*Вторник, 7 [октября], 12 ч. ночи*

*...Не очень-то себя укоряй моим трудолюбием; большие все собираемся. Зато надежды, надежды! Мне ужасно любопытно вот что. Не помнишь ли: с чего тебе пришла мысль, что ты глупа для меня! Мне хочется потешаться над этим. Не будет ли справедливее, что я для тебя. Верь, Сара, я всегда мечтаю о твоём уме, как о чем-то ужасно хорошем.*

*Ты пишешь про Ивана Федоровича Карамазова. Позволь мне еще сказать о нем несколько, я ныне более в ударе, чем тогда. Может, что прибавлю, может, лучше изложу. Иван Федорович – это несчастная попытка ума все, природу, как и всего человека, забрать в свою область, все проводить через сознание, все разумом мотивировать. А разве это возможно? Где наука человеческой жизни? Нет ее и в помине. Она будет, конечно, но не скоро, не скоро. В ожидании ее человек живет, двигается всякими наклонностями, привычками, инстинктами. Они часто не только непонятными, даже нелепыми могут представиться уму с его теперешней ничтожной наукой – и все же ведут к удовлетворению разных потребностей познания человеческого типа. Возьми хоть нравственные чувства. Кто будет оспаривать их силу, их значение. И разве до сих пор не идут только разговоры об их рациональном основании? И так многое другое.*

*Неизбежный удел современного человека – жить во многом бессознательно, повинуюсь только сердцу, влечению. И горе тому, кто будет настаивать только на уме. Он исказит, изуродует себя, запутается в усилиях ума. Он будет знать великие нравственные чувства, а в жизни без сердца будет элементарно ошибаться на каждом шагу. Припомни Великого Инквизитора, и какие высокие полеты нравственной мысли, и какая жизнь у одного и того же Ивана Федоровича. Интересно вот что. Это искажение, эта жизнь без сердца вырабатывается ли в наше время торжества разума, или уже дано в самой натуре? Достоевский, очевидно, думает последнее; оттого-то Смердяков и сказал, что Иван Федорович больше, чем кто-либо, Карамазов.*

*И опять вижу: плохо выходит. Оставляю до завтра. Может, поправлюсь. Что за странность, Сара! Прежде мне больше думалось, когда писал; теперь – наоборот. Я больше, лучше выясняю предмет, говоря. А в письме выходят какие-то обрывки. Ведь сам недоволен, вижу, что пропасти недостает, а как-то не хватает настойчивости все собрать и расположить как следует. Поцелуемся, моя милая, пойду спать с горя.*

*Твой Ванька.*



Иван Тимофеевич Глебов, профессор Военно-медицинской академии

*Четверг, 9 [октября], 8 ч. утра*

*...Ты сейчас или собираешься из Ростова, или уже встала в своей деревне, или уже совсем близко к давно желаемому делу, или за ним уже. Тебе весело, конечно, но может быть несколько и страшно, жутко. Обстановка, житье, одна-одиношенька, дело, которое ты все-таки берешь в руки только первый раз, – есть отчего и испытать этот страх, это волне-*

ние. У меня теперь одно средство против этого – это переслать тебе в этом письме горячий поцелуй, именно за этот страх, за эти волнения. Поцелуй – любовь. Чего же больше могу я? Помни, Сара, больше всего помни, что я самый тебе близкий человек и твое дело люблю как мое, как ты любишь его сама. Верь этому. Как я жду твоего первого письма из деревни! Еще раз горячо целую тебя, моя милая, дорогая Сара!

Сейчас надо идти в Публичную библиотеку. На ныне предстоит не совсем приятная работа. Я писал тебе как-то, что оставленные при академии врачи решили поднести сборник своих работ моему «деду» профессору Глебову<sup>62</sup>. Я тоже обещал. У меня есть материалы работы, давно уже сделанной. Я все откладывал печатать в мысли, что черт ее знает: работа первая, глядишь, пристрастно наблюдал, подбирая факты и т. д. И потому все собирался проверить ее. Проверить-то до сих пор не успел, и вот теперь приходится печатать. Будем писать и сомневаться. Одно утешение, что вся штука со сборником – форма лишь. Статья не будет переведена на иностранные языки, а потому всегда остается возможность впоследствии переделать работу, напечатать ее уж на немецком языке и таким образом науке дать то, в чем для тебя самого уж нет сомнения.

Суббота, 11 [октября], 8 ч. утра

...Дорогая Сара, чем достойнее соответственно могу отблагодарить тебя за то, что сделала для меня, чем я считаю себя одолженным тебе? Я конечно никогда не позабуду этого, ни того, что ты сделала, ни того, что связан с тобой вечной благодарностью. Ты возвращаешь мне утраченную было молодость. Я вижу каждый день, каждую минуту, как оживают, воскресают одни за другими в моей душе мысли, чувства, ощущения лучших годов.

Я снова верю в силу мысли, в торжество правды, в правду идеальной нормальной жизни... Верю не словом, но ощущениями в беспредельность развития, в неисчерпаемость, в вечную свежесть высоких наслаждений. Я верю в возврат навсегда той незаменимой несравненной молодости, над которой плакался в письмах к тебе позапрошлую вакацию. Это то, мечтою о чем только жил все это темное, горькое время упадка в моей жизни. О, теперь уж никогда не расстанусь с тобой, золотой период человеческой жизни, никогда не сделаю ошибки, через которую мог бы снова потерять тебя. Я всю жизнь мою посвящу тому, чтобы и другие ценили тебя и не разлучались с тобой!

И все это только через тебя, моя дорогая!

Как бы мог я когда-нибудь не любить тебя! Ты нераздельно связана с тем, чем буду всегда жить. О милые мечты! Спасибо вам! Вы не обманули меня, как и моя правда, светившая единственным огнем в прошлую теперь ночь моей жизни. Я снова люблю вас с тем жаром, с каким любил в те первые хорошие годы. Я опять и горячий, и уверенный ваш проповедник.

Дорогая Сара, наши отношения вступают неизбежно в новый период. Я буду писать уверенный, думающий, откровенный. То, что было, – это не то. Ты меня увидишь таким, каким я хотел до сих пор быть, но все не мог... И потому прочь между нами все мелочи, все шаблонное. Да, мы должны улучшать, совершенствовать друг друга – и в этом успехе нашем только и должны быть: наша радость, наша обязанность, наш вопрос, наша цель. Я получаю, наконец, способность думать о наших отношениях – и в моей голове несколько уже слагается известная картина их. Пусть ее зреет, уясняется. Готовую мы подробно ее рассмотрим и сознательно отбросим все то, что опирается на слабости мысли, на нехороших влечениях нашего сердца. Только правда, абсолютная правда, без утайки, без ограничений! Только она одна – средство к человеческому счастью. Все остальное – о, как жалко! Человеку ли хитрить? С нею он – [слово пропущено – прим. сост.], без нее – невыразимая ничтожность.

Сжимаю тебя в моих руках и целую без конца, моя незаменимая!

Твой Ванька.



И. П. Павлов. На обороте фотографии подпись: «Мунь-муничке Пуль-пуличка. 1880, июня, 18»

*Пятница, 17 [октября], 8 ч. утра*

*...О людях, о школе потолкуем, будем говорить много после, когда и ты больше узнаешь, и меня лучше познакомишь. Теперь от души могу сказать только вот что: меньше войей. Т. е. меньше негодуй, обличай, ругай, жалуйся, бери больше снисходительностью, любовью. Лучшие люди, чем они кажутся, – и на любовь кто не пойдет. Ты сама как-то писала, что с тобой, если что и можно сделать, так только любовью. Думай то же и о других. Сара, это то, в чем я убеждаюсь постоянно.*

*Милая моя Сарушка, пиши ты мне особенно полно, подробно о твоём житье, еде, ведь что ты написала о своей комнате – ужасно. Ты можешь заболеть. Не храбрись своим здоровьем, всему мера! Немудрено надсадиться и тебе. Ой, смотри ты лучше! Впечатление от твоей теперешней жизни будущее может всячески переработать. Но возвращать потерянное здоровье плохо. Помни ты это крепко. Что ты мне до сих пор не напишешь: какими располагаешь средствами, сколько получаешь жалованья? Понадобятся деньги – пиши мне. У меня их теперь много. Разве ты все разделяешь мое от твоего. Я ж у тебя брал – и ты же мне сама внушала, что у нас не должно быть стеснения с этой стороны. Припиши мне особенно, моя милая, что напишешь мне о деньгах, как только будет в них для тебя надобность. Ведь мы одно с тобой, Сара? Что ж, когда мы будем жить вместе, тоже будем считаться? А чем мы теперь не муж и жена?*

*...Лучше бояться, чем храбриться! Боишься, значит, видишь, сознаешь трудности, препятствия. А видеть их – есть первое необходимое условие, чтобы одолеть их. Вот я так радуюсь всякому страху перед каким-нибудь делом; образовалась даже примета в этом роде! Радуюсь и за твой страх поэтому!*

*Ну, а дальше в твоём письме мысль, с которой, мне кажется, нельзя согласиться. Ты пишешь, что не добиваешься благодарности, но делаешь, потому что находишь нужным. Ну, конечно, что само собою разумеется. Тебе не нужно благодарности искусственной, подстроенной, дипломата что ли какого благодарного. Но благодарность искренняя, сердечная нужна, потому что она объективное мерило твоего успеха. Заслужила ты благодарность народа, значит пользу от тебя видят, чувствуют. Я понимаю, когда человек несет людям очень передовую, им даже непонятную идею – и терпит неуспех. Ему остается тогда действительно только собственное сознание своей правоты. Но твоя идея простая, народом давно осознанная – идея грамотности. И потому, милая Сара, именно заслужи их благодарность. Это и будет доказывать тебе твой успех. И всегда во все время соображай ход твоего дела с сердечным отношением к тебе учеников и их родителей. Так или нет, моя милая?*

*Да, вот еще по поводу деревни. Не знаю, впрочем, может быть это уже и не излишняя боязнь! Не очень откровенничай на первых порах. Люди могут сделать пакость, даже и без злобы, а так себе! Вот ты с писарем разговариваешь о Тургеневе, а о Базарове почему-то впереди всех. Будь осторожна. Базаровы – нигилисты, радикалы – ведь это так легко смешается. Осерчает на тебя когда-нибудь этот писарь, да выпьет вдобавок, – вот и пустит без долгого разговора: что вон, мол, кто такая у нас учительница, нигилистов любит, а может и сама тоже.*

*Воскресенье, 19 [октября], 11 ч. ночи*

*Дежурная.*

*Милая моя, ужасно больно, что ты целых пять дней оставалась без моих писем. Что было бы со мной на твоём месте?*

*Твое нынешнее письмо объявилось ко мне со всей неожиданностью. Я все понимаю в этом письме – и все в нем меня приводит в глубокую радость. И твои страхи за успех дела. И твои надежды на наши занятия, нашу жизнь вместе, и твое сожаление, что от меня так долго нет дружеского слова, и твое горе, что мысль обо мне впереди мысли о деле, и твое недоумение, как согласить заботу о личном совершенстве с пользой для других, и сознание собственных недостатков, и решение сделаться лучше. Я все-таки не перечел всего – и не сумел этого сделать, этого ли мало, чтобы радоваться, как я сейчас.*

*Что тебе сейчас могу ответить на это? Одно, Сара, одно: люблю тебя, люблю тебя больше всего и больше всех. Ты поймешь ведь как нужно? Так много хорошего через это письмо переходит от тебя ко мне в душу, что любовь – эта связь между нами – делается ужасно полною, глубокою, широкою. Я не хочу теперь, сейчас разлагать это хорошее приятное ощу-*

*щение на отдельности. Не хочу копаться в себе. Пусть оно цельным останется хоть ночь. Хоть во сне. Завтра поутру разберусь. Прощай, моя милая, хорошая, ненаглядная, до завтра.*

*Понедельник, 20 [октября], 3 ч. утра*

*Здравствуй, моя хорошая! Поцелуемся получше и начнем рассуждать. Ты жалуешься на перо, моя милая. Не права, не права. Посмотри-ка, как исправно оно служило тебе в этом письме. Читая его, я как будто был с тобой целый вечер, прослушал все твои движения, разговоры и с тобой, и со мной. Видел все твои выражения лица. Ведь право так.*

*А твое состояние, милая Сара. В этот вечер отчетливое, меланхолическое. Ведь чем оно характеризуется? Тем, что против каждого утешительного соображения непременно есть неприятное, сколько ты не рассуждай. И это отлично выступает в твоём письме. Хочешь, покажу? Начинаешь, положим, беспокоиться об успехе твоего дела. Естественное утешение – дружеское слово. Ты его справедливо желаешь, ждешь. Ну и конечно бы. Вот и нет: на то и меланхолия. А как же вот другие и без этого обходятся. Никого им не нужно, кроме идеи. А тут вот и давай еще сюда и человека, вот этого. Значит плохо. Естественное утешение: «Будем хорошо заниматься вместе». И опять возражение: «Э, все в будущем; отвод один только – это вместе. Нечего толковать: плохо, плохо!» Естественное утешение: «Будем стараться сделаться лучше!» Казалось бы, что и все, а вот и нет. «Что же, это все самоусовершенствование пойдет, а когда же служение другим?» И опять: «Плоха, плоха, плоха! Буду исправляться!» Должно быть конец и все же нет: «Зачем это написала? Рисоваться? Другой этого бы не писал». И только теперь хорошая объективная речь: «Скоро все пройдет, я не стану замечать всего этого, но тем более надо сказать об этом, чтобы ты (то есть я) напомнил».*

*Да, это, конечно, отлично переданное меланхолическое состояние, ну что же из этого? Его нужно гнать, как болезненное, неприятное? Совсем нет, моя Сара. Об этой меланхолии я высокого мнения. Может, это пристрастие, суждение по себе? Не знаю, но, по крайней мере я убежден в этом. Мне представляется следующее. Человек имеет две противоположные стороны и так устроен, что в каждый момент видит всегда только одну. Хорошо настроен – светлую, дурно – только серую. Значит, полная истина-то о себе дается только этим состоянием. И вот почему я ценю и минуты меланхолии – это уж плохо. Конец развития, совершенствования, коли человек видит в себе только хорошее. Чего ему уж развиваться, когда и так он хорош, без пятнышек! И ты сама отлично понимаешь это, как очевидно доказывает твоя последняя фраза письма.*

*Ну поцелуемся же, моя хорошая, пожарче, на радость, что так хорошо сошлись на таком важном обстоятельстве. Значит, мы доверяем друг другу, что передаем один другому минуты смирения, самобичевания. Это-то и есть верх любви. Я понял теперь, отчего эти письма мне так приятны. Ну, теперь давай перебирать твои печали. Перебирать, кому обидно. Но любви, Сара, можно!*

*О боязни за успех дела поговорим уже: понимаю и целую. Больше сказать нечего! – дружеское слово? Мне ли это не понять, мне ли не оценить, который столько раз, когда приходилось плохо, утешался мыслью, что Сара меня любит, будь при мне – всячески облегчала бы, и мне действительно становилось лучше, хотя и хотелось бы, чтобы было это дружеское слово сейчас, кстати, для этого данного случая. А что другие обходятся без таких слов, без любящих людей, с одной только идеей, то покажи мне их, дай мне их рассмотреть лучше. Может это только мне так кажется? Глядишь, и они чувствуют по-человечески.*

*Мне представляется как-то иначе. Человек потому и человек, что связан чувством с подобным себе. Осуди сама: что же больше связывает, как не сердечное участие, помощь, сочувствие в трудные минуты? Мне кажется, ты не права, когда горюешь, что для тебя человек впереди идеи. Что рассуждать? Посмотри кругом, припомни разные книги: историю,*

как и романы. Ведь это весь мир. Что ж, для тебя несомненно, что в лучших самых людях идея всегда отодвигала назад человеческие чувства. Не наоборот ли? Сколько раз самые высокие идеи: отечество, истина и т. п. приносились в жертву различным межчеловеческим чувствам. И что же при этом другие осуждают? Совсем нет. Все чувствуют правду и здесь. И это в отдаленные времена, как и теперь, сейчас! Идеи и человеческие чувства – это две ужасных силы в человеке, – и дело кончится, так мне представляется, по крайней мере не победой одной стороны над другой, а их слитием. И вот почему вместе является для меня справедливым, верным решением мудрого, большого вопроса.

А ты еще сомневаешься! Мы будем ведь тоже служить идее, почерпая силу в нашей любви, и наоборот, усиливая нашу любовь нашей идеей, почином общим дела. К чему война между нами, когда от их мира выигрывает и то, и другое. Мне думается: это и есть истина по-человечески, реально. Скажи, как ты думаешь?

Бросаю писать. Доктора зовут в лабораторию. Кончу там, опять буду писать. Письмо уж отнесу на вокзал с дежурства.

11 часов в лаборатории сделал, собственно не сделал, а напортил, но все равно – покончил и, забравши бумаги, снова пишу моей хорошей Саре.

Ты не можешь себе ясно представить, как примирить заботы о самоусовершенствовании с заботой о новых других. Мне кажется, при верном понимании, высоком понимании самоусовершенствования, это совсем почти сливается. Начнем говорить о себе с ближайшего. У тебя сейчас дело: научить ребятшек грамоте, внушить им хорошие чувства, потом всмотреться в народную правду, позаимствоваться ею. Проникнуться горем народа, чтобы после всю жизнь свою стараться уменьшить его. Ведь это же забота о пользе других. И разве она тесно не сливается с самоусовершенствованием? Ведь для этого требуется сейчас много и настойчиво думать, учиться любить, быть трудолюбивым и исправным! Ведь это твоя польза, твое приобретение, твое усовершенствование. Так же и должно происходить развитие, улучшение. Как же бы можно выучиться любить? Быть трудолюбивым, оставаясь вдали от дела. Я так наоборот. Не могу представить, как могло бы быть иначе.

Теперь я. Я занимаюсь, или хочу заниматься физиологией: я ищу истин относительно тела человеческого, ведь я их не оставляю для себя. Они делаются ведь общим достоянием, из них делается (или сделается) ведь применение пользы для всех людей, милая, ведь это так? И, однако, это моя польза. Я развиваю, усиливаю, приучаю к хорошим привычкам мою голову, и мне же от этого хорошо, приятно. Ты, может, скажешь: ты не видишь этой пользы. Да, я могу не увидеть пользы от моих трудов сейчас, но я вижу, как уже принимают постоянную осязательную пользу подобные труды других. Когда-нибудь дойдет черед и до моих. Все равно: будем жить этою основательною надеждою. Ведь и это может поддержать живую связь с выгодой. Будем оживлять эту связь мыслею, соображением.

Человеческое дело – необъятное дело. И по времени, и по пространству. И не могут же все люди и всегда видеть свои дела на пользу других законченными. Человек пишет большую книгу, проводит какую-то полезную меру, строит машину, – и не кончит сам. Не успеет; кончат другие – и польза для людей скажется. Что же тот, который не окончил, был бесполезен? Не мог он жить, мечтая о будущей пользе, и тем жить по-человечески?

Когда молодость требует пользы сейчас осязательной, тут есть, конечно, ошибка. Жизнь представляется слишком ужасно, ужасно невыразимо маленькой, когда требуется, чтобы твои успехи отдельного человека могли отразиться на этой невообразимой громаде. Понятно – и потому простительно все это. Но помимо этого здесь есть и правда. Человек часто за этой отдаленностью результата совсем позабывает других, их пользу, и знает только себя.

*Объективно-то польза для других остается. Возьми ученого. Пусть его работа есть только плод стремления к умственному наслаждению, плод словолюбия, дело привычки. Но все равно, рано или поздно, люди воспользуются его трудами. Но сам человек все же может нравственно упасть. Хотя и теперь, мне кажется, надо иметь в виду следующее. Положим опять ученость, пусть человек совсем не думает о пользе других: но и бессознательным, думается мне, эта объективно полезная деятельность ведь же кладет человеческий отпечаток на всего человека.*

*Это, впрочем, оговорка только. Все же нужно признать и такие случаи, где человек, работая хотя и объективно полезно для других, но без мысли об этой пользе, изводит в себе хорошие инстинкты и, соприкасаясь с людьми на других отношениях, кроме своего дела, может поступать с ними совсем не по-человечески. Вот здесь-то и есть правда молодости, стремящейся к постоянной, осязательной пользе, – и об этом, моя хорошая Сара, готов говорить с тобой много и много.*

*При каких обстоятельствах может быть эта нравственная порча при объективно полезном деле и как ее избежать? – вот вопрос.*

*Кончаю, и еще раз: надо идти к профессору Заварькину<sup>63</sup>, за моей работой. Будет время – и еще припишу. Поцелуемся, моя Сарушка.*

*Один ч. Сейчас взял урок жизни. Вчера с вечера принимал хлебы из больницы. Для пробы разрезал и пробовал один, находя слишком подозрительным резать все. Последнее, оказывается, неопытность. Ныне оказалось, что хлеб был плох – и по моей милости, и по милости моей доверчивости больным придется плохо. Следующий раз буду практичнее: подробно испробую все припасы. В жизни надо быть строгим и чаще помнить: не клади плохо, не вводи вора во грех. Люди-то хороши в глубине. Но легко соблазняются. И ты сделаешь им истинное благодеяние, если отнимешь у них случай, возможность каверзничать.*

*Завидую тебе, у меня эти уроки случайность. А ты теперь среди жизни с ее реальными радостями, как и с горькими уроками. Люби, милая, но не сентиментальничай, как я вчера. Еще последнее слово. Будь со мной всегда откровенна, как в этом письме, – про меня и говорить нечего. Мы сделаем лучшими друг друга, достойным, наверное, наше счастье на пользу других. Много горячо целую.*

*Всегда и весь твой Ванька.*

*Ныне на адрес попробую прибавить для большей верности и около Таганрога.*

*Среда 22 [октября], 1 час дня*

*...Что это тебя, милая, за самохуление посетило? Кажется, хандрить бы не место и не время. Огорчена моими этими словами? Именно, и просишь поверить всему, принять за факт, а не за фразы, не за меланхолию. Изволь, порадую, признаю за факт. Вот и испугалась, осердилась? Ведь так, так? Ну-ка признайся в ответном письме, успокойся, однако, моя хорошая! Я понимаю дело, представляю твое состояние по себе и скажу тебе суицидную правду.*

*Я понимаю твое огорчение. Когда нас хвалят и когда мы хорошо, нежно настроены, мы, сравнивая себя с идеалом, сравнивая объективно, конечно (это так приятно!), находим себя очень плохими. Очевидно, ты сейчас в таких условиях. Расчувствовавшись, защищенная или, лучше, освобожденная от услуг в другое время так энергично в нас прикрывающего самолюбие чувства собственного достоинства (и без этого было бы очень плохо), ты валишься в прах перед идеалом и плачешься. Я подойду к тебе, утру твои слезы, поцелую тебя, конечно, и поведу такую речь.*

*Милая, верю, что тебе, как и всем, далеко, далеко до идеала (ой, не оскорбись, чувство это самое собственного достоинства, того и жди, заворчит. На него полагаться плохо: привередливо, каналья!) И не в том совсем достоинство теперешнего человека, чтобы походить на идеал, куда ему до этого, а стремиться, стремиться к нему! А ты не стремишься? А не*

потому ты и плачешься, что норовишь все к нему, а он как будто все дальше уходит? Верь, так я понимаю и тебя, и себя, и других. Разве я говорил о тебе когда, что ты закончена. Что из ума и сердца своего сделала употребление и большего желать и искать нечего. Наоборот, я именно всегда говорю тебе (я помню это), что тебе нужна еще большая школа. Не это ли я имел в виду, когда писал тебе позапрошлую вакацию о критическом периоде? Не в этих ли видах я радуюсь, что ты окажешься среди действительного дела? Не это ли я говорил тебе уж несколько раз? Что я ставлю моей задачей – дать ход, развитие, предохранить от различной случайности и опасности то, что есть у тебя в уме и сердце? Я мог бы многое наказать тебе. Чего тебе недостает, составляет твои недостатки, – и я постепенно делаю это. И, таким образом, я дам тебе доказательство реальное, что я вовсе не слеп по отношению к тебе. Но тем более ты должна поверить, что я никогда не откажусь от своего беспристрастного (ведь я же не сплошь восхищаюсь тобой) взгляда на твой ум, на твое сердце, которые, поставленные справедливо, составят хорошее человеческое счастье тебя, меня и всех тех, к кому в жизни мы будем иметь отношение.

Я люблю тебя за то, что уже имею от тебя, а еще более за то, чего жду от тебя – и – верь – основательно, так всегда по крайней мере буду убежден я. В этом отношении я неизменен; меня не собьют ни люди, ни время. Ты видишь ясно: я был откровенен – и еще более я убежду тебя в этом, в будущем, говоря о твоих слабостях; – но услуга за услугу! Прими всерьез и мое признание.

Ты должна быть лучше, счастливее меня уже потому, что ты еще можешь переделываться, развиваться (вон тебе твои крестьяне все дают только 16 лет), а я – в это можно верить не без основания – очень может быть более или менее сложился, изменяясь мало. А сколько скверного, сколько недостает? Вот почему так крепко держусь за тебя моим сердцем и мыслью. Не больше ли изменюсь и сам в хорошую сторону, имея приятелем, женой, близкого человека, которому предстоит еще такое большое развитие. Ну что, довольна, убедилась? Поцелуемся покрепче ради наших хороших надежд – и перейдем к другому.

Я хотел бы быть на твоём празднике, целовать тебя во время твоей так понятной мне радости и сказать несколько слов. Могу, хотя и поздно, исполнить только это последнее желание. Обрати все твоё время, все твои силы, все твои желания только на успешное обучение вверенных тебе ребятешек. Помни, что твоя эта деятельность составляет самую высшую, самую горячую (ты видела это) мысль, утеху нескольких сотен, так всегда и всеми обижаемых людей. Найди в себе, в глубине своего сердца, решение (истинно гуманное) исполнить это их хорошее желание. И другое, относительно самого школьного дела. На первых порах следи, чтобы оно было сначала, как и до конца, предметом твоего живого деятельного мышления. Каждый день сама с собой в письмах ко мне сообщай, что дал тебе в школе прошедший день фактов и наблюдений, какое они допускают заключение, что нужно разъяснить следующие разы.

Не упадай духом, когда уроки кончатся неудачами, путаницей, неудовлетворенным желанием. Подумай вечером. Ты не раз увидишь, что дело не так плохо, как показалось, даже порадуешься, что это именно так случилось. Что оно указало тебе что-нибудь очень важное. Явится уверенность, надежда, опять планы, – и ты придешь на новый урок бодрой, веселой, не раз вдохновенная. Я тебе говорю это, не сочиняя, а просто перенося на твоё дело то, что испытал не раз, занимаясь физиологическими опытами.

Частная заметка. Люби, следи внимательно, особенно за тем, что не выйдет по твоему расчету; здесь, наверное, сидит что-нибудь интересное, для тебя совершенно новое. Это тоже с физиологии...

Суббота, 25 [октября], 11 ч. ночи

...Думал я... думал, моя дорогая, и додумался. Все эти последние неприятности, обрушившиеся на меня, и как будто случайные, имеют свою правду, свой смысл, свою уместность, так сказать. Они – достойный конец, венец этой дрянной одиночной, холостой – выразимся как все – жизни. Ведь недаром они так чудно пришились по времени. Не спорь, Сара! Я говорю это спокойно, равнодушно.

Моя жизнь в последние годы все более и более сбивалась с настоящего человеческого пути. Хандрилось недаром. Не без оснований эта постоянная хандра была отголоском борьбы, которая велась во мне все это время, борьбы идеалов лучших годов, годов святой мысли и неиспорченного сердца— с ошибками, с дрянным влиянием жизни. Конечно, весь этот период теперь не воспроизвести целиком, но многое припомню с тобой потом и исподволь. Кое-что из этой сложности, из этой путаницы – и даже важное – можно и анализировать, уяснить, взять в руки.

Я не любил так долго, я неразборчиво жил с людьми, я слишком поддавался похвалам, на которые так щедры были мои приятели, я не обратил внимания, я мало воевал с моими наследственными некоторыми чертами. Я не любил до тебя, да эту еще любовь, как и писал уже, пока еще не считаю за полную. Про Фелицату Ивановну говорил немало, еще поминал Любовь Александровну Шпаковскую, но что же это: любовь, что ли? И могла ли она на тебя действовать? Входить в тебя, в твою жизнь? Совсем нет. Приятели. Я ценил их достоинства, их нетрудно было заметить. Естественно, хотелось стать ближе к ним, стремиться, положим, видеть их и т. д. Но что же дальше? Это была любовь в фантазии, на словах, но не сопровождалась никакими делами, никакими усилиями, трудом ума, воли, чувств вообще. Это была эфемерная, мертвая, а не живая любовь. Она не имела отношения к моей жизни, к работе моей души. Я жил все это время фактически один, для себя самого, внутри самого себя, только по одним собственным личным, значит эгоистическим побуждениям. Это не могло привести к добру. И что же я теперь? Что не толкуй, все ж, во-первых, эгоизм. В живой фактической любви к тебе – моя надежда, мое человеческое достоинство.

Я неразборчиво жил, водился с людьми. Да! Всегда знал, видел, и теперь тоже, что значат хорошие приятели, и как незаметно, но верно портится человек среди всякого случайного люда. Я говорил тебе уже не раз и повторяю еще раз, как, сходясь, бывало, с хорошим человеком, я чудно боялся, что этого могло и не быть, что я мог не встретиться с ним, или встретился бы с плохим. И все-таки вышло потом к концу совсем другое.

Недалеко ходить, и это имело важное значение: в жизни я живу вот уже три года, а может и больше, с Митей (Д. П. Павлов – прим. сост.), хотя только каждый день убеждался, как мы с ним расходимся, как невыгодно для меня это сожитие. Он счастливого, веселого нрава человек – и благо ему в этом. Но человек без умственного и нравственного мира. Живя с ним, я многое должен был держать в себе взаперти, без практики и многое, таким образом, хорошо позабыл. Почему же тогда не разъехаться? Но это другой вопрос. Я все только рассказываю, что было. Ты мое сокровище. Тот приятель, сожитель, о котором я не переставал мечтать все это время.

Я слишком поддался похвалам, соблазнам приятелей, соблазну успеха. Прежде я работал много и с жаром, разжигаемый самим делом. Только успех награждал за труд и побуждал идти дальше. С течением времени все более и более отвлекало внимание и управляло жизнью воспоминание о сделанном, услаждение успехом. У тебя не идет дело, ты заленился. Ну и что ж? Ты ведь уже и сделал кое-что. В тебя верят, тебя ценят, но ведь, конечно, жить воспоминаниями невозможно. Каждому времени свое, и при старом оставаясь, ты собственно беднее, чем больше, тем дольше. Это и есть так. С тобой, еще воюющий за свое достоинство, еще борющийся после моих последних поражений, я хочу (и сделаю это) опять набирать в себя, а не растрчивать только старое добро.

*Я мало воевал с некоторыми наследственными чертами. Моя невнимательность, моя забывчивость, мое добродушие – от отца. В небольшой степени неважные, развитые – они делаются безнравственными, что и действительно есть во мне в настоящее время. Пересмотри всемой последние неудачи, и они находят естественное объяснение в указанных обстоятельствах. Самоуверенность, не соответствующая действительности, невнимательность к своим делам, равнодушие, безучастие в отношении к другим – ведь вот к чему сводится все это. И это так. Мы имеем перед собой только резкое конкретное обнаружение того, что собственно тянулось, развивалось издавна. Сара, признай все это.*

*На этот раз я пишу это, вовсе не бичуя себя, не плачась. Пусть есть, что вышло. Прошлого не воротить, но будущее в наших руках. Вот именно, ясно представляя дело, видя его осязательным, прочным, я смотрю смело, уверенно вперед. Ведь ты не будешь поэтому меньше меня любить. Людям естественно сбиваться, на то они и люди. Лишь бы поднялись, воротились на истинный путь. А я верю в это. Что там жизнь ни делала со мной, а я все-таки всей душой за правду, за разум, за труд, за любовь.*

*Отсюда и моя хандра. Я надеюсь на мою голову, а еще более верю в твою, и рад хоть на слабые проблески хорошего, старого чувства во мне и надеюсь на твое, свежее и деятельное. Как я верю, если бы ты это сознала вполне, что вдвоем, общими силами мы проживем разумно и справедливо.*

*Чувствую, что написал плохо. Не так бы, не так бы сказал это теперь. Ты убедилась бы, что этим я теперь живу весь. Бросился бы я теперь на шею и целовал бы тебя горячо, горячо, моя надежда – Сарочка.*

*Среда 5 [ноября], 11 ч. ночи*

*В письме от 3-го я говорил, что ты с тем твоим письмом неправа и тогда, если допустить, что я действительно нарушал моим отношением к тебе равенство. Теперь я расскажу, почему нельзя допустить этого на самом деле, какой действительно смысл имеет то, что ты почла за нарушение равенства. Ты привела мою фразу: «Моя задача – дать ход, развитие, предохранить от различных опасностей и случайностей то, что есть у тебя в уме и сердце», – и говоришь: «Согласись, что в этом нет равенства». Странно! Мне же всегда казалось, что она проникнута любовью и стремлением к равенству.*

*Вот ее смысл. Ты будешь спорить, что тебе предстоит развитие, усовершенствование? Я на десять лет тебя старше, мечтаю об этом, желаю этого, надеюсь на это. Ну, а скажи по совести, на основании того, что ты видишь кругом, семейная наша жизнь много способствует этому развитию? Не наоборот ли? Не видим ли мы систематическое задавливание сил женщины в семье? И по внешности дело сводится на известную политику мужа. Но не будем легкомысленны и самонадеянны. Тут, вероятно, вина не цельная в нем. Тут главное работает сложность, запутанность жизни. Вероятно, множество и современных мужей тоже мечтали дать простор силам жены. Но их самих постепенно, незаметно, какой-то сложный процесс (кто его воспроизводил? – жизнь) сбил на обочину дороги. И вот я ввиду этого почти закона, перед лицом моей Правды, душевно стремясь к осуществлению моих давних, постоянных идей, повторяю себе и тебе: нет, нет! Я всячески буду бороться, употреблю весь мой смысл, всю наблюдательность, чтобы как-нибудь незаметно для себя не наложить моих рук на какую-нибудь законную потребность, чувство, желание твое, моя Сара! Мне дорога Сара именно в новом ее развитии, чтобы это название было образцом для меня, чтобы я, живя с ней, мог научиться у нее. Мне глубоко горько было бы сознание, что я в чем-нибудь своим житьем с тобой чем-нибудь урезал твою натуру. Такое сознание заело бы меня. Мне дорога правда перед моей Правдой, и, конечно, всякая хитрость, всякое замаскирование тут бесполезны для успокоения.*

*Вот что значило: моя задача – дать ход, развитие тому, что есть у тебя в голове и сердце! Да! Дать, а не помешать – как-нибудь незаметно для себя и для тебя даже! А ты увидела в этом поползновение на твою свободу. Там, где человек боится всей душой, как бы в чем-нибудь не стеснить тебя, ты увидела желание распорядиться тобой по-своему.*

*Я желал бы, я прошу, чтобы и ты, становясь моей женой, поставила себе ту же задачу в отношении ко мне. Верь! Это – серьезное, искреннее желание.*

*Ну, а вторая половина фразы: предохранить от случайностей и опасностей. Это ли посягательство на свободу? Что же ты думаешь, что не будет их, этих случайностей и опасностей, и что их всегда заметишь и избежишь одна? Но в чем же вообще тогда состоит помощь человеческая? Значит, ты никогда и не понуждаешься ни в какой моей помощи, ни в каком моем совете. Что же нас будет связывать? Не знаю, как ты, а я прежде и сейчас думаю и чувствую, как был бы глубоко привязан к тому, кто и тогда, в годы главного развития, и теперь указывал бы на ошибки, на отклонения от настоящего пути в моей жизни. И опять верь: этого жду от тебя для себя.*

*Где же тут неравенство? Что же ты не соглашаешься быть женой того человека, который смотрит на тебя, как я сейчас; как, верь, смотрел и раньше, и как будет смотреть и всегда.*

*Я рассказал тебе смысл моей фразы, взятой отдельно, как стоит она у тебя в письме. Жалею, что хорошо не помню ее положения в моем письме, из которого она взята. Может быть, в ее положении и есть хоть отчасти основание, причина твоего толкования ее. Мне кажется, если я не ошибаюсь, там [она] приведена как заключительная фраза, или как доказательство того, что я вижу твои недостатки, а не идеализирую тебя. Если так, винюсь, прости, я виноват, что тебе она предлагалась в одностороннем виде; ты не имела мотива представить ее во всей ее действительной полноте, во всем ее смысле.*

*Но теперь позволь, моя милая, поговорить о твоих недостатках. Ты спрашиваешь в последнем письме под верь: не подумал ли я, что вся история взялась с того, что ты обиделась признанием с моей стороны твоих недостатков. Слушай же, признаюсь: среди той массы мыслей, которые прошли через мою голову в эти пять дней, было это предложение, но я не высказал бы его прямо сам, потому что находил это залезанием в чужую душу. Я решился говорить только о том, что ты сама высказала. Ты зачем-то это теперь сама спрашиваешь – и я считаю вправе остановиться теперь на этом.*

*То предложение мне было очень горько. Почему? Потому что я всегда самую отрадную, самую приятную (говорю по опыту) сторону дружества, сожительства видел в откровенных указаниях недостатков, конечно, взаимном. Кто же может сказать, что он без недостатков? О таком взаимном указании недостатков мечтал и я в нашей общей жизни. Я же писал тебе как-то, что жду, не дождусь разъехаться с Митей именно потому, что между нами нет прав указывать друг другу недостатки.*

*Заметь это, Сара, это моя неискоренимая черта. Я не мог бы жить с человеком, который не желал знать и не допускал мне высказать моих впечатлений относительно его различных сторон. Такие ведь люди бывают, и хорошие даже. Ты из каких? Я совсем не знаю этой стороны твоего характера. Милая моя, обдумай этот вопрос старательно и передай мне, к чему придешь. Про меня говорить в этом отношении нечего. Мне можно говорить и действительно говорят, что только кому взбредет, а справедливое, хотя и горькое, и подавно все целиком принимается. Верь, я знаю радость принимать замечания о моих недостатках – особенно от людей, любящих меня.*

*Но я скажу и вот что. Я понимаю, однако, и как это может быть трудно. Может быть, я действительно очень резко высказался об этом предмете в том моем письме. Мне кажется, что я тогда же предполагал неблагоприятное впечатление на тебя тех строк. В самом деле, тебе смутно, темно могло представиться, что я теперь меньше тебя люблю,*

*меньше уважаю, теперь, когда заговорил о твоих недостатках. Могла придти и такого рода мысль: «Как ты мог обрадоваться минуте самообвинения и давай поддакивать». Конечно, Сара, не было этой радости. Конечно, люблю тебя даже больше, потому что имею перед собой живого человека, относительно которого уверяюсь, что знаю его во всей его действительности, а не как какой-то всегда подозрительный идеал. А все же просьба! Разговор о недостатках – и особенно в письмах – всегда ведь крайне деликатный и опасный, и очень может быть, я перешел меру.*

*Но дальше, идя по твоему письму. Ты пишешь: «Сознание, что наблюдал и наблюдаешь за моим развитием». Сознаться всей душой. А разве должно быть иначе? Разве твое развитие не есть твое и мое счастье? И если так, разве не естественно жадно, с любовью следить за ним? А ты разве не делаешь и не будешь делать того же относительно меня? Я этого так жду! Да, я хотел бы в этом находить удовлетворение моей любви – делиться с тобой, таким образом передать тебе весь мой смысл, весь мой опыт, всю, какая только у меня найдется, правду. Я не знаю, как же иначе, когда кто кого любит? Разве это значит, что у тебя менее своего смысла, своего опыта, своей правды? Это посильная помощь любви. Так ведь это было и во всех моих письмах? Ты, очевидно, поняла неверно.*

*Ты пишешь, что я хочу пробудить в тебе живое мышление, хорошие чувства, все, на что ты, по-моему, способна. Не знаю, точно ли ты передала мою фразу. Употребил ли я слово пробудить? В таком случае винюся: слово, конечно, нехорошее. Можно было бы прямо, не думая, предположить, что я хочу их только вызвать к жизни – и ничего этого раньше не было. Но могла ли ты, Сара, допустить это? За что же бы я тогда любил тебя?*

*Я помню хорошо, где употребил слово «живое мышление» и подчеркнул его несколько раз. Я говорил о начале занятий в школе. Смысл следующий. Приятно всякое дело умственного характера, то, где во все время поддерживается умственное напряжение, умственная активная работа. Возьму просто чтение. Я отлично это помню. Читая, бывало, какой-нибудь интересный роман, сначала, когда останавливаешься, думаешь, критикуешь, тебе хорошо. Но стоит сорваться, а это так легко – устал, лень, увлечение внешним ходом событий, и чтение делается одновременно и легким, и тяжелым. У меня обыкновенно начинает болеть голова. А во сколько сложнее умственная деятельность среди жизни, хоть, например, учительство? И как действительно легко до такой степени быть обступленной вопросами и при таких неблагоприятных условиях, что начнешь просто от них, этих вопросов, отбиваться и в конце концов разгонишь все – и тогда остается тоскливое прохождение своей службы.*

*Сколько все мы знаем таких примеров! Приведу огромнейший. Кто же будет спорить, что вопрос о воспитании детей в семьях – необъятный вопрос. А многие ли его решают, думают над ним, хотя, наверное, и собирались? А отчего? Оттого, что с самого начала не упорно старались сделать это дело предметом мысли живого мышления. Конечно же, все легче начинать сначала, а не тогда, когда дело усложнится и запутается. Вот это я испытал во многих случаях. Мне представлялось это важным – и счит справедливым напомнить тебе это. Авось, мол, пригодится. А не то, конечно, что я думал, будто бы у тебя нет живого мышления.*

*Ты пишешь далее: «Если ты помнишь содержание твоих писем (особенно последнего), ты согласишься, что ты давал мне даже программу поведения. Ты забыл при этом, что у меня есть своя воля, и что я никогда не соглашусь подчиниться руководителям». Сара! Как могла ты написать это? Выходило, как будто я уничтожаю твою волю. Я давал программу твоего поведения? Я передавал мои впечатления, думы, мой опыт. Но приведи хоть слово с намеком на желаемое подчинение. Разве не всюду подразумевалось: вот как я думаю, а ты сделаешь, как решит твоя мысль? Скажи, как же бы можно было высказаться моему участию в твоём деле? Чтобы я руководил? Ничего не может быть несвойственнее моей душе. Может быть, это ее даже порок. Всегда только сказать свое мнение, но никогда не брать*

на себя ответственности за чужую мысль, чужую волю – вот я. Неужели ты этого не заметила? Да я, наверное, и говорил это не раз.

Ты поймешь теперь, Сара, что три страницы того письма твоего действительно выбрасывали из моей души все сознательное содержание моей любви к тебе. И вот почему я был это время как бы без любви к тебе. Она жила как чувство, без слов, без лица. Мне ничего не мечталось ни о твоей деятельности, ни о нашей будущей жизни, потому что все эти мечты мои твое письмо или заподозрило, или отняло у них всякую почву. Эти мечты разогнаны из души – и смотри, как медленно возвращаются, – на твои последующие письма.

Сара, обрати внимание на эту мою черту: мы ведь должны приноравливаться друг к другу. Смотреть – так я человек добродушный, всем затрагивающийся, по-видимому, довольно поверхностно, не способный к потрясениям. И, однако, это почему-то не всегда так. Когда умер маленький брат Коля<sup>64</sup>, я тосковал по нем чуть не год. Грацианский<sup>65</sup> оскорбил меня, и хотя на другой же день он просил извинения, я, несомненно, расстался с ним на всю жизнь, несмотря на восьмилетнюю дружбу.

Сара, милая моя, пойми как следует эту мою исповедь. Этим свежим случаем я сам напуган. Наша любовь мне так дорога. А она подверглась опасности. Странно! Я ведь вовсе не злился на тебя эти дни, но как-то глубоко чувствовал, что между нами порвались связи, что мы негодны, не сойдемся для общей жизни.

Довольно! Уже очень поздно! Завтра поутру напишу еще. Целую тебя, моя так неосторожная, невоздержанная, но моя хорошая, дорогая Сара!

Четверг, 6 [ноября], 8 ½ ч. утра

Здравствуй, моя милая! Поцелуемся получше. Конечно, если я прошу обратить твое внимание на последнюю мою черту, то отмечу и сам хорошо, какие козни ты способна выкидывать и как к ним надо относиться. Ты сама теперь пишешь, что «это минута вспышки без всякого основания». Но я не знал до сих пор, что с тобою могут случиться такие вспышки, – и дал развиваться в моей душе всем предположениям и впечатлениям, которые вытекают из этого твоего письма непосредственно, тем более что за тем письмом был долго без твоего письма, т. е. под влиянием тех же впечатлений я должен был оставаться два дня. Я сообразил теперь: об этой твоей черте сообщила и Авдотья Михайловна, когда я провожал ее с именин Юрия Дмитриевича. Это-то, вероятно, и было причиной, что я почувствовал себя после этого разговора лучше.

Но Сара, мне кажется, и теперешняя твоя фраза: «Пойми ты все это, как минутную вспышку без всякого основания» не есть вполне объективная и реальная. Ты так решительно говоришь для того, чтобы сразу, без всякого разговора разогнать все предполагаемые тобою дурные впечатления того твоего письма на меня. Так ли мне кажется? Может быть иное основание. Письмо, между прочим, потому и сильно действительно, что было несколько правдоподобно. Ты радовалась, что избавилась от обязательства сообщать о каждом малейшем движении твоей души. Ведь это напоминает то, о чем у нас с тобой, помнишь, был длинный разговор в Мариуполе, кажется, на второй день после приезда, – да и вообще все то, что ты говорила о твоей неспособности быть откровенной. Может быть, тебе в самом деле тяжело говорить со мной так полно, как ты стараешься? Милая, ты подумай об этом получше, поспокойнее – и скажи мне откровенно, к чему придешь.

Да тоже и об равенстве. Теперь, когда я с грехом пополам разобрался в моих впечатлениях и передал тебе кое-что (я старался-то все, да кажется, что говорю не полно), я скажу тебе то, что было у меня в голове и в эти пять дней, и при писании этого длинного письма. Я, конечно, в предмет всячески старался вдумываться, хотел уловить истину, но как знать, что достиг цели? Конечно, верь, всей душой я хочу равенства. И думается, что я не нарушал его до сих пор и в помышлении. Но почему не допустить, что я так узок, так плохо знаю тебя

*и людей вообще, что я действительно, хотя и бессознательно для себя, нарушил его. Дорогая моя! Пересмотри твои думы, твои впечатления – и передай мне все, что найдешь. Что именно показалось тебе нарушающим равенство? Верь, я готов всегда взять назад, просить прощения в том, что грешил против правды.*

*Вот пока все, что хотелось сказать, но, наверно, еще не все! Буду передавать потом, по мере, как будет приходить в голову. Отвечу на твои письма не теперь, потому что не имею времени сейчас: обещал прийти в известный час в клинику. Чего ты собираешься просить меня и боишься? Будь уверена, всегда пойму верно твой мотив.*

*Я облегчил теперь мою душу, освободив ее от тяготившего все эти дни над ней твоего подозрения – и буду вычерпываться так, как раньше.*

*Крепко обнимаю тебя и горячо целую.*

*Твой Ванька.*

*Пятница, 7 [ноября], 8 ч. утра*

*Прости, милая Сара, за коротенькое спешное письмо. Вчера с вечера долго проговорил с Серезжей, ныне должен спешить в лабораторию, потому что решил сегодня приступить к собственным работам. Теперь только я могу сделаться чистым физиологом, только физиологом. Читай по физиологии, работа – вот все твои дела теперь. И знаешь, в чем сейчас у меня выходит затруднение? Как всегда бывало, мечтается, хочется затеять сразу чуть не десяток работ. Вот и не знаю – как ограничить себя поблагодарнее. Можно по обыкновению разбросаться мыслью, руками – и дело только проигрывает, а не выигрывает. Как обещал и как ты желаешь, обо всех работах и их ходе буду тебе сообщать.*

*Смотри и ты не отступись от своего слова. Пиши о своей школе, о своих учениках, твоих наблюдениях, успехах, неудачах, затруднениях. Ну, как твой ленивый плохой, что желает быть выгнанным? Совладала, нет?*

*Как отличаются Ваньки? Ивану Скачкову мое особенное благорасположение!*

*Ну, а потом, Сара, хорошая, начнем исподволь поговаривать о нашей будущей жизни: как будем жить, что будем делать? Чтобы твои желания, твои мысли были сильнее, субъективнее, ты первая высказывай твои мнения. А сговориться, мне кажется, надо. Что ты думаешь на этот счет?*

*Со вчерашнего дня ты начала, должно быть, читать мои письма из нашего последнего смутного периода – и такое чтение тебе предстоит еще 4–5 дней. Мне очень горько это. Я во все время думал, как это жестоко, но верь, не мог сделать иначе. Ведь хуже бы было не писать совсем или писать не то, что чувствовал? Такая уже наша с тобой теперь судьба!*

*Крепко обнимаю тебя и много целую.*

*Твой Ванька.*

*Суббота, 8 ноября 1880 г., 8 ч. утра*

*Вчера, наконец, моя милая, приступил к работе и я. И знаешь, как энергично? Оперировал сразу 6 кроликов. Тема очень хорошая. Так как доктора-товарищи считают, что я иду от опыта невозможного, невероятного, между тем я головой могу поручиться за результат.*

*Ты все просила, чтобы я сообщал, что я работаю. Изволь, моя хорошая, только на этот раз я не знаю, удастся ли мне понятно передать тебе суть дела и объяснить важность его. Тема не физиологическая, а патологическая, т. е. насчет болезненных процессов. Подвернулась она случайно. И понимая ее значение, я не хотел ее бросить, хотя она и не относится к физиологии. Ну, слушай же изо всей мочи.*

*Во всяком органе, например печени, мускулах, можно отличить две главные ткани. Одна – соединительная ткань, состоящая из палочек-волокон, является в органе в виде сетки. Она одинаково встречается во всех органах и служит, очевидно, как показывает само название ее,*

для соединения, поддерживания других частей органа. Эта другая часть органа и есть специальная ткань его, за счет которой и совершается его существенная деятельность. Эта специальная ткань состоит из отдельных форменных частичек, называемых элементами, клеточками. Эти клеточки помещаются в петлях сетки, образуемых соединительной тканью и, таким образом, слагается орган. Таким образом, печень состоит из соединительной ткани и печеночных клеток и т. д. Конечно, в соединительную ткань проходят кровеносные сосуды, приносящие материал для химической работы специальных клеток. Вот тебе одно предварительное сведение.

Теперь другое: органы, приготовляющие известные соки, жидкости, например жидкости пищеварительные, т. е. действующие на пищу, называются железами. Предметом моей работы служит так называемая поджелудочная железа; называется она так по своему положению. Она приготовляет важный пищеварительный сок, этот сок выливается из нее в кишки с помощью трубочки, идущей от железы и прободающей стенки кишки. Такие трубочки, ведущие жидкость из одного органа в другой, называются протоками. Вот теперь все. Давай работать вместе, если поняла.

В Бреславле для физиологических целей я перевязывал проток поджелудочной железы. Животные не умирали сами по себе от этой операции. Мы их убивали в разные сроки после перевязки и смотрели, что сделалось с соком, с его составом: идет ли еще он, каков, если опять раскрыть проток. Кстати, обратили внимание и на микроскопическое строение железы, оказалось, что после перевязки, когда сок свободно не может вытекать в кишки, а застаивается в самой железе, в железе начинает чрезмерно развиваться соединительная ткань. А специальные клетки, очевидно, сжимаются и низводятся до весьма небольшого количества. До нас еще было известно, что перевязанный проток железы через месяц-полтора восстанавливается еще сам по себе, и сок снова течет в кишку.

Вот в чем теперь мой вопрос: как сок снова пролагал себе свободный путь в кишку, что делается с ненормально развившейся соединительной тканью и с исчезнувшими специальными клетками? Я того убеждена, что железы совершенно возвращаются к норме, т. е. лишняя соединительная ткань пропадает, а пропавшие клетки нарождаются вновь. Вот какое имеет значение это в учении о болезнях. Закрытие протока, которое я производжу перевязкой, в человеке может произойти так. При тайном катаре кишок в них на стенках образуется много густой слизи, и эта-то слизь может замазать, запереть отверстие протока разных желез. И в железах образуется такой же застой сока, как при перевязке протока. Тебе известен один такой пример. Знаешь желтуху, она происходит описанным образом. Слизь при катаре запирает проток, который вел желчь из печени в кишки, и желчь, теперь застаиваясь, всасывается в кровь и, понятно, окрашивает все тело. Ты знаешь, что делается с органом при застое сока? И знаешь, что катар вещь исправимая. Значит сок, задержанный, снова может течь в кишки. Понятен тебе после этого интерес вопроса: ну а изменившаяся-то железа теперь возвращается к нормальному строению? Если ты поняла и интересуешься, то я скажу тебе потом, откуда я еще до работы вынес убеждение, что должно быть так, как я думаю, и потом, как я буду проводить опыты. А не хочешь ли ты догадаться и сама, как нужно делать опыты в этом случае?

А может быть тебе совсем непонятно все это, а если и понятно, то ни капельки не интересно? В таком случае за неприятность такого чтения дай я тебя, моя хорошая Сарочка, расцелую покрепче, да побольше.

Первым делом, моя дорогая, скажи от меня самую сердечную благодарность твоей старой хозяйке за то, что она заботится о тебе, надевает платок, галоши, а от тебя, моя взбалмошная, чего не станется? Кто-то за тобой так будет смотреть, когда переберешься в свою школу? Посмотрим, посмотрим, моя первобытная милая, как это тебе дастся систе-

*матическая работа? А ведь волей-неволей немножко должна будешь поучиться и ей, что ни толкуй...*

*Суббота, 15 [ноября], 8 ч. утра*

*...Передам тебе, что сейчас волнует окружающую меня компанию. Два события: в науке и искусстве. Три-четыре дня тому назад Академия наук забаллотировала Менделеева<sup>66</sup>, представленного в кандидаты в члены по химии. Конечно, это немецкая штука! Что может быть несообразнее? Прокатить в высшее ученое русское учреждение признанного всеми первого русского ученого! И на этот раз, кажется, мера русского терпения переполнилась. Немцам придется плохо. В первое время – что помоложе хотело просто скандалить, например бить стекла у академиков. Теперь успокоились. И в проекте имеется ошкаться Академии в ее акте. Это что касается до молодых страстей. Благоразумие подстраивает историю почище. Сейчас рассылаются ко всем русским химикам приглашения подписать протест для опубликования в газетах. Прочел: короток, но выразителен. Забаллотирован, дескать, Менделеев. Бесспорность его научных заслуг, известность за границей делают его неизбрание необъяснимым. Ввиду повторяющихся неизбраний русских ученых русские химики считают себя обязанными обратить общественное внимание на это странное явление. Затем протест опубликует от себя Петербургское химическое общество. Слышно о протесте Общества русских врачей. Как видишь, крупная и правильная борьба с неметчиной.*

*Теперь – события в области искусства. Помнишь ты или нет, или не слыхала о художнике Куинджи? Он написал, между прочим, знаменитую «Украинскую ночь». Так этот самый Куинджи написал новую картину: «Ночь на Днепре»<sup>67</sup>. И публика, и художники разинули рот от изумления. Я смотрел картину два раза. Понимаем ли мы, что это совершенно новый шаг? Дело, видишь, в чем: луна и отражение ее в реке действительно светят, как в натуре. Вся картина весьма напоминает то, что мы видели с тобой на Дону, в те лунные вечера на Донском бульваре. Только жаль, что самое-то главное для нас приходится только вообразить!*

*Целую, целую мою хорошую Сарочку!..*

*Мне хочется сказать тебе хоть немного по поводу того, что написала ты о последнем деле. Я понимаю все эти твои слова, выражения как взрыв естественного сочувствия роковому всероссийскому несчастью: той современной неразглядной путанице в идеях, чувствах, поступках. Я выразился, может быть сухо, официально. Верь, я понимаю хоть несколько живую сторону впечатлений. Это все до чувств. Но мое идейное теоретическое отношение к делу, повторяю, ты знаешь – я сейчас не имею основания менять его. Ты отчетливо представляй это, чтобы не обмануться. Моя дорогая! Верь: это не вздор. Я боюсь все, как бы между нами не проскользнул незаметный обман, неверное представление друг о друге. Мою ненаглядную крепко прижимаю и долго, долго целую.*

*Твой Ванька.*

*Пятница, 21 [ноября], 9 ч. утра*

*...Вчера операцию сделал, какую хотел. Посмотрим, каково пойдет? Ведь делал на твое счастье. Собака должна жить. Много ли проживет? Сейчас пойду наведать.*

*Ну, насчет «Карамазовых». Яне буду передавать тебе так, как думал было, потому что в последних книжках о Карамазовых и о разных лицах романа уже мало. Все занято описанием суда над Дмитрием Федоровичем, т. е. характеристикой следствия на суде и прениями. Конечно, и это очень хорошо. Но это передавать неудобно. Надо самой читать. Особенно ядовит по отношению к адвокатам. Составлена речь защитников. Едва ли в русской литературе какая другая сатира могла бы сравняться с этой!*

*Собственно, относительно лиц романа интересно следующее. Иван, как и хотел, явился в суд и, к удивлению всех, объявил себя виновным в смерти отца. Вид, слова до такой степени*

носили больной характер, что его прямо признали в ненормальном состоянии, и большие разговоры о нем не было.

Отличилась, сказав о себе последнее слово, Катерина Ивановна. Сначала в первом своем показании она была тем, чем казалась по всему роману, т. е. своей несбыточной обязательной нравственной любовью к своему постоянному оскорбителю – Мите, и высказывалась вполне в пользу Мити, так что ее показание много расположило в пользу его. Когда вышел эпизод с Иваном, комедия Екатерины Ивановны лопнула, и лопнула с большим треском. Оказалось, она любила Ивана и, конечно, ненавидела Митю. И эта долго сдавливаемая ненависть теперь заявила с тем большей силой. Она обзывала Митю всяческими сильными словами и, наконец, представила его пьяную записку, писанную им за 2–3 дня перед смертью Федора Павловича, где он обещался убить отца. С этой минуты, конечно, участь Мити была решена. Впечатление от изобличения Екатерины Ивановны на всех было решительное, подавляющее. Достойный конец деланного подвига обязательного самопожертвования! Несомненно теперь, что Катерина Ивановна, так неопределенная во все продолжение романа, теперь этим своим концом возведена на степень одного из интересных и законченных типов романа.

Митя приговорен к 20-летней каторге как отцеубийца. Алеши и на суде остался, чем был, т. е. наивным служителем истины. Забавно, как все мы проврались. Все думали, что роману конца не будет, потому что признанный и самим Достоевским за героя его Алеши как был, так и до теперешнего конца остался присказкой! – и, значит, нужно было ждать впереди и очень впереди его настоящее героичество. Отчего вышло так? Я думаю, что Достоевский прервал роман искусственно, уставши. Что ты насчет этого полагаешь?

Крепко обнимаю мою единственную Сарочку и долго, жарко целую, целую.  
Твой Ванька.

Воскресенье, 23 [ноября], 5 ч. дня

...Хорошая моя, не унывай! Что случилось с тобою в школе? Не думала же ты, что дело без трудностей! Ты их, конечно, ожидала. А ожидала, так и не струсив и будешь воевать. А, победивши, только порадуешься пуце. Я готов уж сейчас целоваться на радостях победы, а тебе, должно быть, ужасно занятно знакомиться с новыми. Ребятишки, они ребятишки, а все же каждый уж носит в себе наклонности, характер взрослого. Сколько пред тобой пройдет интересных типов мысли, характера, сердца. Ведь это дорогие сведения, хорошая наука! Наблюдай за каждым, что ему свойственно, и знаешь что? Не мерь всех общим аришином. Настой, если можно (мне это хочется, но я ведь не знаю дело ближе), пред всеми на мысли, что каждый со своими способностями, наклонностями имеет свою ценность. Когда я сказал: настой на мысли, я не хотел сказать, что говори об этом ребятам. Нет, не разговором только, а и постоянным поведением, обращением твоим показывай это. Нет, кажется, передал мою мысль совсем плохо; совсем не могу думать последние дни. А может быть, и мысль-то совсем элементарная, неинтересная. Тогда прости, моя милая! Что думалось, то и написал.



Степан Сабсович. На обороте фотографии надпись: «Степочка Сабсович из Таганрога, товарищ И.П. по В. М. академии». Публикуется впервые

*Среда, 26 [ноября], 8 ч. утра*

*Поправление мое, милая Сара, от хандры идет очень медленно, потому что все остаюсь без дела. Вчера насквозь целый день был занят разговорами. Поутру читал лекции 3 часа, придя с них домой застал Пеитича (ты его видела у меня). Он пробыл до пяти, а в шесть пришел Собсович и оставался до двенадцати. Хоть и приятно говорилось, особенно с последним, а все же не дело. Собсович тоже очень обрадовался, когда узнал, что ты приедешь на Рождество.*

*Много говорили о твоём учительстве, и учительстве вообще. Много спорили насчет трудности жизни интеллигентного человека в деревне. Собсович находит эту трудность весьма большой, почти невыносимой. Я не совсем это смог понять, мне казалось, что, например, в твоём положении можно пожить в деревне не с радостью, с интересом. Правда, я больше умозрел в споре, потому что сам не жил в деревне, а Собсович как-то пробовался, хотя без определенного дела. Ну, рассуди нас, моя хорошая! Оба соглашались, что тебе, должно быть, очень трудно, потому что очень много народу.*

*По обыкновению, много говоря об учительстве, я убедился, что мое истинное призвание – педагогическое: в Гимназии или в каком другом учебном заведении, хотя бы в народной школе. В самом деле. Не гожусь я для жизни среди взрослых. Никогда нет примирения с этим жизненным комедиантством, с этой внешностью, так далекою от истинных желаний, намерений, чувств, мыслей. Ты счастлива, моя драгоценная, тем, что можешь в твоих ребятишках видеть их душу до дна, видеть их истинные восторги, действительное горе, настоящее желание, видеть людей, а не обязательных актеров. Я завидую тебе. Я бы ликовал в этой истинно людской компании. Может и идеализация! Разбей ее, если это не так. А мне всегда и теперь верится в это, если бы ты догадалась, как влечет меня сейчас к этой детской компании и как мне хорошо представляется среди нее. Поцелуемся покрепче! Может быть, поцелуи лучше передадут то, что не выразили вполне слова.*

*Вчера от Собсовича узнал об одной вещи, которая повергла меня в истинное огорчение. То, о чем я мечтал так много, и что все напрасно пытался осуществить, – это так было легко, доступно. Оказывается, что Энгельгардт<sup>68</sup> – профессор-химик, изгнанный в свою деревню (ты знаешь, вероятно, о нем), сколько уж годов принимает в свое хозяйство разных интеллигентных людей на тот или другой срок по желанию. Вот если бы знать! Все бы вакансии проработал у него. Ну, не досада так желать и не воспользоваться для этого желания тем, что лежало почти под носом. Собсович сам знает несколько студентов, живших там не одну вакансию. Странно, как я этого не знал. Много статей, появившихся в разных журналах последнее время о житье в деревне, написаны именно лицами, жившими у Энгельгардта. Утешь: поцелуй получше.*

*Медицинский совет завтра; книг не оказалось, а в клинике вчера не был. Ты пишешь, что у тебя в комнате очень холодно. Ты заболеешь. Чего не топят больше? Покупай сама топливо, если выдают мало. Прижимаю и крепко целую.*

*Твой Ванька.*

*Суббота, 6 декабря, 9 часов утра*

*Поцелуемся, милая Сарочка, покрепче, потому что я тебя очень люблю. Да, да! С тобой, через тебя я возвращаю-таки «прелестную юность». Не думай дорогая, – пародия на «Фауста». Нет, нет, я сейчас просто, без фраз, убедительно расскажу, будь уверена, что не говорю комплиментов. И прямо видно будет, что дело обыкновенное и откровенное. Что же это за комплимент, что ты молодая, и я учусь у тебя юности. Не спорь, милая! Взаимный обмен услуг. Но, а ты у меня поучись чему-нибудь другому. Твои последние письма многое мне напомнили из хорошего времени, и многое хорошее подвинут сделать. Ну, хоть вот эти твои*

*сборы укрепят волю. Это молодость, дорогая, бесценная! Тем она и хороша, что человек не представляет жизненную фигуру без надежды, без видов на развитие, на усовершенствование. Да и как приятен, резко радостен этот процесс переделки! Это я знаю-таки по прошлому. Знаю – и, однако живу, как живет, без усилий, без ломки. Сколько есть дрянных привычек, слабостей, и одна песня рядом с этим: э – да пусть сойдет, останемся при том, что есть. Если это не всегда так говорится сознательно, зато на самом деле так.*

*А разве не может быть иначе? А разве нельзя присмотреть за собой, пристегнуть себя, заставить себя бросить дрянное и заменить хорошим? Неужели оставаться тем, что есть? А опыт, о котором столько говорили? Попробую, что бог даст. И это ты, милая, которая возвратишь меня ко временам, когда человек находится в процессе делания, образования. Помнишь, я тебе показывал в Фаусте?*

*Экая досада! Постоянно чувствую, что перо отстаёт оттого, что есть в голове, сердце – и все-таки ничего не поделаешь. Сколько хотелось вчера написать тебе, когда гулял вечером – что вышло ныне? Вообще, милая Сарушка, хандра, время плача, сменилось периодом светлых надежд, веры, энергических желаний – и все это обращается к тебе и в тебе получает силу, от тебя получает толчок. Ну, не спорь, не спорь. Ты можешь говорить, что хочешь, а факта не уничтожишь. Не бойся, Сарка, что это сентиментальность, и застелит она нам истину. Всегда верю, что и ты, несмотря на мои нежности (как это ты все, вероятно, назовешь), если будет случай, мою глупость назовешь по имени и за мое дурное дело не похвалишь; что и я не упущу случая отметить плохое в тебе для назидания. Всегда меня в приятельских отношениях и увлекала именно эта строгая беспристрастная, но любовная критика друг друга.*

*Пятница, 12 [декабря], 7 ч. утра*

*Что с тобою, моя дорогая, не заболела ли ты серьезно? С нетерпением жду твоего следующего письма. Чуть разнеможешься – все должно измениться в плане нашего свидания. И не моги подвергаться опасностям длинной и зимней дороги. Что бы то ни было – все побросаю и явлюсь к тебе сам. Ты помни это твердо.*



И. П. Павлов в лаборатории при клинике С. П. Боткина. Слева от него Е. О. Шумова-Симановская, справа – В. В. Кудревецкий, Н. Я. Кетчер.

1889 г. Фотография из экспозиции Мемориального музея-квартиры И. П. Павлова в Санкт-Петербурге.

На обороте фото надпись рукой И. П. Павлова «Моя первая великолепная самостоятельная школа»

*Кажется, моя милая, давножданная победа приближается. Вновь оперированная все для той же цели собака, можно думать, выживет. Вчера был уже четвертый день. А рана и состояние животного вполне удовлетворительны. Ура кричать, впрочем, еще подожду. Все может быть и худое опять. Ныне оперирую над новым животным. Мне хочется до Святки запасти по крайней мере 3–4 таких собаки, чтобы с Нового года приступить прямо к опытам и наблюдениям. Видишь ли, хорошая Сара, я заметил, что для меня январь, февраль, март – самые лучшие месяцы по деятельности и силе мысли. Вот я и хочу ими воспользоваться, берясь прямо за исследования, исполняя теперь подготовительную, чисто ручную, часть работы. О месяцах это интересно. Случайно от Стольникова узнал, что замечает в себе особенное умственное оживление теперь в месяцы октябрь, ноябрь, декабрь. Нет ли у тебя тоже каких особенных месяцев? Чтобы это значило? Не правда ли, что любопытно разъяснить?*

*Я вот теперь говорю все о работе. Ты, пожалуй, подумаешь, что можешь мне помешать, приехавши. Ничуть, ничуть, моя ненаглядная. Святками я только буду навещать в лабораторию, насчет жития-бытия моих, с таким трудом полученных, оперированных животных.*

*Пять-десять минут и обратно. Будем, если захочешь, прогуливаться вместе.*

*Вчера пришел из лаборатории рано и от нечего делать до обеда пошел на лекции известного теперь российского философа Соловьева<sup>69</sup>, сына московского историка Соловьева. Многие приветствуют появление у нас самостоятельного философа (он и в лекциях рассказывает не историю философии, а развивает собственную философскую доктрину). Как явление*

*крупное, признак нашей полной взрослости. Все ведь у нас есть, только философию приходилось еще ожидать. Прослушал я вчера и внимательно эту философию российскую, потеха это, ребячество, а не философия. Российского философа еще нет... А может, его и не будет никогда. Может, и время для них миновало, а может ведь, русский ум не для философии.*

*Воскресенье, [14 декабря] 9 часов утра*

*Поцелуемся, моя ненаглядная Сара, как целовались в самые горячие, искренние минуты нашей любви. Мы опять один человек, твоя радость – моя радость, твое горе – мое горе. Опять между нами светло, хорошо. Ведь так, мое утешение? Это ведь верно. Мы будем всегда говорить правду друг другу? Мы оба искренне признали над собой одного судью. Правду! Мы будем давить в себе всякие мелочи! Мы изгоним их из нашей жизни. Мы будем волноваться, но хорошим высоким человеческим волнением: успехами науки, идеи, жизни или их неудачами; будем жить, возбуждаться (этим), – душа наша ясна – а не недоразумениями. Ведь так, моя хорошая? Мне ужасно, непременно хочется верить, что это будет так. Только этой верой и крепко наше будущее! И ты думаешь так же, так же, так же?*

*И все как-то плохо! Мне не передать в письме то, что чувствуется, думается об этом предмете. Мне не передать тебе, как велика надо мной сила правды, и как бесконечно законно каждое твое справедливое желание, требование, чувство и т. д. пред каким-либо посягательством с моей стороны. Мне не сказать тебе, как беспокойно начинает биться сердце при одной мысли, что мелочные столкновения могут иметь место в нашей общей жизни.*

*И все не то! Но успокой меня, моя радость, скажи, что ты понимаешь это и желаешь, страстно желаешь, ждешь, обещаешь то же.*

*Твои затруднения, милая, относительно систем обхождения с учениками меня интересуют, я буду ждать сведения об этом деле, как в военное время телеграммы с поля битвы. Ведь эта вещь мне ужасно близка – это моя постоянная вера – задача внушить хорошее только путем убеждения, искренности, душевности, любви. Вот, что действительно у нас с тобой общее. Дело трудное, очень весьма! Легко ли сказать: тебя одной, твоей душевности должно хватить на 70 человек! Но не падай духом! У силы искренности, так думалось мне, особенно прежде, нет границ, особенно в детском, все же далеко неиспорченном мире. А там и помощников много найдешь! Пойми, но действуй сначала хоть на немногих – и вот тебе уж и союзники. Пиши искренно, как можно подробнее все, что только ни заметишь, ни встретишь на этом деле. Ты много можешь, ты такая умная, наблюдательная. Первое-то знал отлично и раньше, а вторую, умную (наблюдательную?), только из твоих писем с июля. Воспользуемся же этой наблюдательностью когда-нибудь и для науки. Не спорь, иначе и читать не буду. А насчет приезда на Рождество? Сколько людей будут рады тебя видеть! Если найдешь нужным остаться в деревне, то это твое дело – решай, как хочешь. Прелую мою Сару.*

*Твой Ванька.*

## **Свидание в Петербурге**

Подошли рождественские праздники. Школа закрывалась на две недели. По горячей просьбе Ивана Петровича решила я на это время поехать в Петербург. Опять с братьями Павловыми жила их мать. Просили меня по дороге заехать в Рязань за их меньшим братом и познакомиться с их отцом.

Провела я в Рязани полдня. От поезда до поезда. Старик-отец принял меня очень сурово, а молодой Сережа с радостью поехал со мной из родного дома. Отец только купил ему билет, а на еду дорогой дал полтинник. Поэтому кормить Сережу в дороге я должна была за свой счет.

Много говорили мы с Иваном Петровичем, спеша использовать короткое время нашего свидания в Петербурге. Во время одного из этих разговоров Иван Петрович прочел мне вот что:

*Взгляд на прожитую жизнь*

*Мотивом к этому обзору следующее: чувствуется упадок интереса ко многим вопросам, прежде живо трогавшим; ясна раз от раза усиливающаяся нравственная несостоятельность.*

*Тот поступок, который раньше лишил спокойствия на несколько дней, теперь часто проходит незамеченным. Прежде вызывали задор цели и проекты как в области умственной, так и нравственной, и физической, теперь это сменилось сожалением, что было, да прошло. На место уверенного отношения к предметам, живого разговора и книги – стали колебания и скептицизм в самых элементарных положениях. Прежнее стремление все анализировать, все сделать сознательным, обратилось в равнодушие или решение чувством. И со всем этим развивается все более и более недовольство собой, и по временам совершенно теряется надежда на возвращение к прежней довольной жизни.*

*Естественен вопрос: что это такое, отчего это? И как это можно устранить? Являлось ли описанное состояние вследствие только медленного уклонения в сторону от настоящего пути развития, или это медленно развившийся результат самых первоначальных условий развития?*

*На этот вопрос более или менее может ответить только пересмотр прожитых годов. Пересматривать прошлое без определенного вопроса представляется весьма трудным. А потому задам себе несколько вопросов, сделаю себе несколько более или менее вероятных предположений, и их-то буду проверять фактами из прошлого.*

*Эти предположения по временам приходят в голову. Одно из существенных предположений: не есть ли основанием этого состояния слишком бездельное препровождение времени, точнее говоря, отсутствие умственной работы? Не есть ли это результат смехотворного отношения к предметам? Насмешка не всегда разбирает и часто способна увлекаться и путать вещи. В конце концов мысли запутываются как для слушающих, так и для отпускающих шутки. Не есть ли это результат разочарования от невыполнения заданной себе программы образования (система образования Огюста Конта)? Не происходит ли это от каких-либо физиологических причин?*

*При рассмотрении этого надо сравнить умственную работу прежнего времени и теперешнего. Оказавшуюся разницу нельзя было бы прямо толковать в смысле причины, вызывающей теперешнее состояние. Может быть, это есть лишь следствие какой-то причины, понизившей уровень умственного и нравственного развития, а не сама причина. Если бы это оказалось самой причиной, то ей самой все также надо бы отыскать более высшую причину, лежащую или во внешних обстоятельствах, или в способе отношения к своей особе: в то время не больше ли употребилось насилия при наблюдении над собой. Может быть, внешние развлечения служат такой причиной и оказываются нужными в известный период жизни.*

*Подумаем же, с какого времени умственные труды уже не наполняют все содержание жизни. В памяти мелькают обрывки в таком роде: была цель, чтобы всякая минута буквально была занята. Мало того, что дома и в классе всегда голова была занята серьезными мыслями, но и на прогулках старались говорить о чем-нибудь важном и серьезном. Понятно, что такого резкого умственного интереса уже нет в настоящем. Теперь в голове на одиночных прогулках или в комнате уже, без книги, бродят совершенно пустые мысли.*

*Где же стремление к идеальному употреблению времени? Теперь почти не проходит дня, когда бы не тянуло в веселую компанию, где время проходит, хотя в умственных, но в веселых спорах.*

*Говорю тебе это из страха за твою молодость, за твои горячие чувства и увлечения всем высоким, светлым, хорошим! Ведь я всегда любовался твоим умственным задором. Будем беречь наше сокровище!*

\* \* \*

Приехав в Петербург в дом неприветливой старухи, и зная свою нерасчетливость, я отдала привезенные мной 100 рублей на хранение Ивану Петровичу. После я в этом сильно раскаялась!

Бывали мы в театрах, концертах, ездили на извозчиках, угощал он меня конфетами, пирожными. Купила же я себе только пару сапог. И вдруг услышала от Ивана Петровича, что у него не осталось ни копейки из моих денег, и что он попросит денег у матери.

На это я не могла согласиться и взяла на обратный путь у своей приятельницы Киечки. После праздничных расходов она могла мне дать тоже весьма ограниченную сумму. Иван Петрович уговаривал меня снова захватить к своему отцу и взять у него денег на дорогу. Сережа оставался в Петербурге, и я не согласилась. Да и не имела уже времени заезжать в Рязань.

Плохие оказались мои расчеты! В пути были заносы. Пришлось ехать долго и впроголодь. Когда я приехала к сестре, нянюшка ворчала:

– Ну что, наездилась? Говорила я вам – хлеб за брюхом не гоняется.

Каково же было мое огорчение, когда в чемодане, очень аккуратно мной уложенным, я нашла только один сапог! О своем огорчении я тотчас написала Ивану Петровичу, но в первом же полученном от него письме стояла записка: «Не ищи твоего сапога, я оставил его себе на память и поставил на письменный стол».

Хоть сапоги-то были мне очень и очень нужны, но подобное отношение не могло не тронуть как проявление нежности.

Много вышучивал Дмитрий Петрович своего брата, советуя пить из сапога чай за мое здоровье. Приятели узнали величину моей ноги и впоследствии, поджидая меня в университетском саду, вся компания пела хором:

*Ходит маленькая ножка,  
вьется синяя вуаль.*

## Снова в школе

В школе все радостно меня встретили. Я привезла много детских книг и пряников детям. Учение пошло весело и успешно. Так мирно прошло время до весны.

При таянии снега маленькая речонка вышла из берегов и затопила деревню. Только церковь и несколько зданий, в том числе и школа, не были залиты водой, так как находились на возвышенном месте.

По площади, отделявшей церковь от школы, ездили на морском баркасе с четырьмя гребцами. В школу привозили из залитых наводнением хат семью за семьей, с курами, утками, поросятами и т. д. Не знаю, куда убрали парты и столы, но в школе все спали покатом на полу. Спали также в сенях, а затем и в моей комнате, тоже покатом. Я одна спала на кровати.

Когда привезли молодую мать с новорожденным, я уступила ей кровать, собрала необходимые вещи в узелок и попросила отвезти меня на полустанок в катере, чтобы с первым поездом уехать в город. Дело было под вечер. На полустанке жил сторож с женой. Днем они выкидывали флаг, а вечером зажигали фонарь для остановки поезда.

Высадив меня, катер сейчас же ушел. Вхожу я в дом – темнота, ни души. Только от шума при моем входе разбежались крысы, которых я смертельно боюсь.

Что делать, как быть? Темно, идет дождь. По сторонам железнодорожного пути вода. Я не знаю, когда пойдет поезд. Со мной нет ни спичек, ни свечи. В темноте я боюсь остаться в домике и решаюсь идти по шпалам до станции.

Сама не помню, как я дошла до станции, промокнув до нитки насквозь. Жена начальника станции, с которой я познакомилась у деревенского священника, была тронута моим печальным приключением. Сняла с меня все мокрое, одела в свое сухое белье, уложила на кровать, напоила чаем с коньяком и дала проспать до утра. Благодаря ее заботам я встала бодрой и здоровой, пропустив, правда, нужный мне ночной поезд.

Горяча была моя благодарность доброй женщине. Я с ней переписывалась до самой ее смерти.

После этого неожиданного перерыва в работе я вернулась в школу, но всего на две недели, так как начались полевые работы, и ученики все перестали посещать занятия.

После свидания в Петербурге мы с Иваном Петровичем продолжали переписку до самой встречи весной. Вот еще несколько страниц из его писем этого периода.

### **Из писем Ивана Петровича к невесте**

*Воскресенье, 18 [января], 8 ч. утра*

*Не ожидал я вчера твоего письма, моя дорогая, и получил же на радость. Тебе устроили в Рязани тяжелейший день. Что это значит? Как это могло быть? Прочитавши твое письмо, страшно озлился на Рязань. Родные, и не могли сделать радость моей Сарке даже день. Я давал слово с ними переписку прервать, [как и] отношения. И верь, моя ненаглядная. Я исполню мое, если они действительно сделали тебе и сказали что-нибудь оскорбительное. Извини, прошу, только в одном случае, если неприятность вышла в неумение – от специальных провинциальных взглядов на жизнь, на счастье, хотя и постоянно имелось в виду только сказать полезное для будущего нас обоих.*

*Знай, моя ненаглядная, люблю тебя больше всех и вперед верь – и потому спокойно, без ревности отнесись к следующим строкам. Прямо по получении твоего письма я бросился делать разные предположения, теперь я их не передаю и подожду твоих разъяснений. Почему? Ты легко поймешь сама, моя умная, хорошая! Дело идет об отце, и в этих предположениях, сделанных под влиянием злобы, могло быть так много оскорбительного для него. Ведь я должен бы догадаться, какую и как тебе сделали скверность? Нынче, милая Сара, я удержусь от этого и горячо, душевно целую тебя, что и ты решила переждать минуты впечатления, чтобы быть справедливой при оценке бывшего. А вчера прямо, читая письмо, я был другого мнения: я осердился на тебя, называя это издевательством надо мной – сообщать о своем горе, неприятности, так близкой мне, вдвойне близкой, и не объяснить – в чем она.*

*А страшило это, Сара, ужасно. Как могли они сделать тебе неприятное? Они считали тебя так близкой, родной. Это верно. Это я видел сам, когда бывал в Рязани, ездил к тебе. Это ясно, вне сомнений, в письмах из Рязани, писанных в ожидании Вашего приезда. Хочется верить, что неприязнь едва ли заметна для них самих, против их давления. Я представлял их! Они ждали четыре дня, собирали комнату, не спали до двух часов, и все только для того, чтобы отсутствием этой торжественности не оскорбить тебя, чтобы оно не истолковано было тобой в сторону невнимательности и холодности. Они не могли допечь тебя своими практическими наставлениями и церемониями без жалости, без деликатности, до слез. Вот она, внешность! Не подумай, что это последнее слово. А еще дальше за этими наставлениями ум и душа. Я знаю ее и верю, хотел бы верить, что их срезала их политическая внешность, – но*

*в душе они не желали сделать или сказать тебе неприятность. Я написал это и боюсь, что тебе покажется, что я защищаю Рязань против тебя, люблю их больше, чем тебя. Нет, Сара, нет. Но они провинившиеся, а я хочу быть осторожным в осуждении их. Обнял бы теперь тебя и целовал, целовал до тех пор, пока ты не сказала, что всех простила и все позабыла.*

*Твой Ванька.*

*Суббота, 31 [января], 5 часов дня*

*Прости, моя дорогая, что пишу плохо. Времени не было написать, а кроме того, очень устал, сейчас и голова побаливает, вероятно, немножко простудился. Вчера с вокзала отправился к Достоевскому. Толкался целый час, едва не задохся. И весь мокрый от поту едва-едва выбрался, ничего не выдавши: масса народа. Усталый приехал домой и остальной вечер проговорили с Сереежей. Ныне с утра решил не писать, чтобы передать о процессии.*

*К 11 часам был у квартиры Достоевского. Милая Сара, ничего подобного я еще не видал. Народу собралось видимо-невидимо. Вся процессия на целую версту растянулась. Масса народу, и над головами этого народа бесконечная вереница венков, наверное, около 40–50: от разных учебных заведений, начиная с гимназий и кончая университетом, от разных обществ, от судебных корпораций, присяжных поверенных, судей и т. д., от редакций газет и т. д. Около каждого венка – соответственная корпорация. На венках надпись из цветов: от кого или перечень романов, или букв Достоевского, или обращения вроде: русскому человеку, великому учителю, другу чести и правды и т. д. Золотом обитый гроб все время несли поднятым над головами. Вокруг гроба на 3–4 сажени во все стороны поддерживали руками непрерывные гирлянды цветов. Вдоль всей этой на версту растянувшейся массы переливалось беспрерывное пение: «Святый Боже» пели не только хоры певчих, но и отдельные группы разных студентов, студентов и гимназистов.*

*Процессия из квартиры по Невскому прошла в Александро-Невскую лавру, где гроб будет стоять до завтра, когда произойдет погребение. Шли целых три часа. Если бы чувствовал все это покойник, остался бы доволен. Его Алеши на последних страницах «Братья Карамазовы» из смерти Ильюшечки сделал высокую нравственную минуту для десятка мальчиков. Сам он своей смертью поднял, возвысил душу всего думающего и чувствующего града Питера. Отдохнувши, напишу много, много.*

*Горячо целую мою впечатлительную Сару.*

*Твой Ванька.*

*Воскресенье, 1 [февраля], 5 час. дня*

*...Напишу тебе, моя милая, опять только несколько строк. Потому что сил нет писать, так устал. Как встал, сейчас же отправился на похороны Достоевского<sup>70</sup>.*

*Ввиду тесноты в церковь пропускали только по билетам, у меня был. В церкви венки, несколько приподнятые, образовали ряды с обеих сторон гроба вдоль всей церкви. Ко вчерашним (которых по газетам было 64) прибавилось много новых. Публика главным образом состояла из молодежи. Были, однако, дамы какие-то и царственные особы. В церкви ректор Духовной академии произнес речь, которая мне не понравилась: не слышал искренности, душевности. После панихиды я, конечно, к могиле не попал. И вдали, в давке слышал только отдельные слова наиболее голосистых ораторов. Все закончилось немножко на русский манер, насильным, нежелательным для хозяев разрыванием венков. Вчера поступил в продажу январский номер «Дневника писателя». Вот и наша с тобой надежда наслаждаться, возбуждаться чтением его. Напишу обо всем и другом; обещаю, вероятно, вечером ныне, когда лучше отдохну.*

*Крепко обнимаю и целую мою Сарушку.*

*Твой Ванька.*

*Вторник, 3 [февраля], 11 часов дня*

*Не пошел в Общину<sup>71</sup>, хоть и есть лекция. Не совсем хорошо чувствовал себя, особенно с утра.*

*Милая моя, дорогая Сарушка! Что-то очень скверно! Тоска, скука какая-то! Безднадежность, неопределенность! Сам не знаю сейчас, какое у меня дело? И за что приняться? Ах, моя хорошая. Очень уж сейчас плохо, а, пожалуй, и всегда! Нарвешься ты на мне крепко, мое сокровище! Ты знаешь меня теперь уж близко, изо дня в день целых 8 месяцев – ну, и что же? Где же дела? Ни черта-то из меня не выйдет, как ничего и не вышло до сих пор. Общее образование? Где оно? Специальное – одна жалость! Пустота, одна пустота бессовестная. Время идет, а на что? Я и не помню, с каких поря не мог назвать хоть одно большое и законченное дело. Жизнь плетется без смысла, без цели, а значит, без энергии, без усилий. Сара, смотри лучше, чтобы после не раскисать. У меня надежда только на тебя, что с тобой будет иначе, переделаюсь, заживу. Сейчас ужасно, ужасно плохо! Право не знаю, что и делать? Хоть бы... Хотел, было написать «поплакать», да глупо показалось: и как, мол, облюбовал средства поправлять жизнь.*

*Вот что, моя милая! Соберу для тебя сейчас, что разбросано в газетах о Достоевском. Ты в Ростове успеешь прочесть только первые известия о смерти. Главным образом пока дают сведения речи.*

*Из речи Пальма<sup>72</sup> на кладбище, товарища по каторге, особенно хорошо это место: «Как теперь вижу минуту нашего прощания в декабре 49 года. Он бодрый, почти веселый и какой-то светлый, верующий, обнял меня и сказал: «До свидания, Пальм. Увидимся непременно. Уже это непременно – увидимся! Четыре года каторги, потом солдатчина, все вздор, пустяки, пройдет; а будущее наше!» Глаза его сверкали, прекрасная, любящая – хотя и не без тонкого юмора – улыбка загорелась на его бледном измученном лице... Прошли многие трудные годы, и в самом деле наступило наше свидание. Ф. М. опять все тот же, бодрый, светлый, верующий – на литературном чтении в пользу учащейся молодежи шепчет мне: «А ведь мы не пропали! Мало нас, а все-таки нет-нет, да и вспомнят стариков... Ведь вот же пригодились, не пропали! Глубоко поучительна эта не умирающая вера в свое душевное дело, которое тихонько, но без перерыва движется, теплится в человеке, помимо всех невзгод. Всего шума, гама и сумятицы внешних, преходящих явлений...»*

*Майков<sup>73</sup>, между прочим, сказал следующее (не сказал, но хотел сказать и не успел): «Об нем многое написано и сказано. Но не сказано, кажется, то, что для меня всегда казалось самым великим проявлением его вершин. Это – каким он возвратился из Сибири. Не убитым, не озлобленным, не возгордившимся ссылкой. Нет, примиренным и просветленным. Там он узнал русский народ в его историческом и человеческом образе, и по этому народу, войдя душой в его душу, узнал Христа... А все это, говорил он, – такое благо, за которое немного заплатит каторгой».*

*Сделаю несколько выписок из Суворина<sup>74</sup> о покойном:*

*«Вторник прошел хорошо, и мысль о смерти была далека. Ему предписали полное спокойствие, которое необходимо в подобных случаях, но по натуре своей он не был способен к покою, и голова постоянно работала. То он ждет смерти, близкой и быстрой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе семьи, то живет, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает, какая светлая будущность ждет это поколение, к которому они принадлежат, как много может сделать оно при свободе жизни и как будет счастливо, и как много несчастных обратит к счастью и довольству...»*

*«Достоевский обладал особенным свойством убеждать, когда дело касалось какого-нибудь излюбленного предмета. Что-то ласкающее, просящееся в душу, открывающее ее всю,*

звучало в его речах. Так он говорил и в этот раз (за десять дней до смерти в гостях у Суворина). У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и все это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходов, и он прибавлял «полная». Суд для печати, разве это свобода печати? Это все-таки ее притеснение. Она с судами пойдет односторонне криво. Пусть говорят все, что хотят. Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам. Потому что у нас работы больше. Нам нужна полная искренность, чтобы ничего не оставлять невысказанным. Конституцию он назвал «Господчиной», и уверял, что так именно называют ее мужики в разных местах России, где ему случалось с ними говорить. Еще на пушкинском празднике он продиктовал мне небольшое стихотворение об этой «Господчине», из которого один стих он поместил в своем дневнике, вышедшем сегодня. Он был такого мнения, что прежде всего надо спросить один народ, не все сословия разом, не представителей от всех сословий, а именно одних крестьян. Когда я ему возразил, что мужики ничего не скажут, что они и формулировать не сумеют своих желаний, он горячо стал говорить, что я ошибаюсь. Во-первых, и мужики могут многое сказать, а во-вторых, мужики, наверное, пошлют от себя в большинстве случаев на это совещание образованных людей. Когда образованные люди будут говорить не за себя, не о своих интересах, а о крестьянском житие-бытие, о потребностях народа – они, правда, будут ограничены, но в этой ограниченности они могут создать широкую программу коренного избавления народа от бедности и невежества. Эту программу, эти мнения и средства, ими предложенные, уж нельзя будет устранить и на общем совещании. Иначе же народные интересы задуются интересами и защитой интересов других сословий, и народ останется ни при чем. С него станут тянуть еще больше в пользу всяких свобод, образованных и богатых людей, а он останется по-прежнему обделенным».

Думала ли ты, моя дорогая, что наш Достоевский мог быть таким социалистом, радикалом! Да, еще Суворин сообщает, у Достоевского был замысел продолжать «Братьев Карамазовых». Алеша Карамазов должен был явиться героем следующего романа, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем, а который вырос вполне на европейских ногах.

«Как Достоевский относился к молодежи – она это сама знает. В последние месяцы он бывал в каком-то восторженном состоянии. Овации страшно подняли его нервы и утомили его организм. Подносимые венки он считал лучшей наградой! В ноябре или декабре, после одного бала в одном высшем учебном заведении, на который ему прислали почетный билет, он рассказывал мне, как его принимали. Потом мы стали говорить, – продолжал он, – затеяли спор. Они просили, чтобы я им говорил о Христе. Я им стал говорить, и они внимательно слушали. И голос его дрожал при этом воспоминании».

Он любил русского человека до страсти. Любил его таким, каким он есть. Любил многое из его прошлого и верил с детской непоколебимой верой в будущее. «Кто не верит, тому и жить нельзя», – говаривал он... И вот почему к нему ходили, как на исповедь, ему делали невероятные признания; в силу его слова верили и стар, и млад...

У Маркевича<sup>75</sup> в «Московских ведомостях» рассказывается сцена смерти. Выписываю следующее: «Двое детей их, сын и дочь (дочь – старшая, 11 лет) тут же на коленях торопливо, испуганно крестились. Девочка в отчаянном порыве кинулась ко мне, схватила меня за руку: «Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтобы, если у него были грехи, бог ему простил», – проговорила она с каким-то поразительным недетским выражением и залилась истерическими слезами.

По отцу и дети, милая Сара! Тут приводятся слова его жены: «Ведь ему жить хотелось еще. Жизнь только начинала улыбаться ему (прорывались у нее слова); он надеялся еще многое сказать... И дышать стали мы легче... И вот... Он мне сегодня сказал: «Весь свой век

*бился я, и работал, как вол, из-за хлеба насущного; думал, вот, наконец, будет, чем детей на ноги поставить, и умираю, оставляя их нищими...»*

*В «Московских ведомостях» приводятся слова Достоевского из письма к Каченовскому<sup>76</sup> от октября прошлого года. «Я человек весьма нездоровый, с двумя неизлечимыми болезнями, которые меня очень удручают: падучею и катаром дыхательных путей, так что дни мои, сам знаю, сочтены, а между тем непрерывно должен работать без отдыха».*

*Все эти выписки сделаны из «Нового времени». Ты, вероятно, уже прочла в Ростове, что из государственной казны назначена двухтысячная пенсия вдове с детьми.*

*Венков было до 70 с лишком. По «Новому времени» в процессии перенесения тела участвовало до 30 тысяч. Суворин закончил свою статью так: «Ничья вдова, ничьи дети не имели еще такого великого утешения, свою скорбь смягчить таким выражением общественной признательности к близкому им человеку, свою жизнь наполнить воспоминанием о незабвенном дне, великом, хотя он и был днем вечной разлуки».*

*В согласии с этим твой Сергей, который все это время сидел рядом со мной и почитывал про Достоевского, говорит, что смотрел во время процессии на вдову и не замечал, чтобы ее грусть выделялась из общей. Стало быть, верно, что в ее печали была и большая радость.*

*Самому Достоевскому, если бы он видел и чувствовал все это, должно было бы быть хорошо! Сколько народу на его могиле приняло решение, дало обет быть лучше, походить на него! Ведь и мы тоже с тобой, милая ты моя Сара!*

*Горячо целую тебя.*

*Твой Ванька.*

*Суббота, утро*

*Обнимемся получше, Сарушка и поцмокаемся! Такс... Теперь за дело! Э-э-э! Сарка? Ты что ж за фантазии разводишь? Что это за знак вопроса с удивлением? Конечно, сделаю (ты знаешь мой настойчивый характер) из моей ветрогонки хорошую семьянинку. Дурка, и это тебе же в пользу! Ясность-то, ясность какая в голове. Путь прямой без закоулков – «Иван Петрович, Иван Петрович». Конечно, Иван Петрович. Это теперь-то позволяю называть и так, и эдак, а как муж – так только «Иван Петрович» и с подбострастием, а не просто легкомысленно. Руки целовать будешь, в глаза смотреть неотступно от глубокой благодарности, что дали чин, порядок, мир твоей стрекозьей душе. Видали мы вас таких-то много! Одно в вас хорошо: страшны на словах, но не на деле! Итак, не воевать. Жди своей судьбы (меня т. е.) со смирением.*

*Исполнивши с достоинством то, что приказывал долг будущего мужа, теперь чувствую некоторое желание, пока еще можно, несколько понежничать. Ничего, ничего, моя дорогая Сарушка, поцелуемся подольше, покрепче и успокоимся. Ведь знаешь, черт не так страшен, как его малюют. К тому же и все дело – о, Сарочка, кажется мне, взялось в связи с твоим визитом к знакомым. Узнал или нет? Перемена тона слишком резка, чтобы не отнести ее на счет чего-нибудь определенного. А больше-то всего то, что ты давно уже все же побросала – и смеешься, смеешься без конца! И мои потуги как утешителя были бы и потешны, и не во время. А потому вовсе не утешаю, а говорю о том, что всегда имеет интерес, независимый от той или иной минуты, и о чем собирался, обещался говорить. Ты знаешь уже очень хорошо мой взгляд на дело. И мне, и тебе (и тебе независимо от меня) предстоит переделка, приспособление, что ли, к жизни – и наша задача в этой переделке как можно меньше уступить из мечты молодости. На том ведь стою – и с того не пойду! До завтра, дорогая Сарка.*

*Твой Ванька*

*Суббота, 14 [марта], 8 часов утра*

*Счастлив, моя радость, Сарушка! Экзамен у Грубера прошел благополучно<sup>77</sup>, сверх всякого вероятия. Успех придавал уверенности – и я решил в эти оставшиеся недели до Святой всячески покончить с экзаменским делом. Не верится только, чтобы было возможно отъехать в Ростов по вашему расписанию. А ужасно бы хотелось: ведь тогда до нашего свидания оставалось бы только 3 недели, просто невероятно, как это было бы скоро. Последние 3–4 дня учился почти насквозь целые сутки; спал только раз и то три-четыре часа. Зато вчера, пришедши вечером с экзамена и пообедавши, прилег в 8–9 часов и продул до сих пор. Стало быть все выровнено. Сейчас чувствую себя прекрасно. Досадно одно, что и теперь не могу тебе писать столько, сколько бы хотел и нужно. Поутру (два часа дня) лекция у медичек. А к ней надо много прочесть, «сообразиться».*

*Милая, не сердись на то, что все откладываю подробное письмо; верь, что сам хочу больше говорить с тобой, мое сокровище; но ты видишь, дела и неотложные. Нынешний вечер свободный – вот и расквитаюсь с тобой.*

*А писать надо ужасно много. Когда я вчера думал о твоих письмах и ответе на них, мне стало просто боязно, что я не успею написать так полно, как бы нужно, что я не выложу на бумагу все то, что было в душе. И все мечтал: если бы говорить вместо того, чтобы писать. И потому я сейчас дам ответы только на отдельные вопросы, отдельные заметки твои.*

*В последнем письме ты отбросила твои желания жить еще в деревне. Я принимаю это перерешение как окончательное и вот почему. Нет сомнения, что состояние, подобное только что пережитому во время наводнения и после наводнения, повторится в той или другой степени и опять, и может несколько раз. Но так же, несомненно, будут охватывать и те желания, которые напомним твое последнее письмо. Последний противник никогда, никогда не уступит первому, и будет наносить ему более частые удары, чем дальше пойдет дело. Бабы правы, через год ты не узнаешь сама себя, так измучает тебя любовь, требуя своего. И потому ты не будешь гасить эти могущественные стремления – и я не хочу быть советником против любви. Мы съедемся, как условлено. Плохо написал, сам чувствую, может поправлю в следующем.*

*О смерти Царя писать бы теперь уж мне поздно<sup>78</sup>, надо полагать, наверно, достала уже какие-нибудь газеты. И тут сглушил: надо было тогда же послать тебе газеты из Питера. Впрочем, фактического и немного, кроме того, что писал тебе. Подкоп в Малой Садовой – факт. По всему делу, кроме Рысакова<sup>79</sup>, арестовано и еще три участника: двое мужчин и одна женщина. Суда еще не было. Царя будут хоронить завтра. Около недели его труп стоял в Петропавловском соборе для прощания с ним народа.*

*О сравнении с приведенным Спенсером между индивидуумом и обществом, хоть помню теперь плохо, но знаю, что в свое время, когда читал, тоже не понравилось: как-то формально, отвлеченно, не действительно. Ты пишешь, что много не поняла – и мне ужасно приятно, что в этом я могу несколько помочь тебе впоследствии.*

*Только вот что, моя дорогая, ты не преувеличивай действительности, не ставь меня в смешное положение. Ты пишешь, что не можешь представить, чтобы я чего не знал. Верь, Сара, я – большой невежда. Я знаю очень мало.*

*Я знаю очень мало. Я знаю, что где лежит, но все только еще собираюсь брать – и теперь, наконец, остановился на надежде, на утешении, что мы будем набирать знания, отыскивать истину вместе с тобой, взаимно помогая друг другу. Не спорь, не спорь, иначе осерчаю, мое сокровище Сарка! Крепко обнимаю тебя и целую без конца.*

*Твой Ванька*

*Среда, 1, 11 часов ночи  
(1 апреля 1881 г.)*

*Милая моя, порадуйся со мной: я ныне словно вытасцен из тюрьмы. В самом деле, все последнее время меня словно держали в цепях. Теперь цепи свалились, и я чувствую себя легко, блаженно. Я снова благословляю любовь; люблю тебя ужасно, нежнее к себе, готов делать добро всем, надеюсь, мечтаю, имею уверенность. А тебя как люблю! Хотел бы быть с тобой, прижаться к тебе и только бы говорить: люблю тебя, моя дорогая, много, много. Сарочка – моя радость, моя утеха. Все нынешнее утро я не читал, я думал только о тебе. Твое последнее письмо придало мне еще более радости. Потому что порыв получил новую пищу для тебя. Вот и наука, которую я ждал от тебя, наука правды.*

*Попалась ты, наконец, моя дорогая. Теперь уж не заспоришь. Вот уж тебе и наши образцовые чувства. Помнишь о затишьи, о возможных, по-моему, счетах. Я-то заговорил, я предполагал, значит, в душе было что подобное. Ты, милая, показала, как быть должно, ты вразумила. И за этот урок много и тепло целую тебя. Этих уроков я ждал, на них рассчитывал, об них мечтал. И какая ты умная, Сара, если уж, дескать, чего стыдиться, то самих чувств, а не того, что другие узнают об них. Милая, верная, всегда сам так думаю; здесь только провалился.*

*Люблю тебя много и за твое твердое прямое слово о моем приглашении ехать в Питер. Мне помнится, что написано тебе это было грубо, даже, пожалуй, самодурски. Сознавал я это и тогда, но как-то скверно был настроен и не сумел поправить. Выходило, в самом деле, как будто все дело в моем экзамене. Твое желание, твои расчеты как-то игнорировались. Одно могу сказать в оправдание: и тогда имелась в виду боязнь, не вышло бы тебе какое горе от этих неспящих бесконечных ночей. Но все равно грубость оставалась грубостью – и ты возвратила меня в границы. Дорогая, горячо тебя целую за это. Это и есть то, что всегда желалось в супружеской паре. Это – равенство. Это – взаимное обучение справедливости. Так и будем всегда стараться жить. Тогда мы всегда будем идти вперед, делаться лучше один перед другим. Теперь, как и всегда, неумытую, неограниченную никакими соображениями правду считаю первым основанием счастья всяких союзов. На этом же, верь, будет всегда стоять и наш. Твое желание идти в деревню всегда ценил, уважал, ты знаешь это, и сейчас уважаю его больше, и любить через год будем друг друга не меньше, а больше, гораздо больше, потому что уважать будем больше.*

*А знаешь, что утром особенно взволновало меня? Я перечел все твои письма за этот месяц. Так много от тебя любви, чувства, что занялась, зажила и моя душа. Как мне было хорошо, моя милая! Помнишь, что ты писала в письме от 9 сентября, которое еще не пришло тогда ко мне вовремя! Так-то же чувствовал и я, только не выразить, не сказать мне, как могла ты. Я выберу такие письма, буду читать их каждый день и тогда уж ничто, ни на минуту, не бросит тень на нашу любовь. Да, теперь недавняя история кончилась и все истории тоже.*

*Ты как-то спрашивала: утешался ли я во время истории физиологией)? Радуйся, милая моя, сильнее физиологии сказалось горе любви. Плохо или хорошо это? Для меня это хорошо должно быть. Всегда же говорил, меня надо сокрушить дотла. Чтобы могло быть построено прочное здание истинного счастья. Целую моего спасителя – архитектора долго, долго.*

*Твой Ванька.*

*Вторник, 7 [апреля], 7 ч. утра*

*... Знаешь, что я заметил. Мне представляется, что мы чувствуем, как будто и на такое большое расстояние друг от друга, без писем, раньше писем и просто так, душой. Что называется у нас «сердце сердцу весть подаст». В самом деле, пересматривая твои письма и вспоминая свои настроения, я понял, что очень часто и хорошо, и дурно нам в одно время. Это ужасно, согласно, резко выходит. И вот еще что странно. Иногда ни с того ни с сего делается ужасно хорошо, в другое время беспричинно тяжело. Я так уж и решаю за последнее*

*время: хорошо моей Сарочке, как, верно, мучается, моя милая. А ведь это может быть на самом деле, я верю в это. Гипнотизм заставляет признать, несомненно, фактически и многое подобное, прямо просто непонятное. Очевидно, отношение к нам окружающего – как природы, так и людей – гораздо сложнее, чем, сколько попало в сознание, чем, сколько мы можем понять естественно. Не испугайся, моя радость, что начинаю завираться. Факт обратил на себя мое внимание, а что он значит, об этом еще потолкуем да порассудим.*

*От сочинений твоей ученицы в восторге, просто не верится, чтобы это было на самом деле. Да, какая же ты молодец, Сарка, я-то от тебя этого ждал, потому что ужасно верю в тебя; верь этому. А ты еще жаловалась на себя, как на учительницу. Подавайуши и... давай целоваться до смеху. Это не я один удивляюсь успехам твоих учеников – Митька тоже находит, что отлично. Молодец, молодец, молодец – моя Сарочка!*

*... Вот что особенно запало в душу из твоих последних писем. Ты писала: «Будем ли мы понимать также бессловесные думы друг друга», – я верю, что да, потому что очень хочу этого. Говорят, не следует пускать мужа в глубь души, пропадет у него интерес к жене. Я с этим не согласен. Только тогда хорошо, когда совсем, совсем одно: ни крошечки нет неразделенной. Не знаю, что мне и сделать с тобой за эти строки? Целовать мало, моя несравненная, моя прекрасная, моя чудная Сарочка! Понимать друг друга без слов и есть настоящее блаженство, настоящая общая жизнь. То, что из человека попадает на язык, на слово, это малость. Всего понять, с целым со всем человеком сблизиться – это именно читать в его душе, по его лицу, по его отдельным словам догадываться, сливаться бессознательно мыслью. И вот доказательство, что это лучшее, высшее сближение, по опыту мне кажется, что это понимание без слов более глубоко забирается в душу, более трогает, чем ясное объяснение. У нас это будет, верь, Сара. Кто говорит, что не следует пускать мужа в глубь души, и т. д.? Для того, что же, жизнь представляется обманом, игрой, сплошным кокетством?*

*Я глубоко верю, что интерес души человеческой, и настоящей, и не подделанной, вечно свеж и нет ему конца. Кажется, в день получения этого твоего письма, но до получения еще его, я с жаром говорил об этом предмете. Я в этом навсегда убежден опытом моего лучшего времени. Я теперь только мечтаю, чтобы возвратилось для нас с тобой это отличное время. Лишь бы попасть нам с тобой с первого раза на эту дорогу. А там уже мы не собьемся, не отступим ни на йоту – и будет нам жизнь блаженством. Лишь бы, лишь бы попасть...*

*А у меня история, Сара! Когда был у Авдотьи Михайловны, узнал от нее, что ей очень жаловалась на меня одна из фельдшерш, между прочим, на то, что ужасно непонятно читаю. Немало удивлен. Сначала сильно задело. Проектировал всевозможные способы объяснения и, наконец, остановился на том, (помня мою Сарочку, моего судью), что ни капельки не покрою, не защищу себя и признаю всю правду целиком, какая только у них окажется. Ведь они же меня любили, да и теперь еще любят, значит, действительно сплеховал, поленился, или по недостатку времени. И нам, таким-то лентяям, без уроков жизни жить нельзя.*

*(Страстная суббота 1881 г.)*

*Ночь перед Пасхой! Непраздничное настроение, надо признаться. Кто совсем разделался с грехами, как и с горем, а у меня плохо, плохо. Завидую всем. Они радуются, веселье, довольные вполне, а тут копайся в душе, кайся. А нельзя иначе. Единственное средство. Потому – не вольность, не бессознательность, а ум, опыт. Как бы отказался от того и другого, лишь бы быть довольным, хоть и чудно, по-ребячески. Но что есть, то и есть. Считаемся-ка!*

*Обстоятельства как бы сговорились. История с фельдшершцами, твои упреки. Ныне, наконец, кажется, еще прибавилось. Медички заявили, что лекции надо прервать, потому что наступило экзаменское время. Нужно готовиться к разным экзаменам. Мне думается, что имело значение и то, что нашли лекции не особенно полезными. Пусть так, заодно. Что же*

*мне делать в виду стольких... Не знаю, как назвать, но хочется выразиться ни слабо, ни сильно, – ну и не знаю.*

*Думал, думал и решил. Исповедоваться перед собой, дави перед церковью только хотел, но не сделал, потому что Стольников так обещал достать. Это все же ведь лучше. Я совсем не прочь перебраться жить перед церковью. Но ведь с врали бы пришлось начать. Церковь имеет дело с верующими. С этого вопроса и начинается исповедь. Чтобы я сказал?*

*Ладно, исповедуемся перед собой, пред тобой! Сперва построение, а не наши с тобой! Пред фельдшерицами, конечно, виноват. Я не думал об их деле, о лекциях столько, сколько нужно. Вот что верно. Если бы я думал и старался, я не то бы им читал, и не так мало показал. Я не мог бы сказать про свое дело так, что относился к нему добросовестно. Я не напрягался над ним, не беспокоился по поводу его. Не считал его впереди разных случайных дел или просто развлечений. Во мне не было ни привычной аккуратности, ни тем более страсти к делу.*

*В еще большей степени это относится к лекциям медичек. Эти для меня были совсем новые и по объему, и по плану. Нужно было думать да думать. Я совсем не думал, а просто просматривал подробное руководство и читал. Правда, я был стеснен экзаменами, но тогда зачем нужно было браться? И верно тут, что именно не подумал раньше, как следует. И выходит несравненно; поделом вору и мука.*

*Теперь твои упреки. Да, может быть, я в самом деле не думал о тебе, ни разу никогда не подумал о тебе! Нет, я думать-то думал и много, и постоянно даже, но, может быть, ты права, что мне хорошо с тобой, вот я об этом только и думал. Ведь я еще этого всегда и боюсь – и никогда этого для себя не решу. Как же это я о себе-то в таком субъективном деле решу? Это уж тебе судить. Смотри ты, сколько есть у тебя только наблюдательности и внимания. Ты и ответственна за все. Я защищаться не буду. Я знаю, что я эгоист – и твое дело положить: в терпимой или нетерпимой степени. Только вот что! Боюсь я: расчувствуешься ты, прочтя это, и прощай всякая строгость и наблюдательность.*

*Но что же делать, однако? Будем переделываться. Я сам не раз звал неприятности – ну и вот они. Что ж! Я думал всегда: они учат, воспитывают, но и учимся. Чему же? Урок-то ясен, но вот странно. В себя я верю: верю, что можно все поправить и поставить вполне хорошо, но как-то совестно говорить это. Как будто так. Надо снова сделать это, не говоря ни слова, и почти про себя-то, не думая этого...*

*Пусть так!*

*А как с моим эгоизмом? Тут и не придумаю ничего. Как же тут учиться? Я знаю, что мне противен эгоизм, я хочу любить, хочу волноваться, жить для другого – но как здесь исправить дело, когда я этого не умею? Где и как учатся любви? Не прошло ли уже для меня время этого учения? А что, если это верно? Смотри сама, смотри, смотри... Брошу писать, пойду слушать Христос воскрес! Может, вспомнится старое! Может, заразит чудная радость!*

*Был, только-то от службы. Не знаю, слабо как-то действие. Другое ли, другое ли все здесь против Рязани; только там это сильнее, глубже захватывает...*

*Горячо целую мою Сару.*

*Твой Ванька*

## Свадьба

Сдав последний докторский экзамен и получив отпуск на две недели, Иван Петрович приехал в Ростов к моей сестре.

Короткое время, оставшееся до свадьбы, мы с Иваном Петровичем часто ходили по вечерам гулять на Донской бульвар. Народу там или совсем не бывало или бывало очень немного.

Могу сказать, что я чувствовала себя, как в волшебной сказке во время этих прогулок и бесконечных разговоров.

Стояли чудные лунные вечера. Внизу серебристой лентой блестел Дон. Цветущие акации наполняли воздух своим ароматом. Свет луны придавал всему таинственное освещение. Речи же Ивана Петровича, красочные, яркие, возвышенные, уносили меня далеко от земных дел и забот. Он говорил, что мы вечно и дружно будем служить высшим интересам человеческого духа, что наши отношения, прежде всего и во всем будут правдивы...

Наше поколение было увлечено идеей служения народу. Мы считали себя должниками перед ним, и это возбуждало наш энтузиазм. А тут я услышала планы служить не только своему народу, но всему человечеству! Питая безграничное уважение к умственной силе Ивана Петровича, я чувствовала, что, опираясь на его твердую руку, поднимаюсь в сказочное царство! Как поднимает меня и теперь воспоминание об этих разговорах!

Однажды продолжали мы свои мечтания при сестре Рае, которая очень любила и меня, и Ивана Петровича. Послушав нас немного, она сказала:

– Все это хорошо, дети, когда у вас за плечами будет стоять некто, кто будет доставать вам чистую комнату, белую скатерть и хоть по одной тарелке супа в день (для чего, впрочем, надо иметь посуду), или же деньги, на которые вы могли бы купить все нужное, не тратя на это много времени. У вас же нет ни того, ни другого, и вы сами должны будете тратить драгоценное время на эти мелкие житейские заботы. Как же ты напишешь свой роман «Русские женщины», о котором так много мне рассказывала? – Вот пустяки, – ответила я, – все мелочи жизни я беру на себя, а роман буду писать в свободное время.

Рая усмехнулась и сказала:

– Я приехала на готовое хозяйство. Мой муж, как ты сама хорошо знаешь, несет главную долю забот о всяких мелочах, как вы выражаетесь, а ты видела, когда у меня остается свободное время? В этом все дело...

Но этот трезвый любящий голос нас несколько не смутил. Так подошло время к свадьбе. Мой туалет много не стоил: платье дала одна сестра, туфли – другая, а цветы и фату – третья.

Поджидали мы мать, которая хотела быть на нашей свадьбе. Но она заболела в деревне у старшей сестры и не только не приехала сама, но задержала и старшую сестру. На свадьбе моей были только две сестры со своими мужьями да брат.

Венчал нас добряк священник, отец моего зятя. Зять на свои деньги нанял певчих и заплатил за паникадило, так что весь расход на венчание обошелся нам в пять рублей, пожалованных дьякону.

Во время венчания Иван Петрович спросил меня:

– О чем ты молишься?

– О нашем счастье,

– А я о твоём, – сказал он.

Оказалось, что Иван Петрович не только не привез денег на свадьбу, но и не позаботился о деньгах на обратный путь в Петербург. И при этом важном жизненном случае он остался верен своему презрительному отношению к денежным делам. Для меня это было уже второе указание на то, что впредь все жизненные заботы будут всецело лежать на мне. Я же к этому была тоже совсем не подготовлена.

Это, однако, меня не испугало. Я СПОКОЙНО сказала себе: «никто как бог». Я ни слова не сообщила об этом своим родным, не желая выставить Ивана Петровича в их мнении легкомысленным человеком.



Евстигней Никифорович Хмельницкий, муж сестры Серафимы Васильевны – Раисы

Я поступила правильно. Мой зять, который заботился обо мне как родной отец, будучи в Петербурге в то время, как я была невестой, познакомился с матерью Ивана Петровича. Из разговора с ней он вынес очень тяжелое впечатление о нерасположении ко мне и ее, и ее мужа. Вернувшись домой, он рассказал об этом моей сестре. Они оба чуть не со слезами уговаривали меня отказать Ивану Петровичу, чтобы не входить насильно в чужую семью. На это я легкомысленно ответила: «Я выхожу замуж за него, а не за его родителей».

\* \* \*

Что за чудный вечер был в день нашей свадьбы! Садик, в который были открыты окна и двери, благоухал розами.

Собрались только самые близкие наши друзья. Мои племянницы им сообщили:

– А мы только что поженили нашу Саичку.

В саду в беседке устроили танцы. Музыка изображал отец Кички, ударяя ножом по бутылке, и все мы превесело танцевали.

Никогда не забыть мне этого вечера, и Иван Петрович всегда вспоминал о нем с удовольствием.

## Замужняя жизнь (1881–1936)

*Не легкий жребий, но отрадней  
Был вынут для тебя судьбой.*

*Тютчев.*

### Вдвоем

Через несколько дней после свадьбы мы поехали в деревню к моей старшей сестре. После короткого пребывания у них, отправились к родителям Ивана Петровича в Рязань, где провели неделю. Там я наслушалась строжайших жизненных наставлений и лишена была самых примитивных удобств жизни. Этого Иван Петрович вполне не замечал, как не замечал и жизненных затруднений, из которых выручили нас мои скромные сбережения.

Наконец, приехали мы на дачу, нанятую еще весной Иваном Петровичем в Малой Ижоре. Это было уже в августе. На даче все время прожила нанятая им прислуга. С ней я должна была рассчитаться, так как она не пожелала оставаться на такой скучной даче. И в этом опять выразилась хозяйственность моего супруга.

Зато зажили мы прямо упоительно на полной свободе, вдвоем. Морские купания, продолжительные прогулки по лесу, куда мы уходили, взяв с собой еду на целый день, и бесконечные разговоры по вечерам на нашем маленьком балкончике.

Здесь впервые рассказала я о страхе при посещении меня неизвестным, приходившим ночью в школу, и о ночном путешествии под дождем и пешком с полустанка на станцию.

– Ну, какая ты умница! Напиши ты мне об этом тогда, я бы все бросил и примчался за тобой, – говорил Иван Петрович.

Среди наших бесконечных разговоров я как-то заметила:

– Голубчик, ты знаешь мою страсть к систематизации? Правда, смешное слово?

– Смешное-то смешное, да посмотрим, к чему оно будет приложено.

– Помнишь, моя Киечка уверяла всех, что у меня есть даже особая система для сморкания носа? Вот я теперь и думаю поговорить с тобой о системе нашей будущей жизни. Только верь, я никогда бы не начала этого разговора, если бы ты сам в своих письмах не жаловался мне на отсутствие строгих правил в порядке твоей жизни.

Помнишь, как ты сам просил меня в одном из своих писем взять с тебя обещание под «верь!», что ты не будешь никогда употреблять алкоголя ни в каком виде? Пьющий, по твоим словам, никогда не может не перепить. Вот я и беру теперь с тебя слово под трижды «верь», что ты никогда ничего не будешь пить.

Второе: опять на основании жалоб в твоих письмах о потерянном времени за карточной игрой – беру с тебя обещание отказаться от карт.

Затем считаю, что для сохранения общего времени для серьезных работ мы должны оберегать себя от постоянных приятелей (приятели мои, приятели твои и, наконец, наши общие приятели), которые так охотно идут к нам благодаря нашим веселым, обаятельным характерам. Мы будем принимать гостей только по субботним вечерам. Сами же будем ходить в гости, театры или концерты только по воскресеньям.

Затем, кроме этих правил, я прошу тебя исполнять мои личные желания: 1) перестать грызть ногти: мне это очень неприятно, 2) укоротить свою длинную бороду, 3) мыть по утрам шею и уши, и чистить зубы.

Иван Петрович был в восторге от моей программы и дал мне самые серьезные и твердые обещания неуклонно проводить ее в жизнь.

Надо сказать, что вскоре эта программа подверглась порицанию со стороны Дмитрия Петровича, Егора Егоровича Вагнера и Стольников. Пришли они однажды к нам вечером и не получили никакой выпивки даже после весьма старательных намеков. Дмитрий Петрович подтвердил мои слова, что у нас в квартире никогда не бывает спиртных напитков. Все были очень поражены. Тут начались общие издевательства над Иваном Петровичем.

– Бедняга Ванька, попал ты в женский пансион! Не годится так охотно ложиться под женский башмак. Ведь от тебя останется одна тряпка и т. д. и т. п. Пойдем-ка лучше с нами, уж мы тебя угостим по-приятельски...

И все же после приятно проведенного вечера напился только чая. Стольников при всех поцеловал мне руку (чего он никогда обычно не делал) и громко заявил:

– Хорошо начало. Продолжайте в таком же духе, и при вашем отношении к Ваньке все пойдет отлично.

Иван Петрович остался очень доволен отзывом Стольникова, так как почитал его сильным ум.

Раза три посетили нас старые друзья. Иван Петрович со Стольниковым вспоминал, как он получил реванш за отзывы о нем моего двоюродного брата. Двоюродный брат мой очень желал, чтобы после окончания курса я хотя бы год прожила у него. Ему, вдовцу, трудно было справляться с детьми.

– Тебе, – говорил он – надо отдохнуть и повеселиться. Будем выезжать и принимать у себя. Ты мне напомнишь мою молодость.

Когда же я заявила, что выхожу замуж и показала ему фотографию Ивана Петровича, то, внимательно посмотрев на портрет, он сказал:

– У нас на шхуне служил доктор, как две капли воды похожий на эту фотографию. Большой был подлец и негодяй.

Тут и припомнил Иван Петрович, как крепко любивший его приятель Стольников отговаривал от женитьбы на мне на основании пословицы – «Бог шельму метит». У меня был шрам над бровью от падения в детстве с лестницы.

\* \* \*

Много мы переговорили с Иваном Петровичем, сидя на нашем балконе в Ижоре. Однажды он сказал:

– Знаешь, я вполне согласен с Орловским, что у тебя действительно есть какой-то магнит, которым ты притягиваешь к себе людей. Например, Стольников. Как он был против моей женитьбы на тебе! А теперь – первый твой друг и ничего не делает без твоего совета. А Егорка при каждой встрече говорит мне: «Ванька, ты в сорочке родился, у тебя не жена, а сокровище».

Скажу тебе откровенно, что это мне даже не нравится!

– Голубчик, неужели ты до сих пор меня не понял? Ведь для меня венчание – великое таинство. И то, что я обещала тебе перед престолом божьим, никогда не нарушу я до самой своей смерти. Тебе я богом отдана и буду век тебе верна! Относительно Стольникова скажу: когда я высказала ему свое мнение о тебе и прибавила, что беру на себя все житейские мелочи, чтобы ты свободно шел по научной дороге, то это сделало нас навсегда друзьями. А с Егор Егорычем с самого начала нашего знакомства нас соединяла общая любовь к поэзии и мое нежное участие в его горе по смерти его жены.

Несколько минут мы просидели молча. Потом Иван Петрович сказал:  
– Ведь эти чувства являются у меня совершенно произвольно. Забудем все это и по-прежнему будем верить друг другу.

## Первый год

Когда после дачного житья мы вернулись в Петербург, у нас не оказалось совершенно никаких денег. И если бы не квартира Дмитрия Петровича, то буквально некуда было бы приклонить голову.

Друг и почитатель Ивана Петровича Стольников, принимавший самое горячее участие в нашей судьбе, настаивал, чтобы Иван Петрович поскорее закончил свою диссертацию, которую он собирался написать еще до нашей свадьбы. Работа была почти готова, но как всегда вызывала недоверчивое отношение самого Ивана Петровича. Вот Стольников и сделал следующее предложение:

– Мне одному ты не поверишь, скажешь, что я подтасовал факты, но жене своей тыверишь. И вот мы с ней вместе придумаем недостающие тебе опыты. И ты немедленно представишь свою диссертацию.

На это дружеское предложение Иван Петрович отвечал резким отказом.

– Жена моя будет постоянным сотрудником в моих научных работах, отчего она не отказывается. Но пока она еще полный профан в физиологии, и я доволен, что она не настаивает на скорейшем окончании моей диссертации.

Это было уже второе заявление о моих будущих научных работах. Первое Иван Петрович сделал год тому назад, вскоре после нашей свадьбы, когда мы гостили у сестры Аси в Мариуполе. Он не только уверял в этом, но даже заключил со мной следующий договор.

1880-го года, августа 14 дня

Уверяю, что Сара в летние месяцы 1881 года примет деятельное и полезное для исследования участие в моей работе по физиологии, предназначенной для докторской диссертации, конечно, при условии искреннего желания на этот счет с ее стороны.

Иван Павлов

Сара Карчевская

Свидетели договора,

С. Карчевский Раиса Хмельницкая

\* \* \*

Наши бесконечно длительные прогулки продолжались и в городе. Они не прошли для меня даром. Хотя Иван Петрович был физиолог, но он не обращал никакого внимания на то, что во время этих прогулок я должна была бегать, чтобы не отставать от его быстрой ходьбы. А он в то время ходил так, что обгонял извозчиков. В результате такой беготни у меня получился выкидыш, чем мы оба были огорчены.

Зарабатывал Иван Петрович в это время тем, что читал лекции по физиологии фельдшерцам Георгиевской Общины, процветающей под покровительством графини Гейден. Получал он 50 рублей в месяц. На эти деньги и должны были жить, так как все мои сбережения кончились после нашего дачного житья.



Невский проспект. 1870 г.

Мы наняли квартиру в четыре комнаты с кухней. На Малой Дворянской в 4-м этаже. Одну комнату занимали мы с Иваном Петровичем, другую поменьше – Киечка, третью – мой брат со своим приятелем. Самая же большая и светлая была общая. В кухне хозяйничала старушка – чухонка Густава. Когда я заказывала обед, она мне заявляла:

– Этого мы не сделаем. Это нам очень дорого. И усердно кормила нас печенкой, что стоило весьма дешево.

Нам надо было устроить хоть какое-нибудь хозяйство: купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду, да и белья для Ивана Петровича, так как у него даже не было лишней рубашки. Я хотела возобновить свои уроки, но Иван Петрович решительно восстал против этого.

– Ты работала с 12 лет, и я хочу, чтобы ты отдохнула. Да по правде сказать, тут и мой личный интерес: я так долго мечтал о семейной жизни, что не желаю теперь возвращаться из лаборатории в пустую квартиру. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной.

Затем Иван Петрович заявил, что он все отлично устроит без моей помощи. Часть своих вещей он получил из квартиры Дмитрия Петровича, где раньше жил, да занял 200 рублей у приятелей. На эти деньги мы устроили, по словам его друга доктора Б., «рыночную обстановку».

Из всей нашей компании регулярно получали доход только Киечка и наш старый приятель М., студент-путеец. Им исправно высылали деньги из дома. Брат же за свои уроки получал деньги очень неисправно.

Казалось, житье было скудное, но нам было весело. Живший под нами женатый доктор Б., приятель Ивана Петровича, приходя к нам, всегда говорил:

– Поднимаясь к вам, чувствуешь любовную атмосферу.

За Киечкой ухаживал мой брат, студент М., да еще студент-медик Каменский, ее будущий муж. Даже за мной пробовал ухаживать доктор Б., но Ивану Петровичу было это очень неприятно, и дело скоро прекратилось.

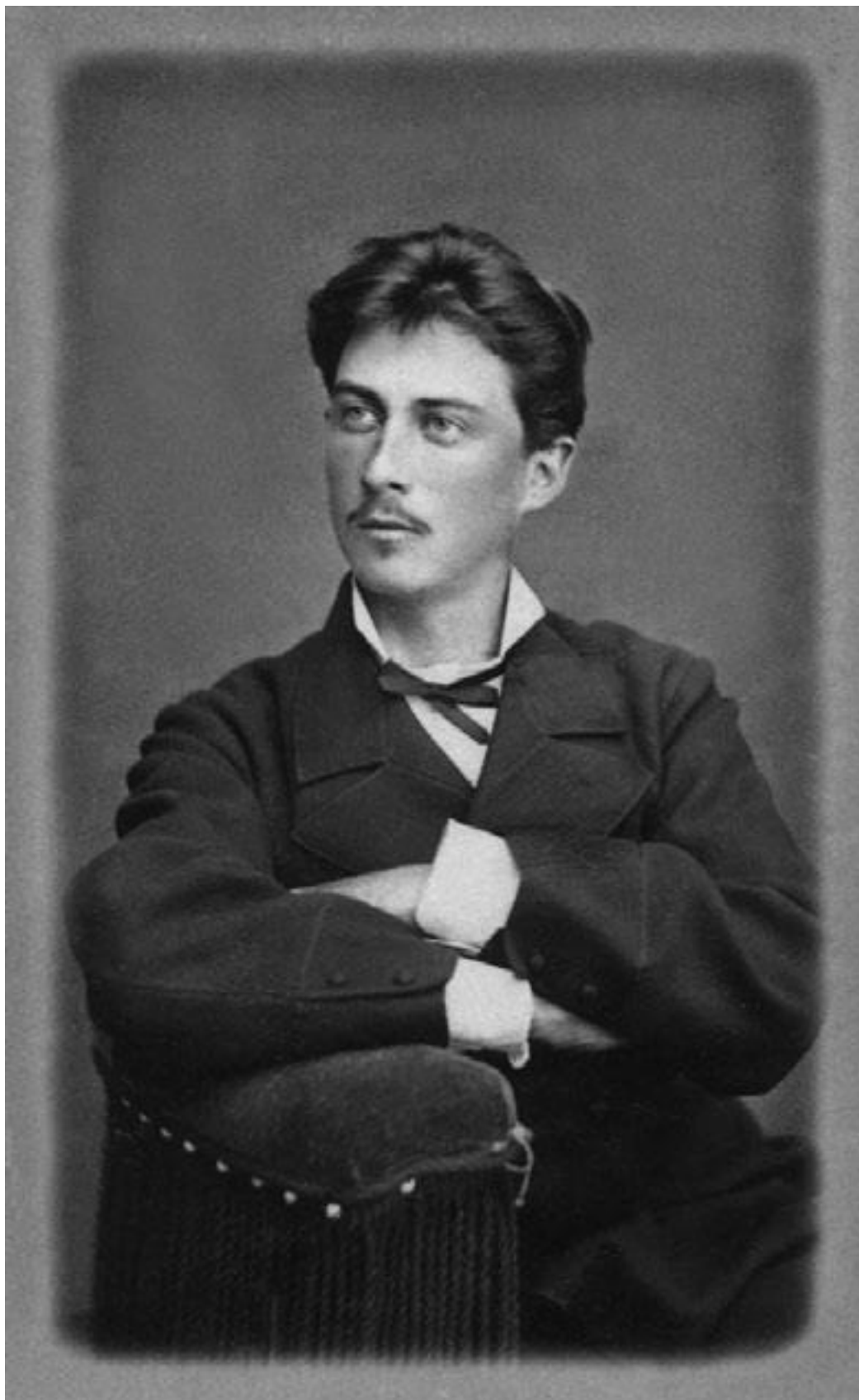
Этот доктор Николай Петрович Богоявленский<sup>80</sup> был серьезный, опытный врач, всей душой преданный своей работе, широко образованный. Иван Петрович очень любил и ценил этого человека. Он обладал большим чувством собственного достоинства.



Николай Петрович Богоявленский

Однажды, будучи приглашен к жене греческого посланника, он точно явился в назначенный день и час, взяв с собой ассистента. Не обратив внимания, что у подъезда посланника был большой съезд экипажей, он спокойно вошел. К нему подошла молодая девица, поздоровалась и бегло стала что-то объяснять по-французски. Зная только одну фразу на этом языке, он [ее

произнес] и стал преспокойно ходить по гостиной, потирая руки. Девушка несколько раз подходила к нему, стараясь что-то объяснить, но каждый раз получала [все тот же] неизменный ответ.



## Сергей Васильевич Карчевский – брат Серафимы Васильевны

Ассистент, едва удерживая смех, начал смотреть в окна. Гости тоже стали посмеиваться. Видя безуспешность своих объяснений, девица вызвала мать, которая стала извиняться, что совершенно неожиданно к ним собрались друзья, и она не может принять доктора. В ответ на это доктор Богоявленский спокойно сказал:

– Вы меня пригласили, и я приехал со своим ассистентом в назначенное время. Если вам нужна моя помощь, – як вашим услугам. Вторично я не приеду.

Сконфуженная дама пригласила его в кабинет, где он ее осмотрел и назначил лекарство.

В дальнейшем семья эта очень с ним подружилась, а молодая девушка не могла говорить о нем без восторга, так ей понравилось его невозмутимое спокойствие. Фраза же, [произнесенная им по-французски,] ходила по городу и увеселяла тогдашнее общество.

Доктор Богоявленский был большой любитель и знаток древних языков. Он часто приходил ко мне читать в подлиннике речи Цицерона, которые приводили меня в восторг. Он был очень доволен, найдя редкую ценительницу чудного красноречия. Зато Ивану Петровичу не понравились эти чтения, и к моему большому огорчению Николай Петрович должен был прекратить наше наслаждение речами Цицерона.

На рождественских праздниках у нас было непрерывное веселье с утра до ночи. Собирались все прежние знакомые. Моя сожительница по первому курсу со своим женихом, наша подруга по гимназии Наташа Я. и много разных студентов. Иван Петрович был душой всяких затей. Дошли мы до того, что наиболее сильные и здоровые изображали лошадей, а мы наездниц. Этот цирк приводил нас в восхищение.

Понятно, что на праздниках мы переедали и после праздников не хватало денег. Выручала нас красота моего брата: приказчик соседнего бакалейного магазина был положительно влюблен в него. Он без конца расспрашивал Густаву, как живет мой брат, хорошо ли учится, где бывает, что его занимает и веселит. Ради брата он открыл нам кредит. Вскоре после праздничного веселья я вновь почувствовала себя в ожидании столь желанного нами ребенка. Напуганный первым выкидышем Иван Петрович был бесконечно нежен и внимателен. При нем я никогда не смела подниматься по лестнице, он носил меня на руках. По его примеру это делали и наши братья, его и мой.

На лето мы втроем поехали в деревню к моей сестре. Иван Петрович с моим братом занимался там разным спортом. Однажды они так увлеклись ловлей рыбы неводом, что обожгли себе на солнце спины до волдырей.

Я же занималась шитьем детского приданого. И только по вечерам гуляла с Иваном Петровичем, так как с детства не выносила жары и всегда пряталась от солнца. Иван Петрович вернулся из деревни раньше меня.

## Ребенок

По возвращении из деревни, мы снова поселились в квартире Дмитрия Петровича в университете. Мать Павлова на этот год осталась дома, и хозяйничала я вместе с верной Густавой.

Был сентябрь. Ни Кия и никто из моих знакомых еще не вернулся из дому. Появился ребенок. Принимала его неопытная молодая акушерка, и у меня получился разрыв, так что я должна была лежать. Густава была стара, заботы о нашем питании, чистоте квартиры (в чем я теперь не могла ей помогать), настолько ее утомляли, что она решительно отказывалась от всякого участия по уходу за ребенком.

Ребенок оставался на попечении Ивана Петровича, Дмитрия Петровича и моего брата – студента. Мне требовался покой. Когда ребенок ночью плакал, то один из мужчин брал его на руки и ходил по комнате.

Подходит один раз ко мне брат и говорит:

– Сарочка, привяжи ко мне младенца. А то я боюсь, что задремлю и уроню его.

После этого разговора я никому из мужчин больше не давала моего малютку и поспешила встать. Этим все были очень довольны.

Мальчишка Мирчик был прелестен: беленький, розовенький, полненький, с огромными вдумчивыми глазами и постоянной нежной улыбкой. Все было бы хорошо, но у меня оказались очень слабые соски, и я теряла массу молока. С вечера я клала себе на грудь простыню, а ночью просыпалась вся мокрая. Ребенок процветал, зато я стала худа, как щепка, не могла разогнуться и ходила, сгорбившись, как старуха. Желудок мой перестал переваривать пищу.

Ни я, ни Иван Петрович не привыкли к медицинской помощи и решили, что с первыми теплыми днями я поеду в деревню к сестре, и сопровождать меня будет для всякой помощи в дороге брат, который заранее закончит свои экзамены в университете.

С первыми теплыми днями собралась я с Мирчиком и с братом ехать, опять приключение! Иван Петрович вместе с Дмитрием Петровичем едва наскребли на билет до Рязани и дали письмо к отцу с просьбой снабдить меня деньгами на дорогу до деревни моей сестры. С болью в сердце я поехала, зная наперед, как дорого мне обойдутся эти деньги.

Приехали. Мирчик всем очень понравился. Но не понравилась просьба о деньгах. Старик, взяв путеводитель, высчитал стоимость билета третьего класса до конечной станции, от которой надо было ехать уже лошаадьми в деревню моей старшей сестры. Он не принял в расчет, что надо было переезжать с Рязанской ветки на Орловскую, да, кроме того, мне, как кормящей, необходимо было питаться, и это не было принято в расчет.

Поехали. В Орле надо было ночевать, чтобы попасть на нужный нам поезд. На вокзале ночевать не разрешалось. Тогда брат отправился к начальнику станции и своим красноречием тронул его. Он не только разрешил нам переночевать на станции, но и дал распоряжение, чтобы наш багаж отправили наложенным платежом. Брат на свои деньги покупал мне по стакану чая утром и вечером и брал ежедневно по французской булке, которую мы делили пополам, на большее у него не было денег.

На станции встретил нас муж сестры, взял меня на руки и со слезами усадил в коляску. Сережа вынес на руках Мирчика.

В деревне через три недели меня нельзя было узнать, я опять пополнела, повеселела и не нарадовалась на своего Мирчика. Что значит душевный покой и хорошее питание.

\* \* \*

Проводив нас в деревню, Иван Петрович защитил свою диссертацию. О том, как она прошла, рассказывает его письмо:

22 мая [1883]

*Милая, ненаглядная, неоцененная моя Сарочка!*

*... Вчера, на диспуте, произошло совсем для меня неожиданное. Расскажу по порядку.*

*Идут диспуты, а Кошлакова<sup>81</sup> все нет. Пришлось упробить тут же нового оппонента, Дроздова, доцента.*

*Пошел диспут. Первым говорил Дроздов. Ну что мог сказать дельного? Уважение, почтение – и ничего больше. Маленькое плевое замечание и прения. Второй – Пильц. Говорил сверх ожидания хорошо. Между прочим, ядовито сказал, что не может согласиться с моим замечанием о скудости нашей лаборатории: не скудна, дескать, та лаборатория, из которой выходят такие работы, как моя; она сделала бы честь и отлично обставленным лабораториям и т. д. Заявил от лица всей клиники благодарность за помощь знанием и т. д.*

*Наконец, Тарханов. Я не могу передать всей доли начавшегося спора, расскажет ближе Сережа. Расскажу сам. Был одновременно и дураком, и подлецом, господин профессор. Мел-*

кая дрянная зависть сквозила из-за каждого слова. Бросал на ветер всякие подозрительные фразы, подтасовывал, хотел все отнять у меня. Последнюю работу Гаскеля<sup>9</sup> знал и берег ее как главный камень против меня. Нельзя, не слыша, представить всей наглости спора с его стороны.

Но успокойся, моя миленькая. Твой Ванька удачно справился с этим нахалом и дураком. Сверх ожидания, держал себя вполне с достоинством, без всякой суетни. Почти сплошь Тарханов позорно убежал от поднятого им вопроса. Временами профессор делался жалким и смешным. Он поднимался на невероятные шутки и тем эффектнее проваливался.

После конца спора – дружные и весьма продолжительные аплодисменты, начал сам начальник академии. Все приятели в восторге. Сам Нил во время спора прискакивал от удовольствия. Все твердят, что это великолепно. Что Тарханов встал в такое положение. Самые большие его похвалы не сделали такого впечатления, что этот спор. Я, однако, намерен это поднять. Буду печатать в «Еженедельной Клинической Газете» «Открытое письмо к Тарханову», где назову его полемику настоящим именем. На кафедре я не сказал ему ни одного дерзкого слова. И вчера целый день злился, что не сделал этого в конце на диспуте. Нет, ты просто не поверишь, как сдержанно держался я на кафедре.

И все-таки я рад, что ты не была на диспуте. Очень бы взволновалась. Как- никак диспут был горячий. Поцелуемся на радостях пище, пище.

С диспута меня потащил к себе Вознесенский. У него большая радость: определен в Киев в Военную гимназию, да, кроме того, была именинница Елена Павловна. После обеда пошел домой и нашел предлагаемый документ. Клиника купила для меня докторский значок в знак благорасположения. Очень распотешили...

Действительно, друзья в ознаменование этого события преподнесли ему<sup>10</sup> докторский значок с такой грамотой. (Докторский значок этот остался на старом форменном сюртуке Ивана Петровича в Военно-медицинской академии).

Доктору медицины Ивану Петровичу Павлову  
Грамота

Многочисленные заслуги Ваши на поприще ученой и преподавательской деятельности, постоянная готовность помогать словом и делом всем жаждущим сопричислиться к лику докторскому, неистощимый источник бодрости и веселья, коим вы были в столь известном всем нам храме науки – все они, как равно и многие другие столь же неоцененные качества, заставляют нас возложить на вас по поручению ученой нашей Коллегии знак Вашего нового ученого звания, который и повелеваем Вам носить по установлению.

Депутаты: Сиротинин<sup>82</sup> Яновский<sup>83</sup>

Защитив диссертацию, Иван Петрович приехал ненадолго к нам. Он был безгранично счастлив, увидев меня в нормальном состоянии, и чудесного веселого мальчишку.

Этим летом съехались мы всей семьей: мамочка, четыре сестры с мужьями и детьми и брат-студент.

---

<sup>9</sup> Гаскелл У. Х. (1847–1914), английский физиолог (прим. сост.).

<sup>10</sup> Знак представляет собой серебряный российский государственный герб, обвитый снизу серебряными дубовой (справа) и лавровой (слева) ветвями. На месте переплетения ветвей – золотая чаша («гиппократова») к которой ползут по ветвям две золотые змеи. Знак утвержден 11 февраля 1871 г. для военных врачей (Полное собрание законов, собрание 2, № 49247).



Знак отличия для врачей, удостоенных степени доктора наук

Устроили торжественный семейный обед. Председательствовала на обеде мамочка. По правую руку от нее сидели мы – сестры – по старшинству, по левую – наши мужья тоже по старшинству, а против нее – брат. За отдельным столиком сидели дети: мальчик и девочка старшей сестры – хозяйки дома, и две девочки второй сестры. У Аси детей не было никогда. У меня на руках мой ребенок.

На этом торжественном и празднично-семейном обеде провозгласили мы нашу мамочку «патриархессой». Каждый из мужей сказал речь, в которой благодарил за воспитание своей жены. Все мы дружно выпили по рюмке домашней наливки за любимое мамочкино правило «умейте властвовать собой».

Иван Петрович уехал на службу вполне спокойный. Я же осталась еще на месяц продолжать свой отдых.

Не предчувствовали мы такого удара, нас подстерегавшего. Через неделю после отъезда Ивана Петровича Мирчик заболел. Вследствие неумелого лечения местного врача-женщины наш ангел скоро скончался.

Лишь мать может понять всю безграничность моего горя. Потеряв первенца, на котором покоились все мечты, все планы будущей жизни! У меня пропало желание жить. Все казалось мелким, ничтожным в сравнении с этой великой потерей. Только слова зятя: вы теперь должны думать, как облегчить этот удар Ивану Петровичу – заставили меня ободриться и пуститься в обратный путь. Ведь я же обещала ему взять на себя все житейские заботы и невзгоды.

Горестное известие поразило не только Ивана Петровича, но и Дмитрия Петровича, который сильно привязался к малютке.

Несмотря на свою храбрость и старание облегчить мужу это горе, я опять перестала есть и спать. Нервное мое состояние очень усилилось.

## У Сергея Петровича Боткина

Наш друг Екатерина Олимпиаевна Шумова-Симановская<sup>84</sup> повела меня к С. П. Боткину. Осмотрев меня, Сергей Петрович прежде всего спросил, могу ли я уехать. Когда я сказала:

– «Ни в коем случае», – то он ответил: – «ну, не будем об этом говорить».

– Скажите, вы любите молоко?

– Совсем его не люблю и не пью.

– А все же мы будем пить молоко. Вы южанка, наверно, привыкли пить за обедом?

– Никогда ни капли. Я ненавижу алкоголь; меня даже прозвали дома штундисткой!

– Однако – мы будем пить. Играете ли вы в карты?

– Что вы, Сергей Петрович, никогда в жизни!

– Что же будем играть. Читали ли вы Дюма и еще такую прекрасную вещь, как «Рокамболь»?<sup>85</sup>

– Да что вы обо мне думаете, Сергей Петрович? Ведь я недавно кончила курсы, и мы не привыкли интересоваться такими пустяками.

– Вот и прекрасно. Значит, вы будете пить сначала полстакана молока в день, потом стакан. Так вы подниметесь до восьми стаканов в день, а затем опуститесь обратно до полстакана. В каждый стакан будете вливать по чайной ложке хорошего крепкого коньяка.

– Но это препротивно.

– Неужели противнее лекарства? Дальше, после обеда вы будете лежать час-полтора. Будете каждый день играть в винт, робера 3–4<sup>11</sup>, и будете читать Дюма. И ежедневно гулять во всякую погоду не меньше часа. Да еще будете на ночь обтираться комнатной водой и растираться толстой крестьянской простыней. Стыдно человеку с медицинским образованием в первое время супружества гонять жену по лесам как охотничью собаку и допустить такую грандиозную потерю молока, доведшую до истощения!

---

<sup>11</sup> Роббер – в некоторых карточных играх (например, в винте) – законченный круг игры (*прим. сост.*).



Сергей Петрович Боткин. 1882 г. На обороте фотографии подпись: «Ивану Петровичу Павлову – товарищу, ученику и сотруднику на память от Сер. Боткина. 16. III. 82»

Я заплакала и спросила:  
– Откуда вы это знаете?

– Мне рассказала все Екатерина Олимпиаевна. Не плачьте, ведь я не сказал ничего обидного для Ивана Петровича. Он же физиолог, а не медик. И потом я знаю, как он берег вас во время следующей беременности. Любящий муж должен беречь свою жену. Теперь прощайте. Я уверен, что вы скоро поправитесь, если исполните все мои предписания.

Действительно, исполняя точно все его советы, я была через три месяца здоровой женщиной.

Не могу не рассказать попутно следующий забавный случай. Прочла я с интересом «Рокамболь» – роман Понсон дю-Терайля. Дмитрий Петрович взял у меня эту книгу и, читая, занес в лабораторию, где ее увидел Менделеев. Он взял книгу в руки и сказал:

– Дайте-ка мне, посмотрю, что это за штука.

Это было часа в два-три дня. На другой день он пришел в лабораторию только в четыре часа, бросил книгу и сказал:

– Глупость, страшная глупость. А как начал читать – не мог оторваться, пока не кончил. Засмеялся и, обращаясь к своим лаборантам, прибавил:

– А вы, верно, все уже прочитали?

Тогда Дмитрий Петрович объяснил ему, что первая читала эту книгу нервнобольная жена брата по совету Боткина.

– Да, и в этом проявился ум Боткина, – проговорил, уходя из лаборатории, Менделеев.

\* \* \*

Мне было тяжело хворать, но нелегко пришлось во время моей болезни и Ивану Петровичу. Мы жили тогда в университете, а ходить Ивану Петровичу в лабораторию нужно было на Выборгскую сторону. Дворцовый и Троицкий мосты разводились. Ходил он через Николаевский мост, потом по набережной и переходил на Выборгскую сторону через Литейный мост. Всегда самым точнейшим образом возвращался он к обеду. Когда опыт сильно его заинтересовывал, то после обеда он снова отправлялся в этот длинный путь, и частенько возвращался часа в два ночи без всякого признака усталости, хотя утром опять предстояло такое же путешествие. Так воодушевляло его решение научных задач. И это продолжалось не неделю, не две, а целую зиму. Возможно ли было для меня не удивляться ему и не стараться избавить его от всяких житейских мелочей и забот? Поэтому тяжело мне было переносить свое заболевание, которое плохо отзывалось и на Иване Петровиче.

Надо сказать, что во время этой моей болезни, когда я таяла, как свеча, Иван Петрович говорил мне не раз:

– Верь, если ты умрешь, то я брошу науку, которую, как ты знаешь, сильно люблю, и уеду в глушь земским доктором.

На это я решительно ему отвечала:

– Предсмертная воля всегда свято исполняется. А моя воля потребует, чтобы ради меня ты продолжал служить науке и всему человечеству.

К счастью, лечение Боткина подействовало благотворно, я через три месяца была совсем здорова. Тут подошло время нашего отъезда за границу.

## **В Бреславле и Лейпциге**

Мы поехали в Бреславль<sup>86</sup>, где уже раньше Иван Петрович работал у профессора Гейденгайна; там встретились с доктором Левашовым<sup>87</sup> из клиники Боткина и с доктором Роговичем<sup>88</sup> из Киева.



Николай Афанасьевич Рогович

Устроились мы на разных квартирах, но обедать и ужинать оба доктора приходили к нам, так как наша хозяйка согласилась кормить их вместе с нами. Вот в эти-то вечерние часы отдохновения получила начало игра в подкидные дураки, которая в последующем служила самым приятным отдыхом для Ивана Петровича в продолжение всей его жизни до самой кончины. Правила этой игры постепенно совершенствовались под названием «Дурацкой Конституции»<sup>89</sup>.



Общий вид города Бреслау

Как всегда, Иван Петрович был настолько увлечен лабораторной работой, что свой пыл невольно передавал соотечественникам, работавшим одновременно с ним. Он буквально очаровал их, Рогович садился у его ног и говорил: «Жан, Жан! Если бы я был женщиной, то увез бы тебя в Италию».

На это Иван Петрович отвечал:

– А я бы с такой дурой не поехал, – чем несказанно огорчал простодушного добряка.

Во время игры в дураки, в которой я тогда не принимала участия, бедный Рогович постоянно оставался дураком. Он бросал игру и шел ко мне за утешением. Каково же было его отчаяние, когда приходила горничная и сообщала:

– Господин доктор остался еще семь раз!

По правилам «Дурацкой Конституции» все проигрыши приписывались тому, кто сбежал от игры.

Недолго пришлось поработать в лаборатории до отъезда профессора на каникулы. Не помню, куда уехали Левашов и Рогович, а мы по рекомендации Гайденгайна поехали в Саксонскую Швейцарию<sup>90</sup>. В очаровательно милом местечке Шондау мы провели все каникулярное время.

В виду близких родов, я не решалась делать больших прогулок, а Иван Петрович не желал оставлять меня одну. Ознакомился он с красотами Саксонской Швейцарии, когда приезжали к нам профессор Стольников и доктор Лукьянов<sup>91</sup> с женой. Мы с Лукьяновым оставались в нашей прелестной променаде. Лукьянов не любил ходить, а особенно бегать, как Иван Петрович. Он говорил: «Я вполне доволен красотой равнины, где Эльба шумит».

Под конец нашего житья в Шондау приехал повидаться с нами Дмитрий Петрович. Не зная немецкого языка, он все же повесело проводил время за пивом с немецкими докторами и студентами.

Покойно и счастливо окончилось каникулярное время. Мы вернулись в Бреславль и поселились в Брейтештрассе у Шлоссер Майстера Постоль. Заняли две комнаты: одну маленькую

для Ивана Петровича, а другую побольше для меня с ребенком. Комнаты сообщались дверью. Рядом с нами жил молодой англичанин, впоследствии профессор в Австралии.

На время родов приезжала ко мне сестра Ася из Вильно, которой надо было посоветоваться с докторами о своем плохом здоровье. Мне она очень помогла своим уходом, так как я не хотела отвлекать Ивана Петровича от его занятий.

Должна признаться, что я вся была поглощена своим сынишкой, с которого буквально не спускала глаз, помня потерю первенца! Пришлось нам взять кормилицу, так как у меня не оказалось молока. Заботы же об Иване Петровиче стояли у меня на втором плане.

Сами мы все время обедали в ресторанах и кухмистерских, недорогих, но отнюдь и неплохих, что называется в ресторанах средней руки. Каково же было мое удивление и огорчение, когда у Ивана Петровича появились сильные боли в желудке, и дело закончилось полной потерей аппетита! По совету своих приятелей докторов, работавших с ним вместе, он стал выпивать по небольшой рюмочке хорошего портвейна – эффект был чудодейственный.



Институт физиологии в Лейпциге

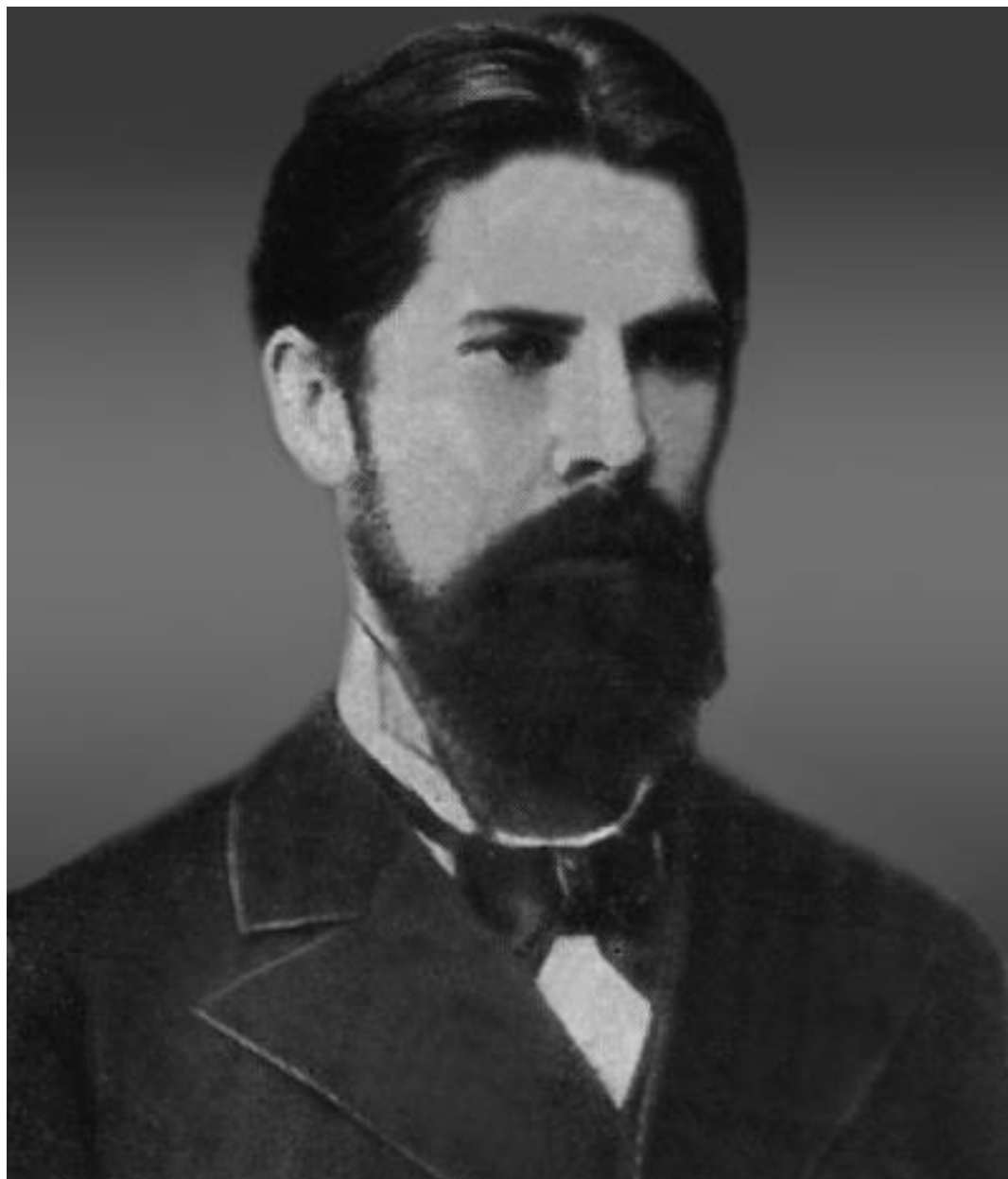
Чтобы не повторилось это печальное приключение, а также, чтобы сократить наши расходы, неожиданно увеличившиеся на кормилицу, я стала закупать провизию и сама готовить обед. Понятно, обеды были не изысканные, но свежие и абсолютно доброкачественные. Благодаря этому, прекратилось наше хождение по кухмистерским. Иван Петрович был несказанно доволен, но не довольны были Левашов и Рогович, кормить которых я не могла согласиться в виду неудобств с хозяйством. Наш малютка стал общим любимцем квартиры. Хозяева – муж и жена – называли его «наш маленький принц», забавлялись с ним и Левашов с Роговичем и Адами. Огорчало меня только то, что пришлось отложить его крестины до переезда в Лейпциг.

\* \* \*

Мы переехали к профессору Людвигу в Лейпциг только в конце весны. Здесь была греческая церковь. Греческий священник окрестил мальчика и устроил всем присутствующим на

крестинах роскошное угощение. Забавно было, что оба наши русские приятели желали быть крестными отцами сыночка. Рогович прибежал ко мне и сказал:

– Ни за что не берите в крестные Левашова! У него тяжелый взгляд – от его взгляда мухи дохнут.



В.М. Бехтерев в 1884 г.

Мы посмеялись над такими суевериями. Окрестил все-таки Рогович, так как с Левашовым у Ивана Петровича вышло в это время какое-то недоразумение.

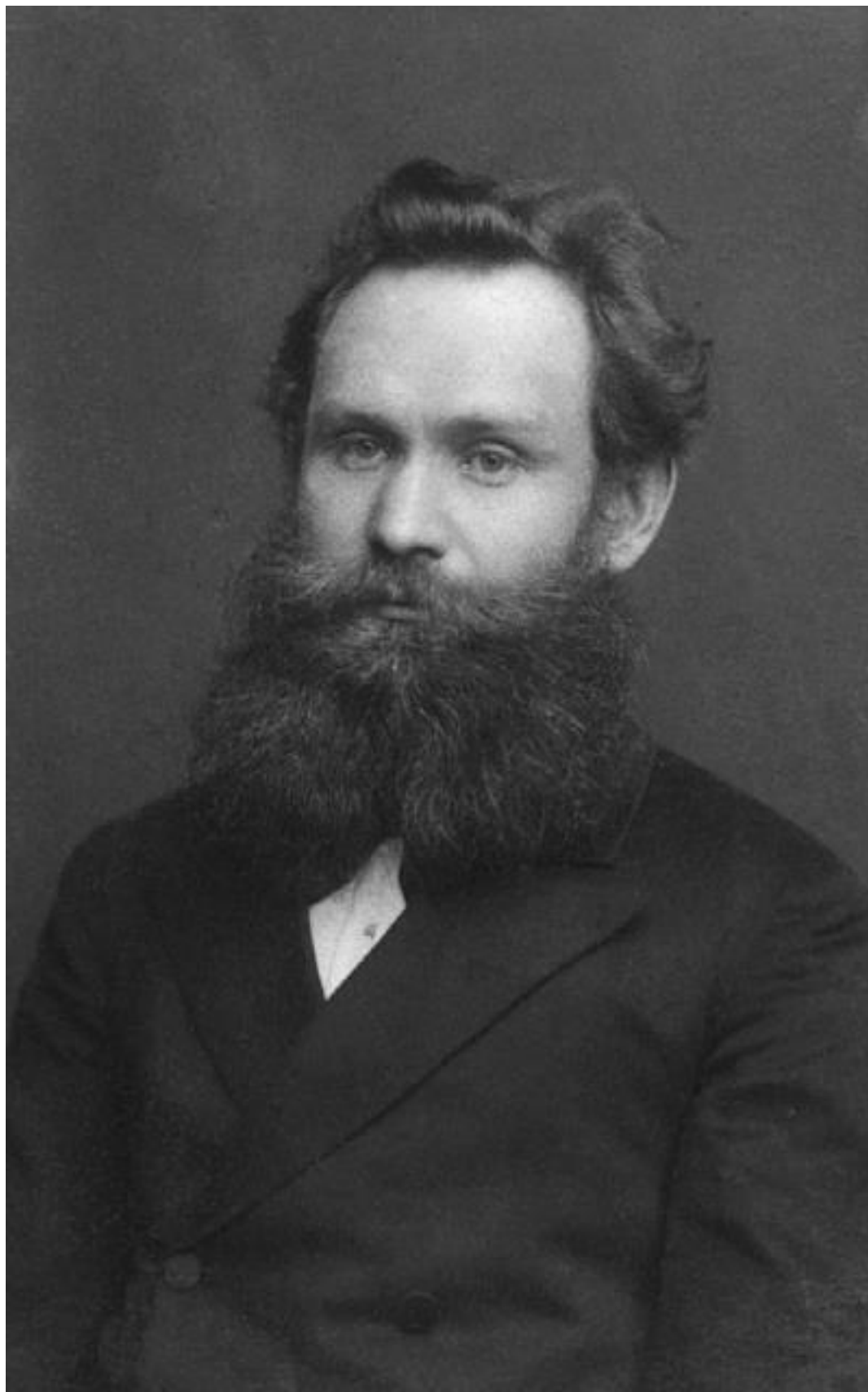
В Лейпциге мы попали в целую русскую колонию. Короткое время были Лукьянов, Сиротинины, Зелинский<sup>92</sup> с женой, Бехтерев<sup>93</sup> с женой и семилетним сыном, Высокович<sup>94</sup> с женой и шестилетней дочерью. Там же мы познакомились с русскими студентами, обучавшимися в семинарии, устроенной министром Толстым<sup>95</sup> для подготовки преподавателей древних языков.

Здесь Иван Петрович положил основание своим занятиям гимнастикой. Он и большинство его товарищей поступили в гимнастическое общество. Так как они были плохими гимнастами, то им отвели особого «фортунера». Из всего этого нам вышла большая потеха.



Серафима Васильевна Павлова. 1885 г. Фотография Otto Nach, Лейпциг

Назначен был гимнастический праздник. Все члены общества должны были публично выступать под руководством своих учителей. Недолго думая, русские решительно отказались участвовать в празднике. Но их учитель чуть не со слезами умолил не отказываться от выступления, так как этим они лишили бы его праздника. И вот отправились мы смотреть на выступление своих мужей. К нашей потехе мы получили места как раз напротив их отделения. Можете себе представить наш хохот, когда вместо того, чтобы перепрыгнуть через палку, наши гимнасты, держась за нее руками, лежали на ней животом, а товарищи перетаскивали их за ноги на другую сторону. Все шло в таком же духе. Но учитель остался доволен, так как они хорошо угостили его в пивной.



Иван Петрович Павлов. 1885 г. Фотография Otto Nach, Лейпциг

Сказать по правде, во все время нашего пребывания в Лейпциге я тоже весьма мало уделяла времени и внимания Ивану Петровичу. Все мои заботы уходили на безумно любимого ребенка и на приготовление пищи для нашего пропитания.

Как раз в это время расстроился желудок у ребенка. Я обратилась за медицинским советом к Ивану Петровичу. Он запретил кормить ребенка [молоком].

Ребенок превратился в старика, покрытого морщинами, жалобным плачем он не давал никому покоя. Пригласили мы профессора по детским болезням Зенгера. Тот пришел в ужас от такого медицинского невежества, приказал поить ребенка не только молоком, но и давать по стакану в день айсвасера. Благодаря этому, через три дня ребенок поправился.



Владимир Павлов (Воля) в возрасте 1 года. 1885 г. Фотография Otto Nach, Лейпциг

К нашему большому удивлению посетил нас сам профессор Людвиг. Он пришел в то время, когда Иван Петрович был в лаборатории и заявил, что пришел познакомиться со мной и посмотреть нашего очаровательного ребенка, похвал которому наслушался в лаборатории от работавших там русских. Подойдя к ребенку, он капнул из носа на его кофточку и стал извиняться передо мной, объясняя свою невежливость хроническим насморком. Наговорил он мне массу комплиментов по поводу работы Ивана Петровича и сказал, что я счастливая женщина, имея такого великого мужа.

Часто я встречалась с профессором Людвигом и его женой в парке, куда возила в колясочке на целые часы моего малютку. Вот однажды, когда супруги Людвиг встретились со знакомым и старик увлекся разговором, его жена подошла ко мне, любезно поздоровалась, расхвалила, как водится, младенца и пустилась в объяснение своей жизни. В лаборатории она узнала, что я сама покупаю провизию, готовлю дома обед и ужин, и что Иван Петрович никогда не ходит в рестораны. Это ей очень понравилось. Она назвала это настоящей семейной жизнью.

– Знаете, – сказала она, – после нашей свадьбы мой муж не одел ни одной крахмальной рубашки, выглаженной не моими руками. У нас нет и не было детей, мы живем только друг для друга: он заботится о моем благосостоянии и балует меня, а я со своей стороны беру на себя все мелкие жизненные заботы.

Она очень удивилась, когда я сказала, что делаю то же самое.

– Я не считала русских женщин способными на это! Да, мой муж недаром похвалил вас, он понимает людей.

Такие дружеские беседы повторялись у нас неоднократно при встречах в парке.

## **По дороге домой**

Закончил Иван Петрович свою работу, и мы поехали домой после двухлетнего отсутствия.

Переезжая русскую границу, Иван Петрович пришел в такое умиление, что снял шапку, перекрестился и сказал: «Я готов обнять и расцеловать даже нашего жандарма!» – так был он доволен возвращением на родину.

По дороге мы остановились в Вильно, чтобы повидаться с моим братом и его женой. Здесь очень огорчило нас поведение маленького сынишки, которому было в то время немного больше года. Он никого не хотел знать, ни к кому идти на руки, кто не говорил с ним по-немецки. Кормилица его была немка, и мы с Иваном Петровичем по ее примеру тоже говорили с ним по-немецки.



Сергей Васильевич Карчевский

Однажды утром, когда брат был на службе, подъехала шикарная коляска, из нее вышли две нарядные дамы. К моему удивлению, это оказались мои старые знакомые еще по Керчи – Эмма и Цезя Х. Они радостно бросились ко мне и моему мальчику с поцелуями и приветствиями. Я была поражена и в то же время обрадована тем, что сынишка охотно пошел к ним на руки. И превесело стал с ними играть, так как обе говорили с ним по-немецки.

Узнав, что через день мы с Иваном Петровичем уезжаем, они стали просить нас приехать к ним сегодня же к обеду. Иван Петрович не согласился. Я же с малюткой поехала, тем более что они просили меня от лица своей старой матери.

Подъехали мы к красивому дому.

Квартира была в бельэтаже и очень нарядно обставлена. Как всегда и раньше, все у них блистало чистотой.

Когда я спросила про их меньшую сестру, маленькую Адель, они сказали, что она давно уже умерла, но что есть еще сестра Лиля, которая учится в гимназии, и потому ее еще нет дома.

Мы очень весело и дружно болтали, вспоминая эпизоды своего детства. К обеду вышел их отец в халате с большим зеленым козырьком над глазами, прикрытыми еще и темными очками. Он извинился за свой костюм и объяснил, что это следствие его болезненного состояния. После обеда мать попросила меня пройти к ней в комнату, так как хотела со мной побеседовать. Здесь старуха со слезами сказала мне:

– Ваш брат не ведет с нами дружбу. Но у нас есть общий с ним знакомый. Вот через него мы и узнали о вашем приезде. Дело в следующем: моя младшая дочь Лиля совершенно разошлась с нами. Она в последнем классе гимназии и заявила нам, что, как только исполнится ее совершеннолетие, она ни часу не останется в нашем доме. Она мало способна, училась слабо, потому, что запоздала с учением. Я хочу, чтобы вы с ней поговорили и, быть может, примирили со старыми родителями.

Я сначала отказалась, так как не знала ни молодой девушки, ни причины их недоразумений. Однако пошла все же познакомиться с Лилей. Она жила в кухне вместе с кухаркой и горничной. С ними она работала и ела, в остальные же комнаты входила только рано утром для уборки и чистки домашних вещей.

– Я живу у министра Х., который к несчастью приходится мне отцом, но живу только до своего совершеннолетия, так как раньше мне не дадут отдельного паспорта. К своему стыду, должна вам признаться, что отец мой наглый вор. Это он сделал ради моей матери и сестер, которые любят богатую шикарную жизнь и всегда требовали от него денег больше, чем он мог дать, нисколько не интересуясь, откуда он их добывал. Уже давно в городе говорили, что он великий казнокрад. Теперь, купив на имя матери великолепное имение, он попал под суд, и еще не известно, чем кончится дело. От них я не беру ни копейки и зарабатываю шитьем, и уже заработала на свой отъезд. Если бы вы знали, как было мне горько в гимназии слышать о бесчестных поступках отца и безмерной жадности матери и сестер! Ничего в мире не может заставить меня остаться с ними.

– А бог, – сказала я, – ведь он прощал злодеев?

– Совершенно верно, когда они раскаивались. Я долго ждала и надеялась на это. Но от них я только слышала насмешки над школьным учителем, говорившим нам о труде, о честности. Долго еще побеседовали мы с ней, но ровно никакого успеха я не имела.

Через день мы уехали в Петербург. Брат был очень недоволен, что я была в такой всем известной бесчестной семье.

Много лет спустя сестра моя, муж которой был уже городским головой в Ростове-на-Дону, получила от матери этой бедной девочки отчаянное письмо, все покрытое следами слез, в нем она просила сестру посетить Лилию и, если возможно, помочь ей, сообщила, что живет ее дочь в страшной бедности, занимая очень незначительное место на железной дороге. Писала, что отец Лили давно умер, просила истратить, сколько потребуется, – все будет полностью возмещено с великой благодарностью.

Отправилась сестра. Лиля жила в подвале, была очень бедна. По холодной в то время погоде была плохо одета. Питалась она одной картошкой, в которую изредка добавляла постное масло. Принять какое бы то ни было пособие из ворованных отцом денег она наотрез отказалась. От сестры же моей приняла небольшую помощь.

– Весь город, – сказала она, – знает вашего мужа как честнейшего человека.

Пребывание Лили в Ростове было непродолжительно. Она всей душой отдалась на служение революции. Мне думается, что здесь сказалось благотворное влияние школы на молодую чистую душу.

### **Возвращение из-за границы**

После возвращения на родину мы поселились опять в университетской квартире. Дорогой и первое время житья в университете по докторским соображениям Ивана Петровича мы перевели своего двухлетнего ребенка исключительно на мясное питание. В результате такой диеты мы довели его до звериной жадности и истощения: он превратился в какого-то ненасытного зверюшку. Пришлось пригласить доктора. Пришел молодой застенчивый врач, только что окончивший академию. Осмотрел он ребенка, узнал, чем и как мы его кормим, и очень сконфузился, что ему приходится отменить и осудить систему питания, установленную его старшим коллегой. Он совершенно запретил мясное питание и посадил мальчика исключительно на молочную диету. Через неделю малютка абсолютно поправился и его волчий аппетит пропал.

Так познакомились мы с добрейшим доктором Николаем Константиновичем Вяжлинским, который вскоре оказался в числе самых дорогих и скромнейших наших друзей.



Дмитрий Петрович Павлов

По возвращении из-за границы Иван Петрович должен был выполнять разные официальные обязанности, а я с малышом поехала одна к сестре. Ехала я, понятно, в третьем классе. Дорогой приходилось выходить для покупки провизии и я была очень рада, что с малюткой оставался кадетик лет 10–11, который очень весело и мило играл с ним. Каков же был мой ужас, когда кадетик сообщил, что отпущен домой на каникулы раньше времени, так как болел корью! Я не пожалела, а обрадовалась, когда он вышел на ближайшей станции. Подъезжая к Ростову, в вагоне оставалась я одна с ребенком. Приходит кондуктор и говорит:

– Береги вещи, здесь много жуликов.

К моему счастью, в вагон вошел пожилой казак и доехал с нами до самого Ростова. Мы отлично провели дорогу, и он на память подарил моему сыну полтинник. В Ростове ребенок опять прихворнул, и сестра посоветовала, не теряя времени, пригласить доктора. Доктор был старый наш знакомый, однокурсник Ивана Петровича по Военно-медицинской академии. Он пришел посмотреть младенца и сказал:

– Мы избегаем лечить в семье доктора и лечить единственного ребенка у родителей, а у вас и то, и другое. Но успокойтесь, заболевание самое пустое!

Я не спала ночи и не могла есть, так что моя маленькая племянница говорила: «Можно любить своего ребенка, но с ума сходить не следует».



Владимир Павлов

Меня страшила одна мысль, как бы не огорчить Ивана Петровича, которому предстояло много хлопот по устройству своей научной карьеры. К счастью, все устроилось отлично, и ребенок поправился.

Приехал Иван Петрович, хорошо отдохнул с нами у моей сестры, и мы в самом веселом настроении вернулись в Петербург осенью.

Первым делом пришлось искать квартиру, так как Дмитрий Петрович получил место профессора химии в Институте Новой Александрии под Варшавой, куда он и спешил уехать к началу занятий. Мы же наняли себе квартиру на Гагаринской наб., в доме, где жил некогда Кутузов<sup>96</sup>. Кажется, место важное. Но квартира наша была на втором дворе во флигеле, где ранее были квартиры прислуг всех господ, живших в квартирах на набережной.

Переехали мы. Дело было к вечеру. Поставили детскую коляску посередине комнаты и сели в другой комнате пить чай. Вдруг раздался страшный детский крик. Мы побежали с лампой в спальню и увидели ребенка, буквально сплошь покрытого клопами! Такой же участи подверглись и мы сами, когда вздумали попытаться лечь спать. Иван Петрович все же заснул, верно, сказалась старая рязанская привычка, а я просидела целую ночь, защищая мальчика от клопов.

Со следующего дня началась моя борьба с этими отвратительными насекомыми, и через три недели в нашей квартире не осталось ни одного клопа. Иван Петрович был поражен моей победой и отпраздновал ее чаепитием, на которое пригласил своих друзей. Кстати, это было и праздником новоселья. Вот тогда-то только Иван Петрович принялся всецело за свои научные труды.

В материальном отношении жилось нам весьма и весьма круто. Мальчик наш был бледен и слаб, хотя здоров. Пришлось снова обратиться за советом к Николаю Константиновичу Вяжлинскому. Он посоветовал на год увезти ребенка из Петербурга. Я с большим удовольствием весной поехала к своему брату в Вильно, где на станции [неразборчиво] он нанял дачу для двух семей – его и нашей – за 50 рублей в лето и притом еще с дровами и с услугами дворника.

Иван Петрович прямо наслаждался красивым положением и купанием в Вильно, где дно было как бархатное от нежного желтого песочка. А какие чудесные леса окружали это местечко. В этих лесах была такая масса белых грибов, что в полчаса мы набирали полную бельевую корзину. А лесные озера с холодной и такой прозрачной водой, что на дне можно было различить каждый камешек! С каким удовольствием плавала я в этой ледяной воде!

Жизнь была веселая. Жили мы с Иваном Петровичем и с сынишкой, брат с женой и двумя детьми (меньшой еще был грудной) и старушка их няня. Позже к нам приехал Дмитрий Петрович, а к брату – сестра жены, моя одноклассница по гимназии. Все работы строго делились. Мужчины топили плиту, а во время стирки и баню. Мы, женщины, втроем готовили кушанье, мыли посуду (в чем нам помогала няня) и стирали белье. Мужчины ловили рыбу, раков, собирали грибы и ягоды. В последних занятиях принимали участие и мы, когда были свободны, так как это было очень весело. Покупали мы только самое необходимое: молоко и молочные продукты, яйца, сахар, мыло для стирки. Мясо разрешалось покупать только по праздникам. Денег ни у кого из нашей компании не было. Пришлось призадуматься, как прожить следующую зиму? Я хотела с сынишкой ехать в Ростов. Туда меня звали, и там я могла иметь хорошие уроки. Но Иван Петрович решительно восстал против этого:

– Ты так захудала, что в тебе нельзя узнать прежней веселой и здоровой девушки. Мальчик тоже слабенький, и все советуют, чтобы он не жил зиму в Петербурге. Вот у Мити чудесная квартира в Александрии; жизнь там дешева. Он обожает своего племянника и будет счастлив, если ты с Волей проживешь у него зиму. А меня приглашают Симановские прожить с ними зиму.

В конце концов мы и решили поступить таким образом. Иван Петрович уехал в Петербург раньше. А мы все еще наслаждались прекрасной осенью.

В Александрии мы с Волей устроились очень хорошо. Мне не надо было знать ни кухни, ни стирки. Вся моя работа и все мои заботы были посвящены мальчику. Он был еще мал, чтобы учиться читать. Но многому и очень многому научился с моих слов.

Хуже пришлось Ивану Петровичу. Как ни хорошо устроилась его жизнь у Симановских, он сильно тосковал. На Рождественские праздники он приехал к нам, и мы вволю повесели-

лись. Затем еще раз пережили мы разлуку до летних каникул. На лето же Иван Петрович опять приезжал к нам.

Наконец осенью мы уже все вместе поехали в Петербург. Сын к тому времени вполне поправился. Мальчика нельзя было узнать. Такой он стал краснощекий и сильный. Нам посчастливилось. Наша прежняя квартира на Гагаринской набережной оказалась свободной, и мы перевезли туда из склада всю нашу незатейливую мебель. Казалось, жизнь вошла в спокойные берега. Но не тут-то было! Иван Петрович стал плохо себя чувствовать. Приходя из лаборатории, он ложился на диван и просил даже подавать ему на диван обед. Он избегал всяких лишних движений и быстро утомлялся. Не могу сказать, кто из нас больше мучился – он ли, я ли, глядя на его страдания. Бедняжка, он думал, что у него табес (спинная сухотка)<sup>97</sup>, и что он покинет нас.

Иван Петрович решил по утрам брать холодные ванны. Понятно, ванны при квартире не было. На чердаке нашли старую ванну матери Ивана Петровича, поставили ее в кухне. Я ее тщательно вычистила песком и золой. Приладили резиновую кишку к крану для наполнения ванны водой. Но для выливания ничего нельзя было придумать, и мне приходилось выливать воду кувшинами.

Все это продолжалось вплоть до весны. Иван Петрович уверял, что холодные ванны действуют на него великолепно. Я же была в безумном восторге, что прекратились разговоры о табесе.

## У министра Делянова<sup>98</sup>

Вот в эту-то зиму и произошло приключение с назначением Ивана Петровича в Томский университет. Ожидали, что он будет профессором в этом университете. Мы и все наши приятели были уверены в назначении, как вдруг узнали, что вместо Ивана Петровича назначен в Томск весьма заурядный физиолог Великий<sup>99</sup>. Не скрою, что я была кровно оскорблена этим и назвала старенького министра Делянова старым дураком.

Случилось, что в это же самое время получила я письмо от моей матушки, которая вновь была начальницей в Бердянске. Она просила меня побывать в Министерстве и узнать, как обстоит кляузное дело с каким-то доносом на нее.

Когда я заявила Ивану Петровичу, что поеду в Министерство, он удивился и серьезно отговаривал меня от визита.

Я все-таки поехала. Министр был один. Меня пригласили к нему в кабинет. Толстенький, старенький человек с добродушной улыбкой на мой привет:

– Здравствуйте, Иван Давыдович! – протянул мне руку и любезно предложил сесть.

– Чем могу служить, – спросил он меня.

– Я приехала по кляузному делу моей матушки.

– В чем же оно состоит?

– Моя матушка – начальница женской гимназии в Бердянске, где очень и очень много сплетен. Вы позволите вам говорить правду?

– Прошу, прошу.

– В гимназии у матери служит одна учительница, состоящая любовницей городского головы. Пока она не афишировала этих отношений, мать не вмешивалась в ее личные дела, но после того, как учительница стала подчеркивать свое привилегированное положение и этим роняла престиж заведения, то матушка сделала ей выговор, чем и вызвала к себе враждебное отношение. Вот за это на матушку был послан донос к вам в министерство. В чем состоит этот донос ни матушка, ни я не знаем. Мы уверены в его полной несправедливости.

– Обещаю вам, что лично рассмотрю дело вашей матушки.

– О, Иван Давыдович! Это меня нисколько не утешает.

– Почему?

– Да потому, что недавно, лично вы, вместо моего мужа Ивана Петровича Павлова, – солидного ученого с самостоятельными серьезными трудами, с заслуженной репутацией, назначили в Томск неизвестную величину – Великого. Это показывает, что вы ничего не понимаете в этом назначении. Да ведь физиология – не ваша специальность. Такие люди, как мой муж, представляют собой соль земли, без них немислим прогресс, без них жизнь была бы серым гнилым болотом!

С удивлением улыбнулся министр и сказал:

– Жаль, что вы раньше не пропели дифирамбы вашему супругу. Очевидно, и вы просолились около него, раз он соль земли!

– О нет! Я не могу летать под облаками. Довольно, если из меня выйдет добронравная супруга и добродетельная мать.

Весело улыбаясь, министр пожал мне руку и оказал:

– А я все-таки лично рассмотрю дело вашей матушки.

– Спасибо. Только, пожалуйста, уведомите меня о вашем решении. Мой адрес у вас записан при входе. До свиданья.

Старик ласково проводил меня до дверей.

Потом лечивший его профессор передавал со смехом мне, что министр рассказывал о визите «соленой докторши». Иван Петрович был крайне недоволен.

Через месяц, однако, мне доставили по почте записку от Ивана Давыдовича, в которой сообщалось, что по точно наведенным справкам донос оказался кляузным, и моя матушка получила из министерства благодарность за выполнение своего долга.

На записку я ответила тоже почтой: «Многоуважаемый Иван Давыдович! Благодарю вас за извещение и за правильное решение дела».

## Профессура в академии

Говорят, что счастье, как и несчастье, не приходит одно. Иван Петрович получил назначение на кафедру фармакологии в Томске. В это же время он был выбран на кафедру фармакологии в Варшаве. Наконец, благодаря дружеским заботам своего земляка и друга, профессора-окулиста Военно-медицинской академии В. И. Добровольского<sup>100</sup>, Иван Петрович был выбран профессором фармакологии в нашу академию. Понятно, что мы предпочли остаться в Петербурге, где Ивану Петровичу открывалась широкая возможность вести свои научные работы. Это был период 1890–1891 гг.

Вскоре после избрания Ивана Петровича экстраординарным профессором на кафедру фармакологии в Военно-медицинскую академию, все учреждение было обрадовано разрешением выбирать начальника академии из своей профессорской среды. До этих пор начальник академии назначался правительством. Почти единогласно выбран был профессор общей патологии В. В. Пашутин<sup>101</sup>, один из блестяще начинающих молодых профессоров, большой друг и приятель В. И. Добровольского.

Все ожидали наступления золотого века в жизни академии. Что же вышло?



Главное здание Медикохирургической академии. Фото 1890-х гг.

С первых заседаний Конференции Пашутин заявил себя не товарищем, а весьма строгим начальником. Такого проявления начальничьего тона, и причем в довольно грубой форме, никогда не позволяли себе даже назначенные начальники, относившиеся с уважением к научным заслугам профессоров.



И. П. Павлов на занятиях со слушателями Военно-медицинской академии

Это сначала вызвало со стороны ближайших друзей Пашутина возражение ему в дружеской форме. Но Пашутин, считавший личные свои заслуги превыше всех научных заслуг других профессоров, позволял себе резко обрывать подобные замечания.

Первое время это вызывало удивление. Но постепенно, по пословице, чем дальше в лес, тем больше дров, Пашутин становился все резче. Этого, понятно, не могли перенести профессора с чувством собственного достоинства, как Мержиевский<sup>102</sup>, Батурич<sup>103</sup><sup>12</sup>, Добровольский, Иностранцев<sup>104</sup> и Иван Петрович. После каждого заседания Конференции Иван Петрович приходил домой совершенно расстроенный и отводил душу с Добровольским, неизменно приезжавшим к нам вечером после каждого бурного заседания. Он сильно конфузился, когда Иван Петрович укорял его за блестящую рекомендацию, которую он давал Пашутину до выборов.

Особенно обострились у Ивана Петровича отношения с Пашутиным, когда вышел официальный срок службы профессорам Мержиевскому, Батуричу, Добровольскому и Иностранцеву. В обычае было выбирать достойных профессоров еще на трехлетие службы в академии. Пашутин же не пожелал оставить в своем учреждении неприятных для него людей и самовольно уволил их, не представив даже на выборы Конференции.

Возмущенный подобным самоуправством, Иван Петрович решил устроить товарищеский обед в Докторском клубе в честь увольнения профессоров. Своей страстной и убедительной речью он уговорил почти всех профессоров (26 из 35) принять участие в этом обеде. Привожу их личные подписи, сохранившиеся у меня в бумагах<sup>105</sup>:

Л. Попов, Субботин, Беллярминов, Быстров, В. Торновский, Н. Симановский, С. Пшебытек, И. Павлов, С. Шидловский, В. Павлов, К. Славянский, О. Пастернацкий, Касалов, Альбицкий, А. Полотебнов, Ивановский, А. Гаринецкий, Н. Егоров, А. Пруссак, Ю. Чудновский. Н. Холодковский, С. Заварькин, А. Дианин, Н. Круглевский, В. Ратимов, Н. Чистович<sup>13</sup>.

Как только Пашутин узнал об устройстве этого обеда, он открыто высказал не только свое неодобрение, но даже возмущение. Подписавшиеся взяли свои подписи обратно, и обед не состоялся.

– Какая трусость и глупость, – говорил Иван Петрович товарищам, – ведь если бы мы дружно встали с самого начала за свои права и свое человеческое достоинство, то Пашутин волей-неволей смирился бы, а то выходит, кто палку взял, тот и капрал! Чем эта палка крепче бьет, тем ниже все клонят голову! Никакого нравственного достоинства, а только рабская угодливость! Я понимаю, что теоретики не могут иметь свое суждение, но стыдно Сиротину, Попову, Славянскому, Тарновскому и другим практикам! Ведь вы можете жить отлично и без академии, а вы раболепствуете и унижаетесь, не понимаю!

Во все продолжение этой борьбы с Пашутиным Иван Петрович носил Устав академии в кармане, чтобы ссылаться на него при отстаивании своих прав.

Сильно укорял меня Симановский<sup>106</sup> и Сиротинин за то, что я не удержала мужа от борьбы с Пашутиным в интересах своей семьи. Но я была просто очарована мужественным поведением Ивана Петровича в борьбе за правду! Для нашей семьи борьба эта обошлась не дешево: при Пашутине Иван Петрович не получил ординатуры, хотя кафедра физиологии, на которую он перешел после Тарханова, была кафедрой ординарного профессора. Кроме того, Иван Петрович, как теоретик, имел право на казенную квартиру. Но квартира была отдана практику, вопреки всем правилам.

---

<sup>12</sup> Правильно – Баталин А.Ф. (прим. сост.).

<sup>13</sup> Правильные написания фамилий: Тарновский В.М., Пржибытек С.А., Павлов Е.В., Пастернацкий Ф.И., Насилов И.И. (?), Тарнецкий А.И., Заварькин Ф.Н. (прим. сост.).



И. П. Павлов в своем кабинете на кафедре физиологии Военно-медицинской академии

Другой крупный факт самоуправства Пашутина выразился в следующем.

Надо было выбрать профессора общей патологии<sup>107</sup>. Иван Петрович представил двух лучших петербургских профессоров – Лукьянова и Подвысоцкого<sup>108</sup>. Но о них Пашутин не допустил никаких разговоров. На баллотировку в Конференции были представлены только два его ученика, совсем ничем себя не проявившие. Стояли два отдельных ящика: один с надписью «Альбицкий»<sup>109</sup>, другой с надписью «Костюрин»<sup>110</sup>. Каждому члену Конференции давался только один избирательный шар, хотя в обычае было давать каждому по два шара.

Из всей Конференции только 16 человек приняли участие в этой баллотировке. Все эти шары получил Альбицкий. Костюрин же не получил ни одного, так что вышел из баллотировки совсем опозоренным. Даже учитель – сам Пашутин – не поддержал его.

После этого Иван Петрович внес в Конференцию следующее заявление: «Считаю баллотировку профессора Альбицкого и Костюрина, по меньшей мере, неправильной, например, я сам желал положить каждому из них по белому шару и не мог этого сделать, получив только один шар, и таким образом незаслуженно обидел доктора Костюрина».

В следующую Конференцию Пашутин прочитал ответную бумагу военного министра Банковского<sup>111</sup>:

«Считаю заявление профессора Павлова, по меньшей мере, неправильным, так как профессор Пашутин имел право заместить свою кафедру одним из своих учеников для сохранения своего личного направления в работах кафедры, столь славно им руководимой».

За время истории с Пашутиным Иван Петрович частенько печально твердил: «Беда наша в том, что нет у нас ни малейшей солидарности!»

## У свекра Петра Дмитриевича

После отчаянного 89-го года, когда Иван Петрович думал, что у него табес, и мы прожили девять месяцев под этой тяжелой, нависшей над нами тучей, на лето поехали мы отдыхать к моей матери в Бердянск.

По дороге остановились, как всегда, погостить у родителей Ивана Петровича. Да, признаться сказать, у нас и не было денег на дальнейшую дорогу. Об этом я написала сестре, прося ее выручить и дать нам возможность приятно провести время вместе со всей нашей семьей.

В этот приезд часто беседовала я с отцом Ивана Петровича, сидя на балконе. Он говорил:

– Я не понимаю, чему вы все смеетесь? Ведь у вас нет ничего!

– Как нет ничего? У меня чудесный муж, прелестнейший сынишка, я здорова и молода.

Как же мне не смеяться?

– Да, а вот, получив деньги, вы что-то уж очень веселитесь!

– Еще бы! Я радуюсь свиданию с дорогими родными и свиданию с нежно любимым прекрасным морем! Буду им любоваться и плавать на просторе!

– Ну, а чему же Иван-то радуется? Тому, что уедет от своих родителей?



Верхние сени в доме Павловых в Рязани

– Батюшка, какая скромность! Вы не хотите признать ваших блестящих педагогических достижений. Ведь вы воспитывали Ивана Петровича по Писанию, а в Писании сказано: «И оставит человек (заметьте, мужчина, а не женщина) отца и мать и прилепится к жене, и будут две плоти едина». И еще сказано в Писании: «Не хлебом единым жив будет человек, но великим словом, исходящим из уст божьих». – Вот Иван Петрович и преуспел под вашим руководством. Мы с ним действительно плоть едина. О хлебе насущном он не заботится, а занимается на благо человечеству наукой, отыскивая истину. А истина и есть слово, исходящее из уст Божьих. Вот каковы результаты ваших трудов, батюшка. Посмотрите, вон идет Ваня с Волей и весь сияет – наверное, поймал новую бабочку! Ну, разве можно не радоваться на него!

Несмотря на такие мои резкости, старик никогда не пропускал часы наших бесед и говорил Дмитрию Петровичу: «Умна, умна, а нас не любит», а я поручала Дмитрию Петровичу ответить: «Умен, умен, а меня не любит».

Позволяла же я себе быть иногда резкой, раздраженная мелкими придирками и попреками. Меня так знакомили с родными или чужими людьми: «А это наша бесприданница!»

Во время пребывания у родителей Ивана Петровича я никогда не заявляла никаких претензий относительно нашего прокормления. Но единственного сына, которому было около пяти лет, я кормила из собственных рук и собственной провизией. На такие маленькие покупки у меня всегда хватало своих денег.

Вот однажды после беседы на балконе с отцом Ивана Петровича спустилась я вниз, чтобы жарить котлетки сынишке. Их родственница выносит и показывает мне масло, оставленное бабушкой для единственного внука. Это было не масло, а заплесневелый кусок зеленого цвета и неприятного запаха. Немедленно я послала купить свежего масла, а этот зеленый кусок взяла в руки и помчалась наверх к бабушке. Не знаю, чтобы у нас вышло!

Надо было проходить через комнату, в которой сидел свекор со своим любимым прихаживанием. Это был совсем простой человек, но умный и весьма богатый. В каждом кармане жилета он имел часы с толстыми золотыми цепочками. Меня представили ему как «нашу бесприданницу». Я вспыхнула:

– Что вы, батюшка, так прославляете мою мать? Осталась она вдовой, когда старшей дочери было 16 лет, а мне с братом 5 и 6 лет. Сейчас все ее дети на хорошей и верной дороге.

Собеседник свекра встал, до колен поклонился мне и сказал:

– Честь и слава вашей матушке.

Это избавило меня от неприятной истории со свекровью. На следующий день мы уезжали на юг.

Иван Петрович так быстро и хорошо оправился в гостях у моей матери, что даже наш маленький сынок Воля, которому тогда было около 5 лет, говорил:

– Что значит купание в море и такая вкусная еда, как у бабушки: папа в Питере был совсем стариком, все лежал и не разговаривал, а теперь так весело болтает, все смеется, и не ходит, а бегаёт.

И действительно, Иван Петрович великолепно отдохнул, повеселел и поправился. Он ежедневно купался в море, наслаждался виноградом, который сам рвал с лоз, и сильно увлекался ловлей бабочек. Он их начал коллекционировать для маленького сына. Эта страсть дошла до того, что, видя красивую бабочку, он снимал шляпу и шепотом умолял не улетать, а дать ему возможность поместить ее в свою коллекцию.

Надо сказать, что страсть к бабочкам началась еще в предыдущее лето в Александрии, где Иван Петрович соперничал с профессором химии Потелициным<sup>14</sup>. Когда химику удалось поймать «синюю орденскую ленту», Иван Петрович буквально впал в отчаяние и даже отложил отъезд на несколько дней, чтобы попытать свое счастье. Бабочка не появлялась, и волею неволей пришлось примириться с этой неудачей.

Каково же было торжество, когда в цветнике у моей матери он поймал их сразу три, да еще более редкую «красную орденскую ленту».

Читали мы с ним это лето «Фауста» в переводе Холодковского<sup>112</sup>. С того времени и до самой своей кончины Иван Петрович любил перечитывать это великое творение. Шекспира и Гёте он считал превыше всех писателей. Из наших же почитал Достоевского, Пушкина и Крылова. Последнего любил он с самого раннего детства.

---

<sup>14</sup> Правильно – Потылицын (прим. сост.).

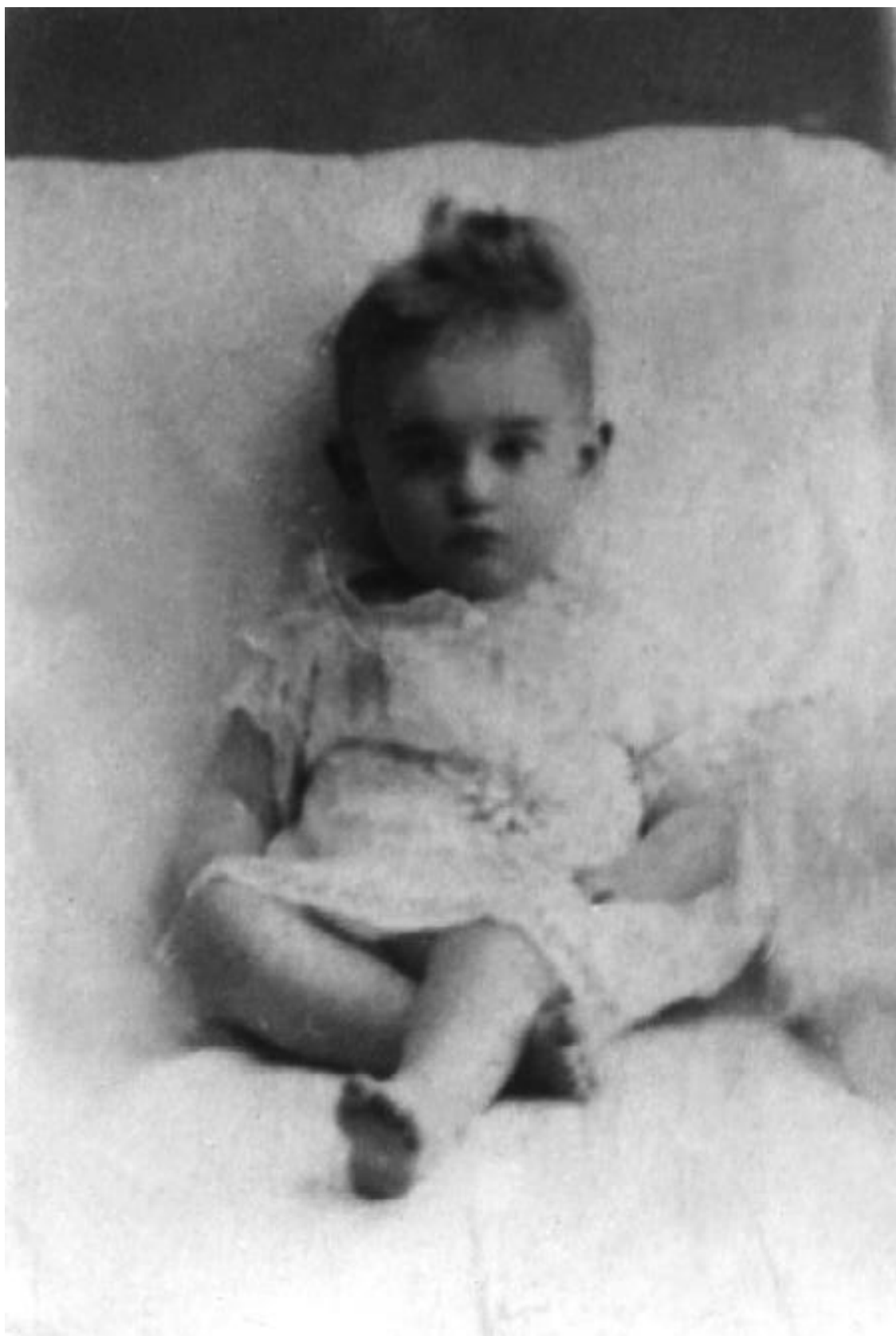
## **Устройство жизни**

Вернулись мы в Петербург веселые и счастливые. По возвращении Иван Петрович просил меня никогда не вспоминать о табесе. Что я свято и исполнила.

Нашли мы себе квартиру на Петербургской стороне – на углу Введенской и Пушкарской улиц в третьем этаже со двора. Квартира состояла из четырех маленьких комнат и кухни. Когда был у нас там профессор Ненцкий, он заметил: «Квартирка недурна, но зачем так воняет псиной на лестнице?»

В это время у нас был еще только один ребенок – пятилетний старший сын Володя. Финансы наши были в очень плохом состоянии. Я не держала прислугу и все по хозяйству делала сама.

Каждый день гуляла с ребенком, готовила обед, занималась с мальчиком и обшивала его, а вечерами писала под диктовку работы Ивана Петровича. Жизнь наша шла счастливо и покойно, полная умственных интересов. Размолвки, если и бывали, то пустяковые.



Дочь Павловых Вера в младенческом возрасте

Однажды Иван Петрович опоздал чуть ли не на два часа к обеду. Понятно, обед перепортился. Иван Петрович очень резко выражал свое неудовольствие на меня за невкусный обед, а

на мальчика за его бесконечные разговоры. Сынишка с удивлением посмотрел на отца, всегда с ним ласкового, и спросил:

– Скажи, пожалуйста, папа, чем мы с мамой виноваты, что у тебя был неудачный опыт?

Эти слова были ведром холодной воды на Ивана Петровича. Он схватил мальчика на руки, стал его обнимать, целовать и приговаривать:

– Да, правда должна быть выше всего! Я был неправ, и это больше никогда не повторится. Ты помни, как было стыдно твоему отцу за его несправедливый поступок. Да и ты, Сара, забудь, пожалуйста, мой проступок.

И действительно, мы никогда больше не страдали от неудачных опытов, хотя их было множество.

В этой квартире мы прожили два года, а потом переехали в большую квартиру этого же дома<sup>113</sup> в бельэтаже, окнами на солнечную площадь, с парадным входом, с высокими большими комнатами. Это был вкус Ивана Петровича – чтобы в квартире было много воздуха и света. Переехали мы туда уже с двумя детьми.



Уголок гостиной в квартире Павловых на углу Введенской и Пушкарской улиц

Иван Петрович был приглашен принцем Ольденбургским заведовать отделом физиологии в Институте экспериментальной медицины. Средства наши поправились, и мы могли бы жить без нужды, если бы не пришлось поддерживать многих родственников.



Владимир Иванович Добровольский, профессор

После того, что я управляла нашими скудными финансами во время нашей жизни, Иван Петрович заявил, что боится доверять мне большие суммы и будет сам ими распоряжаться. Однако недолго распорядился он деньгами. Одна старая знакомая его еще по Рязани, узнав, что мы сразу получили из Института экспериментальной медицины (не помню уже за какое только время) 720 рублей, попросила меня одолжить ей эти деньги. Когда я ей отказала, прибавив, что мне они нужны, чтобы прилично одеть мужа, она мне ответила:

– Вы долго ждали, можете и еще подождать!

Посмеялись мы с Иваном Петровичем, тем дело и кончилось.

На другой день вечером, когда он явился со службы, я принесла ему счет тех вещей, которые нам необходимо было сделать. Иван Петрович сильно сконфузился, передал мне 20 рублей и сказал:

– Нет, ты уж сама будешь распоряжаться деньгами, как и раньше. Сегодня утром приходил муж твоей приятельницы и взял у меня 700 рублей.

Так эти деньги и не были никогда возвращены.

К счастью, у нас обоих были покладистые характеры: мы скоро забывали о подобных приключениях.

В большой нашей квартире было очень свободно, так как мебели у нас почти не было, кроме трех солидных книжных шкафов, купленных благодаря дружескому участию Е. О. Симановской.

Увидя как-то, что Иван Петрович получил деньги, она взяла эти деньги у него, заехала за мной, мы поехали и купили самые необходимые вещи<sup>114</sup>. Купили 3 шкафа для книг, а то книги были сложены у нас прямо на полу, купили две хороших кровати Сан-Галли, платяной шкаф, вешалки, зеркало и стулья для передней. На дальнейшую покупку не хватило, потому, что надо было оставить деньги на жизнь.

Вот вскоре после этого приехал наш друг профессор Добровольский. Посмотрел, одобрил книжные шкафы и, покручивая усы и ухмыляясь, оказал:

– Это мне напоминает франта в цилиндре, но без штанов.

Иван Петрович огорчился, так как шкафы ему очень нравились.

Вскоре заехал другой наш приятель, профессор М. В. Яновский. Он тоже прошелся по квартире и удивился:

– Я думал, что вы уже устроились, а у вас совершенная пустота!

– Как! – воскликнула я, – у нас было только двое детей, а теперь уже четверо! Как видите, жильцов, да притом таких беспокойных, весьма достаточно!

Посмеялись мы с ним. Ивана Петровича он благоразумно не тревожил такими мелочами.

Действительно, к этому времени в семье нашей прибавилось еще двое детей<sup>115</sup>.

Тут-то и пошли всякие детские напасти. И всегда неизменно выручал меня из переживаемых тревог и помогал оставлять Ивана Петровича в полном покое, наш редкий друг – милый доктор Николай Константинович<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Имеется в виду доктор Вяжлинский (прим. сост.).



Владимир Павлов

Перед рождением последнего ребенка я поместила старшего мальчика Волю (ему было уже 7 лет) в маленькую частную школу, где две старушки учительницы собрали небольшую группу из детей своих знакомых, там был наш мальчик, его ровесник мальчик К., девочка и мальчик Л. и три мальчика В. Незнакомых не было. Все шло хорошо, и я спокойно занима-

лась со своим третьим сыном, но вдруг, о ужас! Дети В., получившие коклюш, продолжали посещать школу и наградили всех учащихся. Воля передал этот дар всей нашей мелюзге. Двое старших перенесли болезнь легко, но меньшей, которому в это время было только семь месяцев, совсем умирал. Пальцы на руках и ногах, и губы у него были совершенно синие. Нянечка мне говорила:

– Что вы над ним сидите, ведь от него уже землей пахнет.

С помощью Николая Константиновича все обошлось благополучно. Он приезжал даже по ночам.

Затем все дети переболели корью. К счастью, дело было весной и как только они оправились, мы сейчас же уехали на дачу.

\* \* \*

Отдавая все время заботам о муже и детях, я невольно забывала себя. Поглощенная семейными обязанностями, я мало бывала в обществе. Избегала я выездов и потому, что всегда это вызывало неудовольствие Ивана Петровича и приводило к неприятным объяснениям дома. К сожалению, подобные неприятные объяснения довольно часто повторялись в нашей жизни.

Так, например, когда у нас было еще двое детей, вышел у меня очень удачный день. Дети вели себя прекрасно. Иван Петрович был в веселом расположении духа, портниха принесла мне очень простенькое, но миленькое платье. Вечером мы были приглашены к Симановским. Иван Петрович сказал:

– Ты поезжай прямо к Симановским, а я приеду туда после заседания Общества русских врачей.

Поехала я, у Симановских была компания самых близких наших знакомых: Н. О. Зибер<sup>116</sup>, Сиротинин с женой, Левашов, Ненцкий и еще два доктора. Я была в ударе и очень весело проболтала в дружеской компании.

Приезжает Иван Петрович, Симановский встречает его словами:

– Что же ты от нас прячешь Сару Васильевну? Она превеселый человек и всем нам доставила пребольшое удовольствие.



В гостях у Симановских. Слева направо: Н. П. Симановский, Е. О. Шумова-Симановская, Н. О. Зибер-Шумова, художник Н. А. Ярошенко.  
Фото 1890-х гг.

Иван Петрович нахмурился, сказавши, что у него болит голова, что он устал и сейчас же поедет домой, предложив мне веселиться без него. Понятно, я тотчас же со всеми попрощалась и поехала с ним.

Предвидя для Ивана Петровича бессонную ночь, я постаралась сейчас же прекратить его неудовольствие, передав наши разговоры и обещав без него никуда не ездить. Но его угрюмое настроение продолжалось на этот раз два дня. Это было так тяжело, что я дала себе слово не только не заботиться о своих туалетах (что я исполняла, впрочем, и без того, не имея на туалеты денег), но и наложить на себя обет молчания.

Такое мое поведение дало чрезвычайно хорошие результаты. Оно избавило Ивана Петровича от бессонных ночей и переживаний. К сожалению, я слишком злоупотребила этим и потеряла способность весело болтать. А пришло потом время, когда это стало нужным и необходимым.

И все же жили мы очень дружно и счастливо. Иван Петрович отдыхал дома от своей работы и постоянно мне это высказывал.



Серафима Васильевна Павлова. 1890-е гг.

Должна припомнить разговор с Иваном Петровичем после рождения второго ребенка. Как-то сидели мы вечером у него в кабинете и он сказал:

– Знаешь, мне давно хочется переговорить серьезно о наших отношениях. Ты помнишь, я долго мечтал о твоём участии в моих научных работах? Я не раз писал тебе, как высоко ценил твою наблюдательность и умение приспособливаться ко всяким условиям. Твои болезни и трудности нашей жизни помешали привести в исполнение этот план. Теперь я вижу твоё серьёзное отношение к обязанностям матери и высокое понимание этих обязанностей. Я нахожу в тебе

всегда интересного и родственного по духу собеседника и заботливого друга, освободившего меня от всяких мелких дел. Для меня ничего не может быть приятнее и полезнее той атмосферы, которой я дышу дома, где я могу отдохнуть от своих научных мыслей. Было бы тяжело и дома дышать физиологической атмосферой.



Сестра Серафимы Васильевны с мужем в гостях у Павловых. Сидят слева направо: Е. Н. Хмельницкий, И. П. Павлов, С. В. Павлова, Р. В. Хмельницкая

Подобные разговоры повторялись часто. Особенно в периоды окончания научных работ, когда появлялись сомнения в их верности, когда работы проверялись.

Примерно в 1894 году закончилась работа Ивана Петровича о пищеварении и, как всегда, наступила полоса сомнений. Однажды пришел он домой совершенно расстроенный и вечером никак не мог заснуть. Я уже привыкла к подобному отношению его к своим работам в тяжкий период сомнений и горячо стала доказывать полную несостоятельность колебаний и твердую уверенность в силе и правильности его логики. Иван Петрович сказал:

– Как я был неправ, настаивая на твоём участии в моих работах! Ты была бы только моей сотрудницей и неизбежно была бы покорена моим мнением. А теперь ты говоришь независимо и потому убедительно для меня.

Какая ты была умница, что не соблазнилась перспективой стать ученой женщиной, а ограничилась только семейной деятельностью.

Ты избавила меня от вечной физиологической атмосферы и создала крупный умственный интерес в семье, который меня освежал, давая отдых от лабораторного настроения. Вот и ныне ты меня успокоила.

Положи мне руку на голову и посиди возле меня пока я усну.

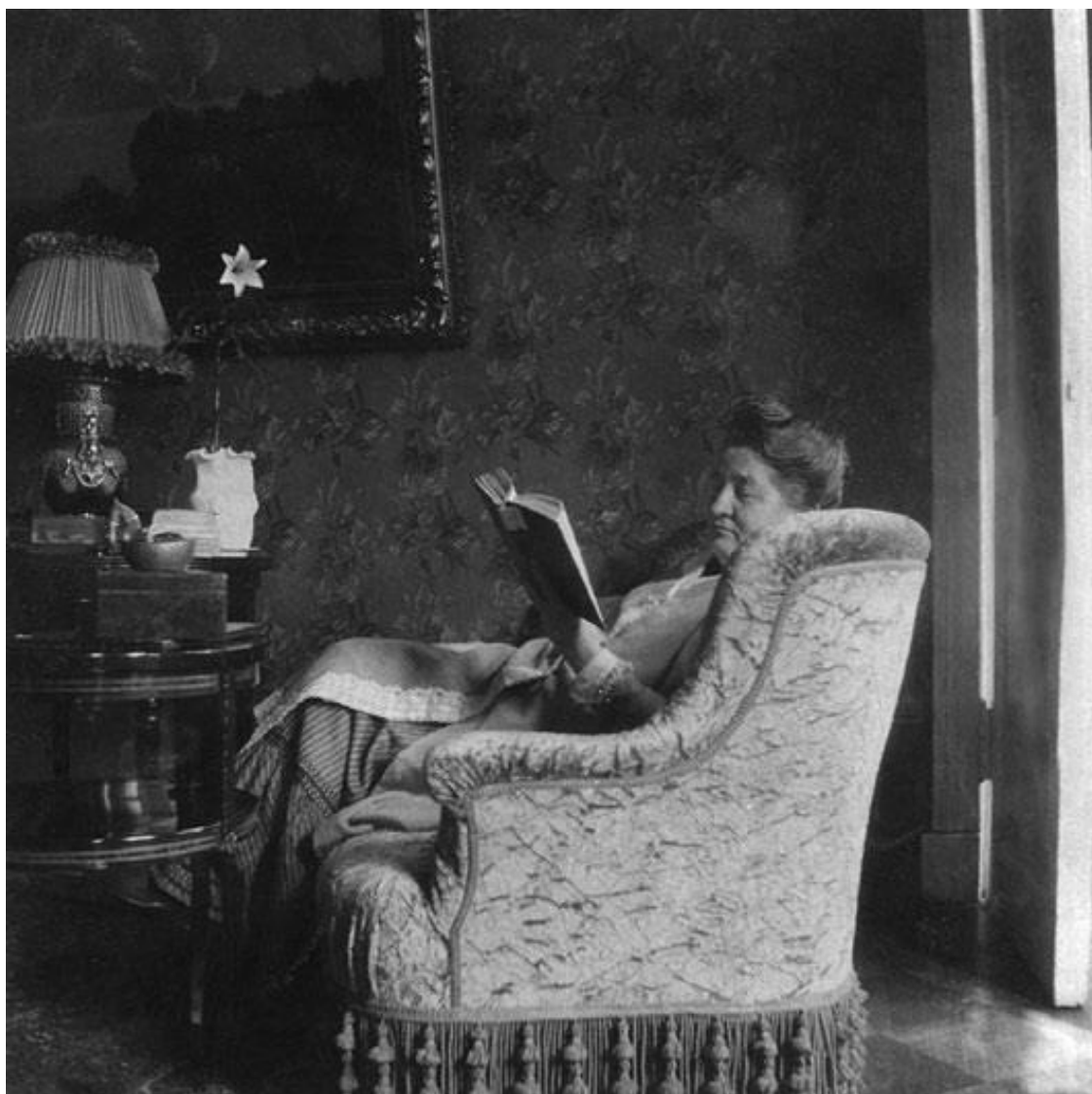
\* \* \*

Этот период был самым счастливым в нашей жизни. Мы жили очень дружно. Иван Петрович без всякого раздумья отказывался от каждого административного поста, предлагаемого ему принцем Ольденбургским<sup>117</sup>. И когда тот рекомендовал посоветоваться с женой, прежде чем отказываться, Иван Петрович всегда с гордостью отвечал:

– Я уверен, что жена одобрит мое решение!



И. П. Павлов в минуты отдыха



С. В. Павлова за чтением

Сильно соблазнял меня директорский домик, а главное садик, находящийся при нем. Там было бы хорошо играть и гулять нашим деткам!

Но на упреки родителей Ивана Петровича, что я не настояла на принятии им поста директора, я только посмеивалась и говорила:

– Попробуйте-ка сами его уговорите!

## **Швейцар Василий**

По мнению моих родных, да и наших приятелей, я была большая фантазерка – желала окружить детей и себя с Иваном Петровичем хорошими людьми, чистой нравственной атмосферой. Я считала, что каждый хороший человек хоть черточку своего «я» внесет в нашу среду, и, таким образом, его пребывание у нас оставит хороший след на нашей жизни.

Начала я подбирать себе хороших людей. Это относилось решительно ко всем, кто так или иначе принимал участие в нашей жизни. Для меня важно было, чтобы все окружающие люди, будь то кухарка, прачка и т. д., радовали бы нас проявлением своего личного «я».

Переехали мы на маленькую квартирку на Большой Пушкарской без парадного входа. Мебели у нас было весьма мало. Прислуги не было. Иван Петрович сам покупал дрова, а я

сама ходила на рынок и готовила обед. Кажется, мы ничем не могли заслужить уважения и любви обитателей всего дома.

Однако прежде всего явился швейцар с предложением своих услуг. Он очень облегчил Ивана Петровича, взяв на себя хлопоты о дровах. Затем пришла дворничиха, предложила выносить помойные ведра. Чем же заслужили мы такое внимание? Иван Петрович обладал способностью покорять и привязывать к себе людей своим высоким духом, любовью к труду и неизменной справедливостью. Это влияние отражалось как на людях образованных, так и на простых, и сохранилось до конца его жизни.

Наступила осень. Мне надо было одеть Ивана Петровича. Пиджак из альпага я сшила сама, но никак не могла решиться сшить ему брюки. Услышав о таком моем затруднении, наш швейцар приходит ко мне и говорит:

– Отдайте сшить брюки моему племяннику Ильюшке.

– Да разве можно отдать материал такому пьянчужке?

– Эх вы, барыня! – сказал швейцар, – думаете, как пьяница, так значит и не человек? Напрасно, напрасно! Ильюшка хорошо работает и берет за работу с прикладом (а приклад ставит хороший) три рубля.

Наконец, я решила попробовать, и с тех пор, до самого отъезда Ильюшки в деревню, он работал на Ивана Петровича. Оставляя у себя обрезки, он аккуратно ими потом чинил все изъяны.

Швейцар Василий Шувалов сделался у нас своим человеком. Он помогал всегда при уборке квартиры в определенное время. Вот однажды вместо него приходит небольшой мальчик-подросток.

– Ты зачем? – спрашиваю я.

– Работать вместо отца: он лежит больной, после вчерашней гульбы на свадьбе.

– Да ты-то кто?

– Я Иван – сын Василия, приехал из деревни – немоготу стало жить с безумной матерью.

Мать была душевнобольная, но тихая. Жила одна в деревне, куда муж высылал ей деньги на содержание. Вот эта-то болезнь жены и довела Василия до пьянства.

– Да можешь ли ты работать? – спросила я мальчика.

– Коли б не мог, не брался бы.

И всю работу он сделал исправно, даже аккуратней своего отца. Я давала ему денег, но он не взял, сказав, что деньги должен получить отец, который его содержит и очень желает скоро определить куда-нибудь на службу.

Мальчик меня заинтересовал. Я узнала, что он не кончил даже деревенской школы и предложила заниматься с ним вечерами, когда дети спали. Это его очень обрадовало, и он исправно, с большим интересом начал учиться.

В это время Николай – старый опытный лабораторный служитель Ивана Петровича (еще по лаборатории Боткина) – до того запил, что пришлось поместить его в больницу. Один из учеников Ивана Петровича продержал его в больнице почти два года под самым строгим своим личным надзором. Без Николая Иван Петрович был как без рук – никто не мог его заменить. Вот я и говорю Ивану Петровичу:

– Возьми к себе Ванюшку. Он смысленный и хорошо грамотный мальчик. Кроме того, честный, на него можно вполне положиться.

Посоветовавшись со своими сотрудниками, Иван Петрович решил взять этого мальчика. Первое время мальчик даже спал в лаборатории. Впоследствии из него вышел такой ловкий и дельный оператор, что без его помощи не обходился ни один доктор при своих опытах. Иван Петрович очень высоко ценил его.

Вернулся из больницы Николай, совсем бросивший пить. Он и Иван – оба остались главными помощниками Ивана Петровича при его работах. К сожалению, произошло событие, которое пагубно отразилось на их жизнях.

У Николая была дочь – миленькая, умненькая и дельная девушка. Иван решил на ней жениться. На свадьбе и тесть, и молодой муж разрешили себе выпить, и с тех пор пошло семейное пьянство, доведшее их обоих до могилы.

Скажу несколько благодарных слов в память швейцара Василия.

Я рано уезжала с маленькими детьми на дачу, а Иван Петрович оставался еще целый месяц продолжать свои работы в лаборатории. На попечение кого же я могла его оставить? Выручал все тот же Василий. Ему я оставляла все ключи. Он знал, где лежит платье Ивана Петровича, его белье; знал, когда нужно приготовить ванну, сменить белье на постели; отдать, если требовалось, в починку туфли, ботинки. Он готовил ему чай со свежей булкой и маслом. Покупал ежедневно молоко. Даже распорядился деньгами, а для визитов к принцу проветривал фрачную пару и готовил крахмальную рубашку без обтрепанных воротничков.

Всегда он укладывал все необходимые вещи для дачи, отправлял багаж, сопровождал меня с детьми на вокзал и усаживал в вагон.

Случалось, иной раз, вечером накануне отъезда, когда надо было укладывать вещи, когда ломовик и извозчик были заказаны и билеты для всех взяты, Василий приходил, еле держась на ногах. Я в ужасе говорила:

– Что вы со мной делаете, ведь билеты уже взяты!

– А вы, барыня, не суетитесь попусту. Пьяный все же человек. Не забывайте, не забывайте! Ну, дайте мне ключ от парадной двери, выложите в кабинете все необходимые вещи, только ничего не забудьте. Оставьте чемоданы, корзины, веревки, и все будет исправно сделано!

И действительно, утром у подъезда стояли два извозчика. А рядом Василий с квитанцией в руках на сданный багаж. Затем он усаживал на одного извозчика меня с двумя детьми, на другого няню с двумя другими, сам же спешил на конку. У вокзала он встречал нас, перетаскивал все вещи в вагон (чтобы не было расходов на носильщика) и, проводив нас, возвращался домой, чтобы убрать квартиру к приходу Ивана Петровича.

Мы всегда с благодарностью вспоминали его дружеские заботы и услуги.

После смерти Василия новый швейцар Иван Лебедев также входил во все наши семейные интересы, был внимателен и заботлив. Не только по отношению к нам самим, но и к детям. Прослужил он до нашего переезда в дом Академии наук, после чего попрощался с нами и уехал к себе на родину в деревню.

## Марьюшка и Даша

В 1891–1892 гг., когда мы переехали в большую квартиру на Введенской улице, пришлось подумать о регулировании домашнего хозяйства. До этих пор у нас или совсем не было служанок, или же были временные. Я не могла дать хорошего жалования, доходов при покупке провизии тоже не могло быть, так как я хорошо знала цены продуктам, а ели мы очень скромно. Поэтому у нас постоянно менялись кухарки.

Однажды приходит пожилая женщина, чисто и скромно одетая, с умными глазами и ласковой улыбкой, посмотрела она на меня, на детей, обошла всю квартиру, помолилась на каждый образ и сказала:

– Люблю, когда бога не забывают. Вот сделаем мы так: поживу я у вас неделю, и мы приглядимся – як вам, а вы ко мне. Понравимся друг другу – останусь, а нет, так попрощаемся.

За неделю Марьюшка покорила нас всех. Иван Петрович оценил в ней человека, любящего работу и исполняющего ее добросовестно. Я оценила в ней необычайную аккуратность

и честность. Со страхом ждала я решения Марьюшки. И вдруг на шестой день она привезла свой сундук, повесила свои образа и пошла служить молебн на добрую жизнь, прожила у нас Марьюшка 16 лет до самой своей смерти.

Это была женщина с сильным характером, чувством собственного достоинства, скромная и любящая, она была вдова. Прожила с мужем долгое время, очень дружно, он был повар, и от него она научилась готовить не только хорошо, но даже артистически. Иван Петрович был тому рад, так как он ел всегда мало, но любил, чтобы все было вкусно приготовлено.

Была у Марьюшки единственная дочь, красивая, умная, тихая и трудолюбивая женщина, очень несчастная в замужестве. Муж ее был пьяница, бездельник, пропивший все наследство своих родителей и сидевший на шее у жены и ее матери. Бедная женщина приезжала отдыхать к своей матери. Это поддерживало ее материально и нравственно. Особенно огорчало обеих женщин, что внучки пошли в отца пьяницу – некрасивые, грубые и ленивые.

Я всегда любовалась, с каким удовольствием Марьюшка расчесывала чудные косы своей дочери, а косы-то были толстые, как кулак, и до колен.

Была еще у Марьюшки семья ее брата, человека больного, неспособного к работе. Жена же его была забалована и не желала работать. Детей у них было двое, дочь Маша и сын Кузьма, эту семью тоже надо было поддерживать Марьюшке. Когда нам понадобилась помощница для уборки большой квартиры, Марьюшка попросила меня взять ее племянницу Машу, чтобы та могла посылать все свое жалование родителям.

Приехала молоденькая девочка, лет 15–16, очень аккуратная, трудолюбивая и ласковая. Она стала внимательно прислушиваться к моим занятиям с детьми. Сама она уже умела хорошо читать и недурно писать.

Я всегда обучала служивших у меня чтению, письму и первоначальной арифметике. Каково же было мое удивление, когда Маша первая попросила меня с ней заниматься. При том оказалось, что она усвоила многое из моих занятий с детьми, и усвоила с большим толком и сообразительностью. Чем дальше шли занятия с ней, тем больше я увлекалась и приходила в восторг от ее жажды знаний и от ее способностей. Она с таким толком передавала прочитанные ею произведения, что Иван Петрович стал давать ей популярные книжки, присланные ему для отзывов. Если Маша передавала содержание их толково, то он одобрял книжки, а в противном случае отвергал.

Стоит у меня перед глазами следующий случай. Вышел очень тяжелый день: дети капризничали, плохо занимались и к вечеру устали; уложив детей спать, села я с интересной книгой «Лекции Соловьева о русской истории», чтобы отдохнуть до прихода Ивана Петровича. Он был на заседании Общества русских врачей, после которого хотел диктовать свои лекции о пищеварении. Вдруг тихо открылась дверь, и вошла Маша с книгами и тетрадами.

– Маша, ты видела, какой у меня был тяжелый день? Я раздражена, мне надо успокоиться к вечеру для писания с Иваном Петровичем, если я стану заниматься с тобой, то вымещу на тебе свое раздражение, буду рвать тебя за уши!

– Что ж, – сказала Маша, – а только займитесь.

Что же мне оставалось делать? Волей-неволей стала я заниматься, и дело пошло успешно. Маша порадовала меня, прочтя свое стихотворение. Так что до самого прихода Ивана Петровича время прошло для нас незаметно.

Скоро Маша выдержала экзамены на сельскую учительницу. Это не удовлетворило ее жажду к знанию, она пожелала учиться дальше, чтоб сдать экзамены на городскую учительницу.

Живя у нас, она перечитала всех наших классиков, очень недурно и с увлечением писала сочинения, писала стихи.

Казалось, все шло хорошо, но родители стали требовать от Маши больше денег. Заболевание отца усиливалось. Наступило время учиться ее брату. К счастью, нам удалось достать

Маше место продавщицы винной лавки в их городке. Жалованье обеспечивало всю семью. Торговала в лавке мать. Маша вела только счета и оставалось много времени для учения. Программы были у нее или давала их я. Ко мне же приезжала она проверять свои знания и получать дальнейшие указания для работы. Дело шло отлично.

В Петербурге жила Машина двоюродная сестра – портниха. Однажды Маша, приехав в Петербург, остановилась не у нас, как всегда, а у двоюродной сестры. Дело было перед Троицей. Работы было очень много, и Маша стала помогать сестре. Квартира была под крышей, было очень жарко. Обе они пили сырую воду прямо из-под крана. Для сестры дело обошлось благополучно, а наша любимица Маша заболела тифом и была отправлена в Боткинские бараки<sup>118</sup>.

Как только уведомили нас об этом, я немедленно поехала туда и от имени Ивана Петровича просила докторов, фельдшерниц и сестер обратить внимание на эту дорогую нам жизнь, сиделкам же заранее вручила благодарность. Все полюбили Машу и внимательно ухаживали за ней. Дело шло на поправку.

В Духов день сидим мы с Марьюшкой и толкуем о том, что завтра же надо будет взять Машу из больницы и отправить домой. Разговор наш был прерван звонком: пришли сообщить, что ночью Маша скончалась. Оказалось, что в Троицын день двоюродная сестра принесла ей массу гостинцев, Маша поела, и следствием этого было кишечное кровотечение.

Так погибла эта талантливая натура. Мы с Иваном Петровичем горько ее оплакивали. Подобных способностей и любви к знанию мне не пришлось больше встретить, хотя через мои руки прошло много учеников и учениц.

Тяжело перенесла наша Марьюшка этот удар, утешило ее то, что брат Маши окончил к этому времени свое учение у плотника. Из него вышел дельный рабочий, и семья не потерпела материального ущерба.

\* \* \*

Марьюшка относилась к Ивану Петровичу с каким-то почти священным почтением. Доставить ему удовольствие, порадовать чем-нибудь было для нее настоящим праздником. Когда пришлось нам однажды уехать за границу на какой-то съезд и дети оставались с моей сестрой, которая не любила хозяйничать, то деньги на прокормление семьи оставила я Марьюшке, она измучила всех детей, заставляя их по очереди записывать счета. Записывалась каждая копейка, причем она говорила детям:

– Каждая копейка заработана вашим отцом и потому должна быть разумно истрачена. Нельзя его труды пускать по ветру.

Все чаще и чаще стала звать Марьюшку ее дочка отдохнуть летом в деревне, Марьюшка не решалась, но одно печальное письмо дочери подействовало на нее. Она попросила меня нанять на лето заместительницу и отпустить ее на отдых. Дело устроилось. Надо было Марьюшке уезжать, она бросилась мне на шею, расплакалась и сказала:

– Боюсь ехать! На кого я вас оставляю? Дети еще не выросли, а вам нет времени как следует заниматься хозяйством!

Все же она уехала. Действительно, сердце ее не обмануло – она там скончалась от дизентерии.

Должна упомянуть еще об одной услуге, оказанной мне Марьюшкой. После смерти Маши мне пришлось искать ей заместительницу. Пришла наниматься молодая девочка, очень миленькая и нежненькая. Мне она очень понравилась, но Марьюшка сказала:

– Разве для вас годится такая? Ведь это горничная – ходит за госпожой. А вам нужна работница, чтобы и печи топилась и пол подмывала, и детское белье стирала. Вы не посмотрели, какие у нее нежные руки? Это не работница.

Тогда я поручила эту заботу Марьюшке. Она мне нашла очень дельную и хорошую девушку Дашу, прослужившую у нас до своего замужества. Девушка была аккуратна, трудолюбива и честна. Все свободное время она употребляла на приготовление себе приданого. Великолепно вязала, вышивала, но отличалась редкой неспособностью к учению. За четыре года она едва выучилась читать и только печатное. Писать же так и не научилась. Могла только подписать свою фамилию.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.